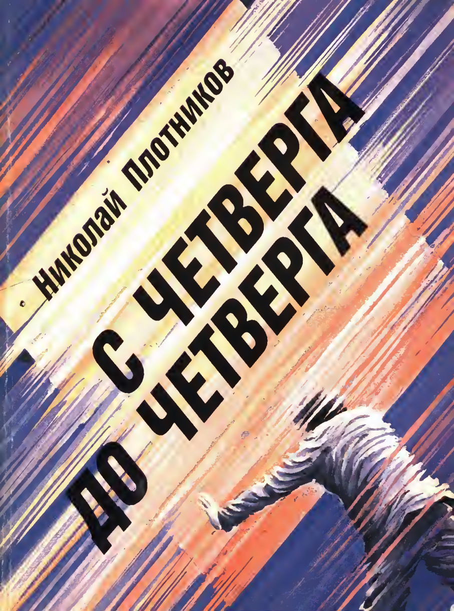

Николай Плотников
С ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА

Николай Плотников

С ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1991

ББК 84Р7
П 39

Плотников Н. С.

П 39 С четверга до четверга: Повести и рассказы.— М.: Мол. гвардия, 1991. — 286[2] с.

ISBN 5-235-01249-6

В сборник московского писателя Николая Плотннкова входят повестн и рассказы, напнсанные нм в разные годы. В центре вннмання автора — непростая личная судьба совершенно разных людей, их военная юность и послевоенные поиски смысла бытия. Наделяя каждого нз героев яркой индивндуальностью, автор сумел воссоздать обобщенный внутренний портрет нашего современннка.

П $\frac{4702010201—107}{078(02)—91}$ 133—91 ББК 84Р7

ISBN 5-235-01249-6



МАЛЬЧИК

Мимо потускневших глаз шли и шли чужие ноги. Призывники тесно сидели на кафельном полу с растоптанными окурками. Опираясь на узлы и фанерные чемоданчики, бритые, неподвижные, в кепках и тюбетейках, еще не солдаты, но уже и не гражданские. Ничьи.

На беленой стене висел желтый с черным военный приказ; чужие сапоги перешагивали через протянутые ноги; гудел, шелестел, кашлял вокзальный зал ожидания. А от домашнего шарфа дышало в шею козье тепло, чуть-чуть припахивало шалфеем, жирной лепешкой, парным молоком. Чтобы удержать неподвижность и тепло, Алихан обхватил свои колени и положил на колени подбородок. Удары дверей, паровозные гудки, смех, незнакомая речь — все было против него, против маминого шарфа, против их комнатки с беленькими стенами. Мама была из Махачкалы, а отец из аула Межгюль, и, говорят, его родичи были недовольны, что он

взял невесту из города. Никому здесь до этого дела нет и не будет — по этому полу проходят тысячи. А шарф отберут и мягкую рубашку, которую мать сама шила на ножной машинке. Она гордилась этой машинкой. Она завязывалась черным платком по самые брови туго, как от боли, базар тарахтел за шелковицами, серыми от пыли, а потом опять вокзальная духота, и все шли и шли чьи-то ноги, заслоняя ее лицо, черный ворс бровей, диковатую косинку огромных глаз... В этих глазах только от него, от сына, оживала острая беспокойная точка. Он не любил этого. Вот со сборного пункта они идут в строю мимо кирпичного завода. Идут, уходят навсегда. Она стоит и смотрит через все спины в его спину. Даже через улицу он ощущает на затылке ее напряженный взгляд. Он сбивается с шага, краснеет, сжимает зубы, он боится окрика русского старшины. Он яростно стыдится своего страха.

Идут часы, и он сидит неподвижно на полу, не думая ни о чем больше.

«Встать! Выходи строиться! — На заплеванном асфальте платформы остывает душный жар. — Р-рравняйсь! Смир-на! По порядку номеров рассчитайсь!»

Он забыл, как правильно крикнуть, и крикнул: «Семинадцать!» Но никто, кажется, не заметил.

Теплушка скрипела, гремела, швыряла тело весь день, мазутный сквозняк выжимал слезинку, они сидели, свесив ноги через порог, жадные лица провожали синеву предгорий, которые все отступали, истончаясь, сливаясь с редкими облаками. В грохоте сцепок пробивался горский напев; высокая жалоба то стиралась монотонным терпением, то утончалась горловой угрозой, и невидимые зрачки застывали под козырьками, жестоко каменели губы. Вечером в открытую дверь махала столбами розоватая степь, пожилой солдат-аварец в углу на нарах делал намаз, не замечая никого, и все делали вид, что тоже его не замечают; Алихан думал: «Я бы так не мог при всех, неужели я трус?» Закатная

степь светила в лицо аварца, и оно было прекрасно и высокомерно, как у бронзового идола. Но в лицо ему нельзя было смотреть и Алихан опять смотрел в мелькание теней. Люди рядом темнели, как пробегающие кусты, холодела, сгущалась мгла, и только угольки вспыхивали в губах, как скрытые мысли, на миг выхватывая белки суровых глаз. А потом поезд замедлил ход, лязгая, шипя, затормозил, встал, и старшина крикнул: «Дневальные — за кашей!» У Алихана не было ложки, и он не хотел ни у кого просить, а потому лег спать голодный. Он лежал на соломе, ничего не вспоминая, но почему-то не спал, а потом задремал и проснулся от сквозняка, дующего в губы, и стал смотреть сквозь оконце под потолком, как поперек звезд пробегают иногда черные струны, которые задевают что-то в середине груди, и тогда кожа против сердца становилась пупырчатой, жалкой, и хотелось прикрыть ее ладонью.

Состав шел всю ночь и еще один день, предгорья исчезли, все больше русских баб смотрело из-под ладоней непонятными белыми глазами, русские артиллеристы на полустанке пили водку на жаре, хрустели огурцами, через два вагона кто-то наяривал на гармошке одно и то же, старшина ругал старого аварца, который пролил котелок супа на нары.

Алихан забыл, сколько полустанков пробежало мимо, он покорно ощущал, как неотвратимо уменьшается, стирается все позади — горы, мать, квадраты заката на полу родной комнатенки с мазаными стенами. Впереди все шире разворачивалось неизвестное, мутное, огромное, в котором звучали русские слова-команды, полз через пути и стрелки вонючий дым, и никто тебя не понимал...

Наконец они приехали и стали выгружаться. Это был не фронт и даже и не прифронтовой тыл — это был маленький русский городок на берегу узкой тихой речушки. Все было незнакомо, тихо, мягко стелилась неж-

ная трава, осенний лист плыл в медленной темной воде, на бугре за деревянными домишками белели щербатые стены безглавого монастыря; там их разместили и переформировали.

Алихан попал в учебный батальон связи. Если в поезде были и свои, то здесь кругом толпились курносые лица, белобрысые головы, голубые глаза. Шутки и вопросы, ругань и смех — все было совсем не так, как там, в горах, и Алихан вертел шеей, напрягаясь понять, не ошибиться, стать, как они.

В роте он получил новое белье, телогрейку, обмотки, ботинки, котелок и поясной ремень. Гимнастерку и брюки выдали б/у (бывшие в употреблении), но чистые, до белизны на швах, а потом автоматы. Теперь в строю Алихан ощущал слитность с другими, забывал, кто он, кто они, вслушивался в голос взводного, ожиданием, вопросом влажнели его ожившие черные глаза.

Больше всего он полюбил развод на карауле и пост у батальонной политчасти: здесь чаще всего проходили девушки-связистки. Алихан затягивался поясом так, что распирало грудь, не моргая, важно и строго смотрел мимо них. В черном зрачке отражалась зелень, а девушки смеялись и проходили мимо упруго и близко.

Он научился бодро отвечать: «Есть, товарищ лейтенант! Ясно, товарищ старшина!» Все было просто и даже интересно, когда он забывал, что они русские и едят свинину. Он долго готовился, а потом решился и сказал: «Петька! Давай махорка закурить!» И радовался, сиял зубами, когда Петька понял и полез за кисетом. «Чего лыбишься?» — спросил Петька. Этого Алихан не понял, но глаза у Петьки были хоть и с усмешкой, но дружелюбные.

Войны здесь совсем не было, за плетнями желтела роща, иногда моросил мелкий дождик, иногда светило нежаркое солнце, и куры рылись у завалинки, и горьковатой корой дышала свеженаколотая поленница. Русская баба как-то сказала ему вслед: «Мальчишки ишо

совсем, горемычные!» — а Алихан долго думал, что это — «горемычные?» Что-то доброе, наверное, судя по переливу протяжного говора.

Он почистил пуговицы мелом, намазал ботинки автолом и пошел задами на гармошку по росистой кудрявой травке, по длинным вечерним теням. Он смотрел на косынки, на крепкие плечи, туман слоился за ивами, было зябко и жутковато от близости девичьих тел.

— Али! Спляши лезгинку! Давай! — крикнул Петька.

— Не, не умею...

Алихан улыбался, зубы освещали смуглоту, все улыбались, гармонист затянул что-то жалобное, а потом рванул частушку, догорал закат за облетающей березой, за стогами на лугу, махорочный дымок пощипывал ноздри, глубоко дышалось отсыревшими увялыми травами.

Шоферы сидели на корточках у старой молотилки, разливали по кружкам.

— Саш! Налей ему, Алиханке. Сальца отрежь.

— Не, не буду, хлеб буду.

— Брось, им этого нельзя. А может, пройдет? А, Али? Давай — это по-нашенски! На, заешь.

Он выпил, скрывая смущение, страх — Пророк разгневается на него, он проглотил и закурил, он улыбался — страх растворялся в теплом шаре внутри груди, в добрых, чуть насмешливых взглядах солдат, пожилых шоферов, которые приняли его, как равного, и угостили своей едой. «Путнику можно, разрешено нарушить заповедь...» — пытался оправдаться он, но не в заповеди было дело — это он чувствовал. Все надо уметь, как они, потому что с ними он будет не только жить, но и умирать. Они были все здоровенные, с разными пестрыми глазами, они на все плевали и не жалели барахла или водки, если ты для них — свой, а если не свой, становились грубоваты и хитры. Али сидел за часовней у пруда и думал, как было бы хорошо, если бы выдали вместо ботинок сапоги кирзовые. Тогда, может быть, и

Люся глянет, тогда он стал бы повыше, помужественнее, чем в этих обмотках. Хорошо было бы, и если б перевели от них комвзвода лейтенанта Сонина, у которого такой кривой от презрения ротик, когда он говорит: «Рядовой Хартумов! Алихан Хартумов! Смотри сюда: это что? Автомат собирать уметь надо! Это тебе не лепешки печь! Ясно?» Алихан стоял по стойке «смирно», онемев, смотрел, не мигая, забывая русские слова, которые он крикнул бы, если смог; мельчайшая дрожь росла в груди, язык распухал во рту, до боли стискивались зубы.

После Сонина все офицерские погоны с одним просветом задерживали дыхание и мысли, ноги шли деревянно. Он думал ночью на нарах. Он вытащил свою руку из-под одеяла, посмотрел на нее и пожалел ее. Круглая, тонкая в запястье, она не боялась южного солнца и чутко чувствовала кожей даже слабое дыхание. Но днем здесь, под гимнастеркой, это была уже не его рука, и голова под пилоткой — тоже не его: они принадлежали Сонину, хотя у Сонина был злой глазок песочного цвета и прыщи у кривого безгубого рта.

Алихан вытянул из-под подушки козий шарф, подышал в него, закрыв веки. Сжало горло, потому что хлынула теплота бараньей бурки на постели за перегородкой, где он спал с двумя младшими братьями, и этот квадратик заката на стене, на пестром ковре, где светилась чеканка дедовского кинжала, и шаркающие шаги деда, его вытертый шелковый бешмет. От шелка остался слабый аромат арабской древности, медленно повторялись суры Корана, горы смотрели в дверь сакли, скрежетал щебень на тропе под неспешным перестуком копыт...

Алихан проглотил едкую тоску, завозился на нарах, закутал голову казенной байкой. Утром он встал тяжелый от снов, которые забыл, и опоздал на зарядку. Но после завтрака они разбирали на брезенте ручной пулемет, а рядом сидели на траве девушки-связистки

из третьего взвода и тоже разбирали «дегтярева», и он щекой почувствовал, как Люся посмотрела на него. Потом у пруда, где в камыше зеленую глубину затянуло ряской, он разделся и с разбега упал животом в плеск и холод. Он сплевывал зацветшую воду, гортанно вскрикивал, водяное солнце плясало в осоке. Люся была как узкая рыбка с женскими глазами, она говорила древние горские заклинания, и не было войны, и они ехали верхами к тучам над хребтом, и белобрысый Сонин со скрученными локтями шагал меж их лошадей, кривя капризный ротик. Алихан вспомнил сон, лежа в воде на спине, от озноба воды и мерных ударов крови сон превращался в предчувствие сильное, как скрытая жизнь его молодого мускулистого тела. Он лежал на спине, чуть опускаясь и опять всплывая, и, не мигая, смотрел в зенит, в бледное одинокое небо.

— Эй, пацан! Вылазь! — крикнул ефрейтор-москвич. — К обеду подворотнички подшить всем!

Войны все не было здесь, и он радовался боевым патронам, которые им выдали. Он гладил солнечные латунные гильзы, прикусывал тупы — головки пуль. В этом была сила, сила воинов, он ее любил. Где-то за городком ночами перекатывалось железо танковых траков, иногда зудяще пел меж звезд самолет, квакали лягушки в пруду за ивами.

Однажды возглас тревоги расколол сонную ночь, солдаты толкались спросонья, ругались, натягивая гимнастерки, кто-то уронил портсигар и шарил под нарами, Алихан запутался в собственной обмотке и засмеялся.

Они шли в темноте по глине и лужам проселка к полустанку за городом. Еще все спало в голых полях, в еловых опушках, в чуть видимом низком небе, и Алихан вдыхал сырой ветерок с запахом жнивья, хвои и дождевой земли, жмурясь и улыбаясь. Мягко, глухо топала рота за ротой мимо заброшенного овина. Шли вольно, кто-то светил цигаркой, срывались и гасли иск-

ры, Алихан пел сам в себе, негромко, без слов и мыслей, как поют пастухи на горных лугах. Сверху хорошо видны серо-белые клубочки овечьей отары, жилы бегущих ручьев.

Так они дошли до полустанка, погрузились и поехали на запад.

* * *

Мелькали столбы, все отходило назад вместе с осенними рощами и гнилыми деревеньками, чаще сверлили облачность зловещие гулы бомбардировщиков, солдаты становились проще, откровеннее, радовались пустякам, улыбались поощрительно, когда Алихан говорил: «Ах, харош, тепло харош!» — грея руки у жестяной печурки. Долгие ночи леденили темноту, неохотно пропускали рассвет: шел уже октябрь.

Под Курском в деревне Поповке все ходили по мосткам вдоль хаток с тощими яблоньками, жгли на огородах костерочки, меняли картошку на мыло. Хотя досыта кормили пшеном с американской тушенкой. С утра вяло строились, обучались штыковому бою, потом лейтенант Сонин рассказывал про полевой телефон. К Октябрьским выдали серые зимние шапки и кирзовые сапоги. Алихан чистил сапоги тряпочкой каждый день, просыпаясь ночью, с удовольствием втягивал запах кожи и автола.

А потом пошел снег. Странно было ступать жирными сапогами по чистейшему снегу — ведь снег должен лежать недоступно высоко, где нет людей. Он слепил снежок, откусил, подождал, пока кусочек не растаял во рту.

— Ты чего — снега не видал? — спросила Люся. Из-под серой шапки у нее выбивался нежный локон, в голубом прищуре — смешинка.

— Видал... — Алихан покраснел от ее голоса — впервые она с ним заговорила. Он не смел смотреть

на нее и поэтому ушел. Следы грубо печатались на снегу, и это было, как осквернение, но потом снег размешали с грязью колесами. Только если закрыть глаза и втягивать холодок, возникал другой снег — вечный. Только в ауле у деда он понял это чудо: снегом дуло сквозь травяную жару сверху, со скал, у снега был привкус голубой окалины высот. Опасная пустота глотала камешки из-под каблуков, колени рвали стебли, белые и желтые цветы без запаха росли у самого снежника, камень и лед — все сухо раскалялось солнцем, с каждым шагом покалывало висок. «Смотри ту гору — видишь? Кто с нее снега достанет, очень богатый будет. Но еще не родился такой джигит...»

Алихан открыл глаза. Они спали в хлеву, в соломе. Бревна в пазах заиндевели, в рассветной мгле храпели комки людей. Он не шевелился, чтобы не вспугнуть привкус горного снега.

* * *

К передовой шли своим ходом, кабельные катушки, палатки, рации везли на подводах. Все зябло — ноги, пальцы, живот. Небритый ездовой поплевывал, помахивал, телегу заваливало, встряхивало в колеях. Иногда тяжко вздрагивал горизонт, в низкой облачности мигали желтые зарницы.

— Это фронт, папаша? — Алихан выучил это слово — «папаша», хорошее слово.

— Это бомбять гдей-то, парнишко. Далече... — Ездовой утерся равнодушно.

— А ты... Ты там был? — Смотрели на ездового с отчаянным любопытством южные глаза.

— Бывали мы повсюдучко... В гражданскую фронг проишачил. Под Царицыном. Ясно, парнишко? Вон там и отметили. — Ездовый отогнул воротник — на морщинистой грязной шее лиловел плоский шрам. Шрам уходил под засаленные волосы. Ездовой поправил шапку,

стегнул кобылу под пузо, сплюнул далеко на дорогу.

На другой день, когда ехали мимо обгорелых кирпичных развалин, уже весь горизонт перекатывался пустыми железными бочками.

— Это фронт, папаша?

— Это — свадьба Маланьина! — сердито сказал ездовой и сдвинул ушанку, освободив ухо. — Постойкась! — Он прислушался, поправил шапку, крепко крякнул. — Оборону держат... Замерз, Алиханка? Слазь, южные твои кишки, пробегись!

Алихан бежал перед подводой, смеясь, сапоги соскальзывали, зарывались в грязный снег, из смугло-румяного рта белели зубы.

— Эй! Али! — кричали ребята из обоза. — Запрягись — прокати!

— Давай, давай! — кричал он, захлебываясь. Сейчас он видел одни веселые лица. Сейчас все на миг стали своими, хотя он коверкает слова и брезгует свининой. Он запыхался и подождал подводу.

— Влазь, Алешка, — сказал ездовой. — Нам ище тянуть и тянуть, мать их в доску!..

В деревне возле соснового редколесья стоял штаб дивизии. У края поля в отбитых немецких землянках воняло тряпьем, мятными леденцами. В желтом круге коптилки кривился рот Сонина:

— Спицын, Сергеев, Чивадзе — тянуть линию. К сельсовету — с вербами дом. Хартумов, ты вот, Али — в двенадцать ноль-ноль туда с аппаратом. В оперотдел.

Алихан угревался в темноте на полу. Завтра он все равно смажет сапоги и подошьет свежий подворотничок. Он засыпал, повторяя, заучивая: «Рядовой Хартумов. Ря-до-вой... В распоря-же-ние явился... Начальник... сперотдел... Майору, аппарат, связь есть, Соловей, соловей! Я — граната. Связь есть?»

Он лежал между Гомзяковым и Петькой Рассудовым. Спина Гомзякова согревала спину через две ши-

нели. Спина мерно вздымалась и опадала. Где-то постукивали зенитки, жужжал и прерывался высотный разведчик — «рама», тоненько храпел Сонин в желтом круге за столом. Он спал, положив голову на сгиб локтя. «В двенадцать ноль-ноль», — вспомнил Алихан и разжал пальцы — погрузился вниз, в сон.

* * *

За вербами стоял дом, обшитый тесом. Снег на крыше подтаял с краю, поля за голым ивняком слепили настом. Был уже февраль — шло и шло время и вдруг — наступало удивление — уже февраль? В поле за домом танки вывернули чернозем на голубизну. Алихан шел вприпрыжку, аппарат оттягивал плечо, болтался автомат на шее, было жутковато идти в штаб впервые. Вчера он спросил Гомзякова:

— Штаб. Что такой «штаб»? Кто там?

— Офицера там, — скупо объяснил Гомзяков. — Спи, до двенадцати им не управиться с линией — кабель застрял в пути. Утром пойдешь.

Так и получилось. Искрились сосульки под застрехой, на ступени крыльца натаскали грязного снега, в мотоцикле, в коляске дремал сержант с забинтованной головой. У крыльца рыжий плотный автоматчик загородил проход:

— Стой! Куда лезешь, армяшка!

Кто-то вышел в сени и смотрел на них из темноты, но Алихан видел только веснушчатую рожу, белые ресницы, блатной глаз. Какие-то слова, проклятья, объясненья кружились-ломались в багряной дымке, смугло потемнели щеки, под ложечкой билось хлипкое, опасное: хотелось заплакать или броситься — убить.

— Это связь — пропусти, — сказал голос из полутьмы. Алихан увидел майорский погон, складки у рта, серые выпуклые глаза.

— Рядовой Хартумов явиться... рас-поря-жение, то-

варищ майор! — сказал Алихан и облизал опухшие губы.

Майор сделал шаг на крыльцо. У него был высокий лоб и здоровенный, но не злой нос.

— Иди в дом и подключи аппарат, — сказал он и повернулся всем телом к автоматчику. — А ты, рыжий черт, сменишься, доложи комвзводу — десять суток. Строгача. Ясно? Я тебе дам «армяшка»! — добавил он потише и шагнул в сени за Алиханом. В тесовые щели светило со двора. Пропуская майора в комнату, Алихан прижался к стенке.

— Спасиба, това-рищ майор! — сказал он, не думая.

— Ну, ну! Не по уставу говоришь, — сказал майор и, прищурив правый глаз, шмыгнул носом. Нос не смущал майора, верно, его ничто не смущало в себе. Весь он был какой-то простой и сильный. «Правду любит!»— подумал Алихан. Он присоединял клеммы к кабелю и исподтишка наблюдал. Майор сидел на лавке и пил чай из кружки с отбитой эмалью. Алихану было странно и смешно, что такой высокий офицер пьет чай, прихлебывая, крякая, сдувая пар, как все люди. В комнате были еще офицеры, все по званию выше Сонина, и Алихан боялся на них смотреть, он смотрел только на майора.

— Как тебя звать? — спросил майор, отодвигая кружку и вытирая лоб.

— Алихан.

— Сиди, сиди! Ты у аппарата. Можешь не вскакивать — работай. Алихан, говоришь?

— Да...

— Длинно. Да и ханов давно нет. Будешь у нас просто Али. Ну, как?

— Харашо, товарищ майор! — радостно ответил Алихан.

— Подсоединил? Проверь живо.

— Харашо — жива, жива, товарищ майор! — Он чув-

ствовал, что майор смеется глазами, хотя голос был строгий.

И некоторые офицеры — краем он подметил и это — тоже улыбнулись. Но дружелюбно улыбнулись. Сонин — тот никогда не улыбался. А ведь этим старшим офицерам, думал Алихан, принадлежало здесь все, даже сам Сонин.

У лейтенанта Сонина было сердито обиженное лицо, когда вечером он сказал:

— Хартумов! Забирай свои манатки и перебирайся в штаб. В оперотдел. Приказ начштаба.

— Манатки? — спросил Алихан, вставая. Ребята засмеялись.

— Тихо! — прикрикнул Сонин. — Ну, вещи свои, вещмешок, автомат, все.

Штабной «студебеккер» стоял в луже возле дома с вербами. Из дома носили ящики.

— Тебе кого?

— Хартумов явился... Рядовой Хартумов, приказ есть, явился...

— А! Клади барахло, подсобляй. Ну, берись!

Рычал мотор, под тентом качались офицерские плечи, скаты хрустели по вечернему заморозку, дуло леденило колени. Алихан боялся пошевелиться, чтобы не толкнуть офицера справа. Через два часа пальцы в сапогах отмерли, точно отвалились, посинели губы.

— Споем, робята?! — сказала спина в полушубке окающим голосом.

— Завоем як бисы! — ответил смешливый тенорок.

— А Ивлев где?

— В Ровно.

— Ровно еще не взяли. Взяли, но не очистили.

— Будет трепаться-то...

— Замерз, Али? — спросила спина в полушубке, повернулась, из-за поднятого ворота смотрел серый выпуклый глаз.

— Нет, замер-еу-еуть — нет...

— Молчи! Синий, как слива. На, накройся, герой! — Майор вытащил из-под себя плащ-палатку, набросил на плечи. — Слушай команду! — хрипло закричал он, поводя носом: — За-пе-вай!

Капитан Ткаченко вскочил, толкнув Алихана, притопнул, завел веселым тенором:

Зять на теще капусту возил,
Молоду жену в пристяжке водил!

Хор грянул простуженно, но истово:

Калинка-малинка моя,
В саду ягода малинка моя!

Ткаченко свистал, притоптывал, играли ямочки на щеках. Алихан тоже притоптывал, улыбался застывшими губами, становилось жарче, заныл нестерпимо палец на ноге, потом другие налились игольчатой болью, стали отходить. «Жить можно!» — как говорит майор. Бросает в борт, еще раз бросает, на отшибе в синих сумерках догорают стропила, по опушке в сосняке прячутся танки. Жить можно!

— Вы-ле-зай!

Наслаждение тепла. Зевота в черной избе, пропахшей луком, копотью, свекольным самогоном. Не двигаться. Сидеть, прислонясь к стене. Закрыть глаза, слушать ломоту в суставах, жар в щеках; набухают веки, отекают кисти рук, тоненький озноб крадется с половиц. Спать бы, спать...

— Али! К шифровальщикам. С пакетом. Бегом!

На дворе почти светло, на задах топят полевую кухню, сквозь стеклянный заморозок вкусно пахнет гороховым концентратом. Протертый горох с кусочками мяса, в ложке плавает уголек, блестки жира. «Жить можно!» — радуется Алихан, перепрыгивая через бревно под снегом. Что это? Он останавливается. У бревна — рука с лиловыми ногтями, из-под подтаявшего снега просвечивает стриженая голова. Нет, этого не может

быть, когда за вербами такая нежная заря. Алихан осторожно трогает бревно носком сапога и бежит от него прочь. Пар золотится у рта, розовеет снег на крыше, в окопчике, полном талой воды, плавает солома.

В избе шифровальщиков маленькая машинистка чистит зубы над ведром. У нее припухшее детское лицо, на нижней губе зубной порошок, ворот гимнастерки глубоко расстегнут. Алихан стоит, смотрит и не может отвести взгляд.

— Чего вытаращился? — недовольно говорит девушка. — Не видишь — моюсь я. — Но он чувствует, что она не сердится. — Положи пакет на стол. Не топай — капитана разбудишь — только лег.

Алихан бежит обратно по розовым пятнам зари. Внутри вполголоса журчит напев, монотонный ритм, про девушку, про заморозок на восходе, про усмешку майора, про гороховый суп, и кухню, и вишневые посадки, которые наливаются исподволь густым весенним клеем. Но главное на дне напева — предчувствие счастья. Война есть, но войны нет, если поет предчувствие. Первый снег зажигает ледяную бахрому под крышами, синицы вспархивают с куста. Он с бегу перепрыгивает через канаву на обочине. Оттаявшей корой кружит чуть-чуть голову, встает чистое нежаркое солнце. День будет синий и длинный, и ничего не страшно теперь, хотя где-то на западе равномерно и глухо вздрагивает земля.

* * *

Рыжему, конопатому, который тогда обозвал, оторвало голову. Под городом Ровно дивизия вклинилась в отступающих немцев и застряла в полуокружении. Ночью в овраге, где развернули штаб, пробежала по проводам легкая паника, оборвалась связь с полками, белея повязками, в полутьме проходили группы раненых, иные садились, и их подымали, а иных волокли.

Рыжнй так и ие успел отсндеть десять суток строгача: на рассвете сталн чаще ложнться снаряды, полыхало с грохотом, выхватывая белые лица, сыпался песок с наката землянкн. Алхáн пошел за пайком н подходнл к Рыжему, который стоял на посту, когда ослепляюще рвануло меж ними, мир оглох, ослеп, а потом Алихан вскочнл и увндел дергающнеся ноги Рыжего. Головы ие было, нз обрубка шеи толчками бнла кровь.

Но страх прншел позже: когда засыпалн убитых в мелком ровнке, н Алихан боялся бросать землю с лопаты на раскрытые глаза Петькн Рассудова, которого тоже убило в этой балке, ио за деиь до Рыжего. Лицо у Петькн было сморщенное, непохожее ни на что, а серые глаза смотрели стыло, упорно. Не страх, а тошнота, тягость, которая, когда они снова тронулись на запад, уснлнлась в Алихане, но прнтанлась. О тошноте думать было нельзя.

* * *

Наступила весна. В Ровно зацвели фруктовые сады, за искрнстым маревом усталыми лнтаврами вздыхала далекая канонада, каждый женскнй голос трогал, как начало сердцебиения, у кнрпичной ограды пробивалась тонкая травка, небо нагревало пуговицы, пряжку, леиивые мысли в голове.

Это был второй эшелон, тыл.

По городу вразвалку ходнли патрули, на лавочке грелнсь ординарцы, вечером в проулке курилн, смеялнсь солдаты нз роты связи, провожалн глазамн проходивших полек.

— Али, жену нщешь? — Рябой Маслов иахлобучнл ему пилотку на иос. Гомзяков затягивался, щурился от дыма, дырочкн зрачков все подмечалн. Хозяйка — старая панна — строго смотрела на иих нз окна. Она ннчего не боялась — у нее стоял начштаба.

В теплых сумерках размывались лнца, перебирал

лады близкий баян, дышало из палисадника мокрым перегноем.

— Салям алейкум! — сказали негромко рядом.

— Алейкум салям! — испуганно ответил Алихан. Старый солдат стоял сбоку, приглядывался в темноте. От седоватой щетины он казался еще смуглее, из-под зимней шапки тускло, не мигая, смотрели черные глаза.

— Откуда, земляк? Из какого роду? — спросил он строго, на родном языке.

— Межгюль, Хивский район, Алихан Хартумов Бахмуда сын...

— Абдулла Магомедов я, — сказал старик, вглядываясь через сумрак в солдат на скамеечке. — Из Унцукуля. Пополнение. Наши еще есть со мной: Шабан Алиев, Сеид Ахмедов и еще двое.

Он говорил вполголоса, неподвижный, горбоносый; в бровях не расходилась складка-рубец.

Баян пока играл что-то задумчивое, пряталась на время бездумная удаль, а от старика тянуло дымком турецкого самосада, сыромятной кожей уздечки, с ним вернулись откуда-то сухие лозы, крошки сыра на доске, глинобитная сакля, огромные глаза матери. Ее черный платок и черное платье совсем сливаются с темнотой. Живут только глаза. Старик горец умолк, точно и он это увидел: и ее, и медный таз с инжиром на стене из плитняка, за которой вверху — перевал, шиферные скалы с мазками снежников. Сумерки над перевалом были зеленоваты, незыблемы.

Алихан очнулся, тряхнул головой. Он не смел отойти от старика к ребятам, которые столпились вокруг баяниста. Баян оборвал жалобу, помедлил и рванул частушку. Зашаркали, защелкали подметки, кто-то подвизгивал под бабу.

— Русская песня, — сказал старик со спокойным презрением. Алихан не ответил. Прожектор вырос за крышами, потом второй и еще и еще.

— Приходи во второй взвод, — сказал Абдулла.—

Теперь нас шестеро будет. Родичей. Скоро большой бой будет. На реке. Молиться надо.

— Приду, — сказал Алихан послушно.

Старик поправил пояс и отошел. У него была сутулая спина и тонкие ноги в обмотках. Посреди спины шинель прогорела. Но он не казался жалким. Он медленно уходил в темноту, подмечая все кругом неподвижными узкими глазами.

* * *

На рассвете мычали гудки, тукали звездочки разрывов, лиловый зенит лениво сверлили зловещие моторы. Алихан с любопытством отыскивал в тучах силуэтики самолетов. Близко, плача, вбила огненную сваю фугаска, подсекая ветки, провизжал осколочный полукруг, осел, рухнул угол дома через дорогу и в зеленоватом полумраке по-детски закричал раненый.

— Али! Отвезешь в пятнадцатый противотанковый записку. С лошадьми знаком?

— Да, товарищ майор.

— Скажи, чтоб запрягали. Возьмешь еще вот этот тюк от топографа. В штабе сдашь. Лейтенанту Беляеву. Ясно?

Майор покуривал, смотрел, как он одевается, опоясывается. В пустой еще улице белело раннее утро, серела пыль на булыжниках, лиловел за базаром шпиль костела, спали окна домов, а потом неуловимо шпиль из лиловатого стал медовым, вспыхнули мелкие стекла, перед самой лошадью промчались со щебетом первые стрижи.

Алихан вдохнул каменный холодок, теплоту лошадиного пота, все стало, как дома, дробно подпрыгивала упряжь на крупе, перекатывались мышцы, лошадь отфыркивалась, поводила ушами, сама поддавала под уклон.

На окраине возле развалин дома за уцелевшим па-

лисадником распустились мелкие розы. Он спрыгнул, просунулся сквозь штакетник, сорвал, накололся, взял цветок в зубы и погнал. Радостно тарахтели колеса по булыжнику, сами собой улыбались губы.

У каменной будки через дорогу из разбитой трубы текла вода. Вода размыла грязь, отмыла белые камешки, песчинки. Лошадь пила долго, моргала светлыми ресницами, солнце уже пригревало голову, еле заметно плыло облачко над костелом.

Две девушки шли мимо, одна улыбнулась, и Алихан обмер: это была она. Из-под низкой челки смотрели диковато светлые глаза, золотистое лицо чуть опущено, тонкие руки были беспомощны, гибки, переступали по пыли маленькие туфельки.

Предчувствие сбылось, и стало страшно, радостно и жарко, когда, приостановившись, она глянула исподлобья. Алихан сжал зубы, розовый бутон холодил подбородок, он проглотил что-то, гортанно крикнул, бросил ей цветок, который, зацепившись за ситец на груди, упал на мостовую. Не сводя с Алихана взгляда, она стала нагибаться, чтобы поднять, а он хлестнул лошадь и сорвался в галоп. Дребезжала тележка, бились подковы, а он пел сам в себе, ничего не замечая кругом:

Я еду быстро,
и еще быстрее...
Почему ты так посмотрела?
Так еще никто не смотрел,
только ты и я.
Маленький бутон
упал на дорогу,
Наш народ дарит цветы,
скачут лошади,
скачут по облакам,
вон та гора,
она вся белая.
Это моя мать. И твоя тоже.
Горы не спрашивают,
они все понимают.
Ты посмотрела на меня
так пристально!..

Лошадь пофыркивала, потела, а он все погонял. Прохожий лейтенант сердито посторонился от пыли, поправил газету на тарелке с творогом. «Вырвался мальчишка!»

Впереди за полем — деревня, белые домики под черепицей, цветущие яблоньки. Из деревни навстречу беглым шагом торопились два солдата, один снял и опять забросил винтовку, другой замахал испуганно: «Стой! Бендеры там! Стой!» Алихан только мотнул головой, встряхнул вожжами. «Стой, дурак!» От удара лошадь прижала уши и пошла кидать навозную пыль в передок телеги.

Деревенская улица пробегала пустыми дворами, над крышами кружили голуби. У магазина лежал человек. Лицо уткнуто в пыль, хлястик на шинели оторван. Лошадь покосилась, всхрапнула. «Москаль тикает!» — крикнули справа, и через штакетник полезли люди в пиджаках и кепках.

— Ий-эх! — крикнул Алихан, еще раз ударил лошадь, подкинуло, накренило телегу, что-то мгновенное, упругое хлыстом распороло воздух мимо затылка, и он привстал, раскачивая кнут. Даже сейчас его не оставляла песня, он скакал по ее голубым ступеням, а глаза цепко выбирали бегущую навстречу дорогу, и он не боялся черных дыр, упертых между лопаток. Еще один хлыст взвизгнул вдоль, рядом, и все кончилось: они перевалили бугор.

За деревней поле люцерны полого спускалось к мостику. По полю ехали к деревне два бронетранспортера. Алихан придержал лошадь. Грязный небритый водитель высунул голову, солдаты насмешливо разглядывали сверху. Офицер в каске нагнулся, спросил:

— Куда гонишь?

— Пятнадцатый противотанковый. Пакет везу. Там бендера вроде...

— Вроде! — Офицер кивнул на задок телеги. Серое

отшлифованное дерево было отщеплено во всю длину. Свежий отщеп, опасный, как рана.

— Ничего, лейтенант, жить можна! — Зубы так сверкнули, что все заулыбались. Враз мощно заворчали моторы, затрещала передача.

— Веселый пацан! — сказал водитель офицеру. Но офицер не ответил. Устало и пристально он смотрел теперь только вперед, в броневую щель на приближающиеся дома. Желтоватые глаза его стали жестоки и неподвижны.

* * *

Вечером он ехал обратно мимо той каменной будки, где журчал ручеек из разбитой трубы, и вглядывался, чего-то ждал. Ее светлые глаза исподлобья под низкой челкой, тонкий ситец на груди, пыльные маленькие туфельки. Он видел отчетливо даже чуть припухшую нижнюю губу, тополевый пух на пуговке у ворота... Устало ступала лошадь, крутились песчинки в прозрачной струйке, никого не было. «Все равно она видит меня, я вижу ее...» Стало просто и грустно, все отдалилось, гул грузовиков приходил через тишину, как со дна реки, в сумерках медленно гасли верхушки тополей.

Против штаба стоял «студебеккер», суетились солдаты, рыча, прополз к повороту «виллис» начштаба.

— Али? — Гандулинов тащил ящик к машине. — Прибыл?

— Майор где? Зачем таскаешь? Куда?

— К теще в гости! На передок снимаемся — отгулялись. Тащи свои шмутки.

— Майор где?

— Влип твой майор. — Сказал Гандулинов и поставил ящик. — Накирялся, повара генеральского съездил.

— Чего? Не понимай тебя.

— «Не понимай!» Выпил он, снять могут. Понял?

В полумраке терраски на ящике с картами сидел

майор. Он был без фуражки, ворот расстегнут, блестел потный лоб. Изредка он поводил шеей, хрипел:

— Не подходи!

Офицеры грудились у порога, посмеивались, Ткаченко просил умильным голосом:

— Вэ Гэ, отдай карты! Сел як клуша. Грузить трэба. Отдай!

Выпуклые глаза майора медленно обводили всех, не отвечали.

— Виктор Герасимович! Слезь, задерживаешь машину, — сердито уговаривал толстый топограф.

— А он и не слышит, — сказал Ивлев. — Алиханка, подойди к нему, может, тебя признает? Иди вот сюда. Ну?

— Товарищ майор! — громко, краснея, доложил Алиханов и проглотил слюну. — Рядовой Алихан прибыл... Пакет отдавай, бендера стреляй... Он смешался и замолчал. Выпуклые глаза повернулись, уперлись, из-под надбровий сквозь серую паутину пробился вопрос, осмыслились зрачки.

— Али. Алешка? Ты? Встань здесь, сынок, охраняй. Меня. Автомат есть? Охраняй. Окружили, заразы!..

Наступила тишина, Алихан растерянно вертел головой, моргал.

— Сойди, Виктор Герасимыч, — сказал топограф. — Грузить надо, начштаба уже отбыл.

— Не сойду! Я и сам... Врете, гады! Под Винницей тоже так... Не сойду!

Грозно врубились складки на щеках, серая паутина опять затянула, глаза, которые видели страшное, расширялись; Алихан попятился: майор был не пьян — болен.

— Пистолет у него забрали? — негромко спросил кто-то.

К террасе подошел ординарец начштаба. Его толстощекое лицо было вымыто, сонно. Он поморгал, поправил пилотку.

— Тебе кого, телок? — спросил Гандулинов, который сидел на лавочке.

— Товарища майора Самсонова.

— Иди вон туда. Он тебе даст «товарища»!

Ординарец взошел, пригляделся к полутьме, четко вскинул руку к виску:

— Товарищ майор, полковник Юрин приказал донести готовность к выезду!

Майор долго всматривался в белесый пухлый блин. Все притихли.

— Ты булки любишь жрать? — спросил майор зловеще. — А? А вшей ты кормил? А? Сдаться захотели? Не-еет! Я — вашу... вас..! Майор привстал, лапая пустую кобуру, ординарец с грохотом скатился по ступенькам.

— Ты, телок, — позвал его Гандулинов, — не вздумай начштаба докладывать. Понял? А то мы тебя отелим!

Водитель отдела, пожилой, степенный Миронов, вылез из кабины. С терраски по ступенькам спускались офицеры, последним вышел Алихан: майор спал сидя, положив голову на кулаки, упертые в колени.

— Подождем, — сказал Ивлев. — Через час очнется, уже бывало...

— Напился, — сказал Гандулинов Миронову. Старый шофер покачал головой.

— Не в том дело... Он и со ста грамм такой же — у него в мозги вдарило. В сорок втором из мешка выходили и всех почти положили на минном поле. Он тогда комбатом был. С тех пор вот так...

— Ты что — с ними был?

— Не... Мне Маслов рассказывал — он там был, на мотоцикле. В ПСД работал. Под Винницей.

— Всех! — с рыданьем сказал голос на терраске, — всех вижу, курвы! Булки жрете, а потом — предавать! Я вижу! Всех!

Голос оборвался. Алихан заглянул в дверь: майор

по-прежнему сидел на сундуке с картами, кулаки его были сжаты, грубое лицо ослепло от закрытых глаз. Сквозь мелкий переплет окна догорали квадратики заката на полу возле сапог.

* * *

От польского имения на берегу Вислы остались одни обгорелые фундаменты. Тополя прикрывали их от реки. За Вислой на высотках был немец. Многие тополя были на полствола сломаны, мокрая кора завернулась лоскутами над слоновой кости древесиной. Тополя стояли молча, лишь иногда шелестели — жаловались ветру. В тополях была полевая кухня. До нее из подвала, где расположился оперотдел, прорыли ход сообщения. Бывший винный подвал со сводом из плитняка был просторен, прочен, только крошка осыпалась от взрывов во дворе. Двор, изрытый воронками, всегда пустынен: за ним сквозь речные испарения, прищуриваясь, наблюдал вражеский берег — самоходки доставали сюда прямой наводкой.

— Али! Твой черед за борщом!

Он взял котелки и вылез из подвала. Снаружи на посту у входа жался к стенке Гандулинов. Чуть моросило, но солнце проглядывало, и тогда на травяном бугре за двором светилась солома. За скирдой торчал длинный ствол семидесятишестимиллиметровой пушки. Вот он вытолкнул раскаленный прут, откатился, накатился; заложило ухо. Алихан шел по глине, выброшенной из траншеи, поверху. В глине истлевали по-осеннему горьковатые клочки дерна.

— По ходу иди! — крикнул Гандулинов, но он мотнул головой, прищурился на туманистый диск за тополями.

«Везде я искал тебя, серна гор, тоненькая, быстроногая!

Ты смотришь сквозь туман со склона, и встает солнце.

Смотри — я иду и пою, и камни звенят от высоты.
Ты смотришь пристально — я иду к тебе сквозь туман...»

Из дымки от солнца вниз зашелестело — чух-чух, — заныло и резко оборвалось дымным ударом около соломенной скирды, зашуршали осколки, а один, на излете, опахнул голову, врезался в глину. Клинообразный осколок, зазубренный, горячий: мокрая листва задымилась. Алихан приостановился, разглядывая.

— Ишь, герой сопливый, — сказал голос из траншеи. — Иди сюда!

Но он засмеялся, побежал верхом, звякая котелками.

Повар, поворачивая больное лицо на чуханье снарядов в небе, разливал по котелкам борщ.

— Черпай, Семен, полней — чего вертишься!

— У него чирей вскочил на...?

— Вертит шеей, як гусак!

— Ложись! — истошно крикнул кто-то. Повар, охнув, шмякнулся на землю, покатился черпак. Все захохотали: это была шутка, только сержант недовольно пробасил:

— Разыгрались, игруны — борщ-то пролили! Чей черед? Подставляй, Али!

Огонь переместился — снаряды рвались где-то в тылу, Алихан бережно нес полные котелки. Колыхался розовый борщ, под жирными блестками выступала мозговая косточка, от духа баранины с чесноком выступала испарина. «Может, Гандулинов спирта даст, я спирт могу с водой пить, а он — так, с мясом борщ, хорошо стали кормить...» Он сошел по ступенькам в полутьму подвала, освещенную бензиновыми коптилками.

— Принес, Али? Ребята, обедать!

Радист, второй связист, Спицын, автоматчик Гомзяков, шоферы — Маслов и Миронов, писарь очкастый — Сережка присели, сдвинулись, застучали ложками, втягивали со всхлипом, отдували вкусный пар.

— А Гандулинов где? — спросил Алихан. — На посту нет, я не видел шел.

Все остановились, глядя в котелок с борщом, кто-то коротко передохнул.

— Ешь! — сердито сказал Гомзяков. — Был Гандулинов, да весь вышел.

— Как?

— Так. Как ты ушел, пяти минут не прошло — и амба. Осколком. С того бугра долетело. Прямо под лопатку.

— Осколочек-то всего с копейку... — сказал Миронов.

— Ешьте, что ли! — оборвал Гомзяков и первый полез ложкой поглубже.

Все заторопились за ним. Только Алихан сидел сгорбившись, неподвижно. Он не мог есть.

* * *

В ночь на двенадцатое до рассвета тряслись известковые своды, сыпалась оттуда крошка, весь берег тяжко вздрагивал от авиабомб. Пищали аппараты, кричали на связи телефонисты, над картой угрюмо нависал майор, покусывал губу: на плацдарме на том берегу дело было плохо.

День сочился в подвал серыми ступенями, сердитая девушка из медсанбата мыла руки спиртом, Алихан изредка взглядывал на нее. Майор сломал карандаш на карте, бросил его на пол, выругался: за Вислой стирались номера батальонов, по Висле плыли трупы, доски, солома, — кипела вода, вырастая частыми столбами: пополнение не могло переправиться. Он видел все это, хотя из подвала Вислу нельзя было увидеть. «Эх, эх! — шептал майор, — ребята, эх, ребята!»

Алихан сделал браслетик из соломы и хотел подарить его медсестре, но не решился. Сестра собрала свою сумку, выждала затишья и ушла.

— Она где живет? — спросил он у Гомзякова.

— На Крещатике, дом восемнадцать, вход со двора, — ответил тот. — Чудик ты, Алиханка!

В четвертом часу дня майор пришел от начштаба мрачнее тучи. Обвел глазами лица, спросил:

— Здесь все?

— Гомзяков на посту, Маслов и Сергей спят.

— Собрать всех. Разбудить. — Он подождал и, когда все собрались, медленно заговорил:

— На плацдарме потеснили наших к реке. В батальонах выбито две трети. Приказ комдива: в двадцать три ноль-ноль всех лишних на тот берег. В стрелковые роты. Поваров, связистов, санитаров, ездовых. Ясно? — Никто не ответил. — Поведет капитан Ткаченко, он отвечает. Дотемна укомплектовать боекомплект, раздать доппаек, разбить по отделениям. От нашего отдела пойдут следующие...

Он читал список в полной тишине, потому что все понимали, что такое плацдарм этот и что такое переправа на него. Тот, кого называли, опускал глаза. Алихана в списке не было.

Как стемнело, уходящие стали собираться, увязывать мешочки, набивать диски патронами. Хозяйственный Гомзяков не спеша, тщательно накручивал портянки. Обулся, потопал ногами — не жмет ли. Проверил ложку, зажигалку, спички в кармане. Желтый огонь чадил в коптилках, на выходе плескал дождь.

— В траншее, там беда без плащ-палатки, — сказал Гомзяков. Алихан пошевелился на соломе, привстал.

— Бери мою, Гриша. Совсем новый еще...

Гомзяков растянул плащ-палатку в руках, посмотрел на свет, кивнул:

— Добре. Вернусь — верну...

Уходившие еще долго сидели, сгрудившись, у входа, курили, молчали.

— Пора, — сказал вполголоса Ткаченко. Он казался незнакомым в каске и с автоматом. — Выходи!

Выходили, не оборачиваясь, не прощаясь, сапоги стучали по ступенькам, потом все стихло совсем, только шумел дождь. Алихану было стыдно, что они пошли, а он

остался. Он лег и накрылся шинелью с головой, но все равно было слышно, как говорят майор с топографом.

— Спишь, Виктор Герасимович?

— Не сплю, — ответил майор.

— Три дивизии. А? И в болоте. А они — на высотках. Что же это?

— Да. Спал бы ты лучше...

— Не могу. Вчера Буркин приплыл оттуда: связь, кабель, опять перебило. Восемьдесят девять только за четверг. А?

— Да. Спи.

— Коле Охрину, комбату три, ступню оторвало, переправляли на плоту, и уже у нашего берега накрыло. Совсем.

— Это я тоже знаю, спи, — терпеливо повторил майор.

— Спирта у нас нет?

— Есть, но ты лучше спи.

— Какой тут сон.

Майор не ответил.

В соломе, в сырой теплоте — стреляные гильзы. Солома слежавшаяся, прелая. Когда-то она была пшеницей. Пшеница усиками щекотала щеку. Алихан отвел тяжелые колосья, вгляделся: колосья, как вода, смыкались за ее спиной, мелькал пыльный ситец, пушистый нимб, все шире в зное расплывалось стрекотанье кузнечиков.

Хлебный привкус был на губах, молоко в корчаге казалось голубым, узкая ладонь раздвигала колосья, осторожно, бережно, точно гладила по щеке. Сверчки-пулеметы стрекотали на том берегу сна, и поэтому не было страшно, наоборот: стеклянные крылья стрекоз состригали колосья, а они — он и она — смеялись, сплетая пальцы, потому что стеклянные осколки не могли их задеть никогда, не могли разрубить солнечных нитей, протянутых от снеговой вершины к замиранию теплому в середине груди. Нити колыхались от ее слабого дыхания, оно

приближалось, оно дышало у самых губ. Он чувствовал, что сейчас они прикоснутся...

— А пацан и во сне все улыбается, — сказал Ивлев майору, который сменял его у аппарата в пять утра.

— Какой пацан?

— Какой? Твой, конечно.

* * *

В шесть утра майор уже будил Ивлева:

— Борис, Борька, вставай, ну проснись, Борька, вызывают меня!

— Кто? Что? — бормотал Ивлев, садясь, не разлепляя глаз.

— Сам Панкратов прибыл. На НП сто шестого. Юрин меня вызывает. С оперсводкой.

Наблюдательный пункт сто шестого артполка был в буграх песчаных у самого берега, километрах в двух от подвала. Весь берег до него простреливался насквозь минометами, и там часто убивало и ранило связных. Ивлев сел, жестко растер лицо, зевнул.

— Не знаю, кого с тобой послать. Всех разобрали.

— Сам дойду.

— Сам-то сам... А если? С оперсводкой идешь. Сейчас подумаем...

— Погоди, — сказал майор. — Пусть они добровольно. Эй, ребята, кто желает прогуляться? По бережку. Со мной вместе. А?

Серый глаз его задорно щурился, шевелился большой нос.

Алихан вспомнил бревно с желтой рукой, стриженую макушку под талым ледком, и проглотил отвращение. Вот так же будет лежать майор, деревянный, не нужный никому, как сломанная вещь. Хотя у него есть имя и отчество, и веселый смелый глаз, и здоровенный смелый нос. Но скоро ничего этого не будет никогда. Но и я не хочу стать ничем. Он вспомнил сон, ее дыхание

у губ. Дыхание исчезало от страха, от жестоких мыслей. Он останется, но этого ее дыхания — не будет. Почему? Ответа нет, но не будет.

— Я пойду! — сказал он и покраснел: ведь он не хотел говорить.

— Ты же у аппарата?

— Пусть идет, — сказал Ивлев. — К аппарату Сергея посадим.

— Ну, смотри, Алешка, — сказал майор, — назвался груздем... Переобуйся, автомат проверь, хлеба возьми в карман.

* * *

Особо чистое после дождя утро пригревало сырую глину, и она отсвечивала голубизной. Мокли на дороге тополевые листья, паутинка искрилась в бурьяне, ветерок холодил шею, шевелил волосы.

— Благодать! — сказал майор. Алихан туго перетянулся ремнем, автомат покачивался между лопаток, саперы смотрели из ячейки, как он ловко переступает сапогами по кирпичному крошеву. У въезда в имение торчала горелая труба, дальше надо идти по открытому пустырю к берегу. Мимо них по дороге гнала полуторка со снарядными ящиками. Старая полуторка с залатанной кабиной и полустертыми номерами на бортах. Нахохлившись, кто-то сидел в кузове, дымил самокруткой.

Дугообразный шелест возник от зенита вниз к ним, и они упали на кирпичи в миг удара, встряхнувшего пустоту в желудке, и лежали на колотой щебенке, втягивая затылки от второго шелеста и удара. Переждали. Приподнялись, глянули. На дороге стоял дым, в дыму — покосившаяся полуторка, из борта торчала доска, кто-то хромал из дыма к ним, а потом споткнулся, лег. Алихан узнал его, вскочил, побежал.

— Назад! — яростно крикнул майор, но Алихан его

не слушал: да, это был Абдулла Магомедов. Старый мусульманин лежал на животе, раскинув тонкие ноги в обмотках. Пилотка свалилась в грязь, смуглая щека дергалась, тускло глянул узкий глаз. Алихан приподнял его за плечи.

— Абдулла, я это, я — Алихан, — бормотал он, — куда тебя, подожди!

— Нет, — слабо и твердо сказал горец. — Нет... О, Алла, Алла...

Он вытянулся с неожиданной силой, вырвался из рук, голова стукнулась о землю, медленно серела морщинистая смуглость шеи. Это была смерть, вон она какая — одна для всех.

Алихан шел за майором быстро, машинально. Затылок чуял тот чужой внимательный берег, который следил за ними сквозь линзы бинокля, и тело было как бы раздето на убой, потому что здесь некуда спрятаться, только разрытый песок, из которого торчит увядшая ботва, колесо какое-то, а вон, кажется, нога в обмотке...

Припекало, синий день слепил песчинками, но во рту стоял привкус, сладковатый, кровянистый, и казалось невозможным идти дальше под этой пленкой, которая затягивала солнце мутной капсулой мертвечины. Потому что тот берег видел их с майором отчетливо, любовался ими, подкручивая резьбу прицела. Изредка он посылал над головами щебечущие стаи мин, выращивал сиреневые выбросы справа, за развалинами фольварка. Алихан знал, что если услышишь посвист, то это уже не сюда, не в тебя. И этот. И еще. Пока — не сюда.

Они поравнялись с частыми воронками, песок на дне был черным, в одной воронке серела полузасыпанная спина в шинели.

— Пристрелялись, гады, — сказал майор и ускорил шаг. Алихан смотрел на его взмокшую под мышками гимнастерку, на побуревшую шею и ждал. Мутное солнце не давало дышать. Наступила какая-то пауза, полное молчание всего, только песок скрипел под сапогами.

Пустота. И в этой пустоте Алихан уловил вспышку, ие видимую никому, руки толкнули майора вниз, в воронку, уже падая, зажмурясь, он крикнул дико, и жужжащий вой обрубился в недрах невероятным ударом: черное солнце, как паровоз с моста, сорвалось в яму, полную дыма и тьмы. Потом забрезжил день, он увидел крупный серый песок, обрывок газеты. Он увидел скат воронки, погои с двумя просветами, хрящеватое ухо. Майор был здесь, но он стал, как старик горец Абдулла, трупом, и невозможно было до него дотронуться, чтобы убедиться в этом до конца. Майор сел и стал ковырять в ухе. К лицу прилипли песчинки, шарили кругом выпуклые глаза, шевелились губы. Но Алихан ничего не слышал — ровный звон стоял в ушах и теле, что-то стучало, как молот внутри. «Контузило? — Ругается майор, иет, смеется?» И понял: жив, живы! И все стало прекрасно и просто. Ои тоже улыбнулся. Майор помог ему выбраться из воронки, но когда оии тронулись дальше, сильно захромал, остановился. «Черт-те что, — думал майор. — Растянул голень. А здесь пристреляно, по одиночкам садит. И как ои услышал снаряд? Надо ковылять. Где бы палку взять? А — вои доска». Он поднял расколотую доску и приспособил ее как костыль. Другой рукой он опирался иа Алихана. Так они дошли до НП и спустились в траншею. Здесь майор сел, привалился спииой к глине и закурил.

— На, затянись, Алеша, — на тебе лица нет.

Алихан затянулся и закашлялся до слез. Майор что-то говорил, в ухе щелкнуло, и Алихан услышал:

— Теперь, брат, живы будем!

— Жить можна! — сказал Алихан и засмеялся.

Он сидел в окопчике около блиндажа, в который ушел майор, и смотрел, как офицер-артиллерист то смотрит в стереотрубу, то что-то пишет на планшете. На патронном ящике стояли консервы с красиыми этикетками. На этикетках была коровья голова и нерусские буквы. Это все стало интересно.

Шли часы, Алихан задремал, проснулся, опять закрыл глаза. Майора не было, ничего не было, кроме серебристой дремоты, сквозь которую где-то изредка вздрагивали далекие разрывы. Низкий свет пригревал лоб, руки, ложе автомата, а влажную спину холодила земляная стенка траншеи.

— Алихан! Подъем!

Майор стоял над ним в фуражке, сдвинутой на лоб. Он был зол и непокорен.

— Расплодили стратегов, туды их в качель! — сказал он в пространство. — Чего улыбаешься? Все равно не понял.

— Понял!

— Чего ж ты понял?

— Туды в качель!

— Правильно понял. Хлеб есть?

— Есть.

Майор присел рядом, разломил краюху, и они стали жевать.

Вечер кончился, незаметно пришла лунная ночь, все небо мерцало бледными созвездиями, и много людей и в наших, и в немецких траншеях смотрели в искристую бесконечность тишины. Передовая молчала.

— Ну, потопали, — сказал майор. — Дойдем потихоньку — я костыль свой наладил.

Они медленно шли как бы по дну сухого лунного моря, где было все незнакомо, полупрозрачно. Песчаные пустыри, ямы кратеров-воронок. Слева — огромный перламутровый диск с темными пятнами, справа — две длинные тени, пересекающие бугры. Они шли, нет, не шли, а плыли, будто покачиваясь в седлах в такт конской поступи, в ритме напева, который опять возвратился, плыли сквозь хрустальные горы, где каждая песчинка зеленовато мерцает о безопасности, потому что едут родичи, которые победили и возвращаются вместе к родному аулу.

Майор шагал, скрывая боль, неотступно думал о том,

что немцы ночью сюда не стреляют, потому что засылают, может быть, сюда за «языком», недаром из сто шестого, говорят, пропал связист и его нашли заколотого — кто-то их потревожил, не довели до берега, дойти бы хоть до дороги, там наше охранение, помогут, а пацан мой совсем зеленый, его-то сразу пришьют, а меня, офицера, будут вязать, но тут им не обломится, нет, хоть и хромой, а не дамся, нет! — и он оскалился, выхаркнул отдышку.

— Погоди — передохнем...

Сняв сапог, майор ощупывал лодыжку, ругался шепотом. Алихан сидел, поджав ноги, лунное море плавилось в глазах, колыхалось бездонно, и в этом море бесшумно пробежала тень, потом вторая, быстро, по собачьи, и тоже провалилась, а рука майора пригнула его к земле, в самое ухо шептали сухие слова:

— Немцы! Тихо сиди — немцы! — И сразу ночной свет стал мертвенным, а рука сама оттянула затвор автомата. — Не стрелять без команды! — хрипло шептал майор.

Еще две тени перебежали ближе и залегли на виду, прикинулись песчаными кочками. Они еще не заметили их, эти кочки, полные страшного расчета. До них было метров тридцать. «Заметят — срежут сразу, — думал майор, медленно вытягивая пистолет из кобуры. — Или взять попытаются... Мне не уйти с ногой... Алиханку возьмут, нет, он не даст, а может, и даст, не двигаться, ждать, чего ждать? Те ушли на перехват к дороге, а эти двое страхуют их сзади». Он пригнулся к Алихану, зашелестел:

— Если обнаружат — стреляй. Если нет — замри. Меня убьют — возьми планшет и пробирайся назад, на НП. Замри!

Одна из кочек приподнялась, оглянулась, и Алихан увидел бледное пятно лица под длинным козырьком, блик на металле пряжки. Точно сбрасывая непомерную тяжесть, он вскинул автомат, и раскаленный язычок оче-

реди заплясал из трясущегося дула, и одна тень вскочила, упала, а другая шарахнулась вбок, в полутьму, и он старался достать ее пулями, как длинной стальной лапой, и она тоже нырнула вниз, а в его горле заклокотал родовой клич, ему хотелось вскочить, вызвать их всех, трусливых убийц, на поединок, драться и петь грозную песнь джигитов... Но майор схватился за ствол автомата, и настала тишина.

— Лежи тихо, не шевелись, — сказал майор.

Они лежали долго-долго, пока не успокоился стук в груди и не застыли пальцы на затворе. Майор сел, покрутил головой.

— Ну, пронесло, кажись, — сказал он. — Вспугнул ты их, Алешка! — Он еще послушал. — К берегу подались, ясно, а там их Богатенко переимает. Чу! Слышишь? — Далеко под нашим берегом заколотился тяжелый пулемет, потом автоматы, трассирующая струйка взмыла, распустилась осветительной ракетой. — Порядок! — Майор встал, отряхнул песок. — Пошли. Но без команды больше не пали, Алешка!

Мелкая дрожь начала бить Алихана, она родилась в животе и была неудержима. Он не мог встать.

— Ты чего? — спросил майор. — Ранен? На вот, глотни НЗ. — Он протянул плоскую фляжку, отвинтил колпачок, и Алихан сделал крупный огненный глоток, утер слезинки.

Они медленно, шаг за шагом, шли к дороге, и майор думал: «Если бы я не сел передохнуть, они бы нас первыми заметили и попытались бы без шума взять. Если бы он не дал очереди, они бы все равно нас заметили и стреляли первыми. Это судьба, что я его на плацдарм не послал, хотя завтра прикажут, и пошлю... И что ногу растянул — тоже судьба».

— Ну, выручил ты меня, сынок, — сказал он негромко и ткнул Алихана в плечо. Все встало на место. Опять мглисто сияли хрустальные хребты, сквозь которые они проплывали, качаясь в седлах, холодком избавления

вздыхала грудь, все глубже, все ровиее. Потому что теперь все сбудется, что он почуял во сне. И опять зажурчал ледяной ручеек с гор, который омывает узкую девичью ступню, отражая нагнувшееся лицо, взгляд исподлобья, и оио приближается, ои ощущáет ее дыхаиие иа губах, хотя скрипит песок под сапогами и хрипло задыхается майор.

Тополя усадьбы были уже видиы сквозь зеленоватую дымку, оии высились, как чериые стражи тишины, он различал серебристую рябь их листьев. Разбитая полуторка торчала на дороге, ио тела Абдуллы Магомедова уже не было или он был там — в иевесомом коитуре ледников, в искрах кварца, в запахе пастушеского дымка. Потому что Алихаи видел сейчас старый кош под скальиой стеиой, и сам ои шел к отаре, разрывая колеиями сочиые травы, за большим усталым человеком, который подымался по склону, как его дед, или Абдулла, или майор. Ои шел за его спокойиой сильиой спииой, лиловатой, как теиь горы, все выше, где стояла среди горного луга девушка в ситцевом платье. Она ждала только его одного. Теперь иакоиец-то она что-то хотела ему сказать.

Он почти ие замечал, что луиный свет побледиел, что оии идут мимо обгорелых развалин, в которых прячется танк, которого утром ие было. У таика иа земле сидели два таикиста. Одии резал иа газете помидор. Оии стали было вставать, ио майор махиул им, и оии сели. Вот уже их двор, и оии идут через иего, не спускаясь в траншею. Вот ступеньки в подвал, вот шофер Маслов выскребывает иа пороге котелок, подиимает глаза, открывает рот.

И здесь иечто скользко-тяжкое провалилось в Алихаие через живот в иоги, в землю, колеии ослабели, и он удивился, что это — отвратительиое иечто — еще где-то в ием оставалось. Но теперь уж провалилось навсегда. Ои ясио услышал чье-то покашливаиие, шарканье иог, кухоиный гречневый дымок. Покой был властиым и

надежным, как ладонь человека, который оперся о его плечо, перешагивая порог. Покой от рассвета за тополями, от маленького высотного облачка, чуть тронутого зарей.

Он спустился на две ступеньки в тень входа, подпирая плечом грузное горячее тело майора.

— Я ж им говорил — вернется... — бормотал Маслов. — Али! — окликнул он вдогонку. — Кашу на тебя оставили. Возьми там, на нарах, в моем котелке.



«МНЕ ЧАСТО СНЯТСЯ ТЕ РЕБЯТА...»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Сначала незаметно стронулась ночь. За голым березняком забрезжила темная заря, в размытых пятнах сна прорезался ртутный отблеск осоки, сурово огрубели комья пашни.

Потом в лощине засветился низинный пар. Грудь хрипло глотнула его болотной сырости, и тело съежилось: дымок дыхания показался предательством. Тело пряталось — оно боялось этого малиново-молочного зрачка, который глянул из-за сизых лесов.

Негреющий диск медленно подымался над окопами; блеснули крапины ледышек в клетчатке палого листа, и тоску опушки прохлестнул первый жужжащий удар.

Железо равнодушно сверлило туман, и второе желе-

зо, догоняя его, торопливо взвизгнуло над затылками, а потом вся берестяная тишина рухнула, покатилась, оскверненная минометным кашлем и скрежетом.

Тогда на стылой глине зарозовелась скомканная газета, вся в мелких строчках. Глаза упрямо, отчаянно цеплялись за типографский шрифт — только бы не видеть, как под алчным прищуром восхода обнажается каждая песчинка, как синеют вцепившиеся в ложе автомата пальцы. На потрескавшейся коже торчали короткие светлые волосинки. Читайте, читайте! Слышишь?

...нистагмоид... двести-двести двадцать... закрытая травма... сюда-света!..

Только узкая полоска перед глазами: твердая плешина земли, белая от инея осочка у пня, сучок березовый, сухой, отживший. Ободок краски вдавливался в надбровья с пудовой жестокостью.

— Снимите каску!..

...охранительное торможение... вот этот участок... вне травмы... света еще сюда... оболочечные спайки? ...может быть... нет, не показано... а давление?..

-- Снимите каску!

Но языка во рту не было. Ледяной спазм связывал челюсти, в осеннем заморозке растекалась вонь тола. Танковые шрамы припечатывали розовую пашню, на осоке подтаивал чистейший иней, воронки приближались, как шаги. «Надо снять каску — не видно, опасно... Снять!»

— Не вижу — снимите! — попросил он.

...одиннадцать... девять... восемь... — считал деревянный голос.

«Это — танковая болванка», — сказали два голоса.

«Это — на мне его», — догадывался отдаленный хор.

Беззвучная дуга остановилась в зените, выбрала, дрогнула и пошла и пошла вниз, в самое темя. Звуки боя красиво сочетались и скрещивались с тенями травинок и берез, как будто никакой дуги не было, но осока на

кочке вдруг стала вся стеклянной, точно ее подожгли через ледяную линзу, а потом померкла навсегда.

— Я ж говорил — накроет! — сказал он с бесполезной ненавистью.

* * *

Ничего не было, даже темноты, за этим прозрачным квадратом, пока не пробился снежный свет. На бечевке морщилась накрахмаленная марля, желтело застиранное пятно йода. Матовый туман расширялся, сдвигался к краю сознания — золотистые волокна вокруг заструганного сучка хранили древнее сосновое тепло, которое заполняло огромную пустую голову. Он ощутил голову — он прислушивался к своему рождению, к рождению от этих двух ладоней. Живые и чуткие, как грудки двух птиц, они прижимались к его щекам. Потом одна снялась и погладила шею. В ней было успокоение, защита, стирающая страх, и он улыбнулся. Теперь он чувствовал по отдельности свои плечи, грудь, живот, колени, которые лежали в нагретом мягком воздухе, еще ни о чем не зная. Он проглотил запах и вкус чистой воды, от которой заломило зубы, и наконец увидел самое важное — ее глаза. Внимательные, с ожиданием в желтоватых гранях, с небольшой доброй болью на самом дне. В них отражалось его собственное недоумение, непонятные ватно-бессмысленные слова-звуки не мешали этим глазам смотреть и помогать.

...он смотрит-не-видит — может-понимает-мам-там-там-

...люда-приготовь-шприц-пять кубиков-там-там-беспокоить-павла-родионыча- незачем-завтра будет-казимиров...

И эхо: казн-миров, казни-миры, казни-миром...

Две ладони — как теплые птичьи грудки, опять легли на щеки, согнали страх, стерли его, прогрели до нутра пустоту, расслабили спазму челюстей, а потом ее пальцы

сжали предплечья и ясно объяснили, что все в порядке и не надо шевелиться, бороться. Но он и не хотел бороться — он им поверил.

* * *

— Смотрите на меня. Так. Я — врач. Поняли? — сказал серый усталый голос. Он не ответил.

— Сядьте.

— Он уже садился сегодня, — сказал другой, облачный голос. — Когда ел. Утром.

От облака на лице оседали мельчайшие капли, а в пустоте грудной клетки отозвался толчок благодарности. Он лежал, переливая ее в самом себе, прислушиваясь, как где-то, еще глубже, начинает щемить приятная слезная слабость. Его глаза, не отрываясь, смотрели в пальмовый от мороза квадрат. «Это — ок-но...»

— Посмотри на врача, — попросил его голос. Он сделал для нее усилие, повернул шею.

— Смотрите на меня, — приказывали терпеливые слова врача, — сделайте усилие и посмотрите. Вы меня видите? (В серой усталости возник трущийся речной гравий — участие.)

— Да, — сказали с натугой его рот и язык, и сразу лицо врача стало фотографически четким: небритая кожа, плохие зубы, мудрые точки зрачков и лысый загорелый лоб.

— Меня зовут Петр Родионович. А вас?

— Не знаю... — подумав, с трудом ответил больной: ему трудно было двигать нижней челюстью.

— А фамилия?

Но он не понял.

— Ну, ладно. Слушайте меня: вы — в госпитале. Вы были ранены. Понимаете?

Он не понимал.

— Нет, — сказал он.

— Не отворачивайтесь. Смотрите сюда. На вас не

нашли красноармейской книжки, документов. Мы не знаем, кто вы, где родились.

У вас есть мать?

Он молчал.

— Где вы жили?

— Не помню, — сказал он еле слышно, все в нем будто сморщилось от усилия: в темноте черепа медленно выжималась капля крови, набухала, оторвалась и канула вниз, в гулкую пропасть.

— Ну, ладно, ладно, — сказал усталый голос, и галька в нем заскрипела явственней, — не вспоминайте, лежите. Дайте ему аминазина, Люда.

Мучение отходило: две ладони, край кружки, теплые глотки, радужные кольца под веками. Сморщенная душа медленно распускала складки; подземно, глухо бормотала в ней благодарность.

— Я правда не помню, — шептал он, — ей-богу...

* * *

Он в кубовой ковырял гвоздиком дверцу топки, а сам все поглядывал на стену: там, за стеной, что-то творилось. Там был кабинет главврача и за столом сидели трое, а еще кто-то стоял у двери; на стекле стола плавало солнечное пятно, ему хотелось накрыть его ладонью, пальцы ткнулись в стену, пятно перешло на руку, пригрело кожу и пропало: на него наползла жесткая тень чьего-то голоса.

— Так и не помнит, где родился? На фронт не хочется...

— Нет, симуляция исключена: у него стойкая амнезия.

— А эпилептиформные явления?

— Нет.

— Тогда выписывайте его — он уже месяц ходит. Куда-нибудь. — Жесткая тень оборвалась, за кремин-

стыми песчинками пробивалась знакомая усталость другого мудрого голоса.

— В таком виде он нетрудоспособен, нет родных, адреса, есть все-таки афазия частичная, возможен повторный арахноидит...

Опять наползла наждачная интонация, в ней было равнодушное безучастие, он боялся его:

— Не знаю, белобилетник, лечению не поддается, но место занимает. Пусть решают наверху — может, он им нужен?

Молчание, чреватое бессловесной опасностью. И сдвиг: сквозь стену мелькнула белая комната, белый халат, коротко стриженная женская голова с маленьким мускулистым ртом. И другая голова — с большой залысиной, всезнающие зрачки, устало борющийся голос, в котором вяло, но упрямо повторялся протест, отекшее знакомое лицо, становившееся брезгливым и хмурым.

Больной стоял, не убирая руку со стены, на висках бисерился пот. Он не понимал слов — он понимал звуки голосов, их или опасную или дружественную суть. И когда все замерло на одной нитевидной паузе, темноту накрыло прохладным облаком еще одного, третьего голоса. В его сугробных кристалликах вспыхнул солнечный зайчик:

— Разрешите, он у меня побудет... Пусть, я и такого его возьму.

(И толчки в груди: ...возьму, возьму...)

— Пусть хоть печи топит пока. В коридоре. Куда ж ему? Не на мороз же его...

Это был единственный, ее, голос.

Кирпичная стена теперь пропускала медленный свет. Такой свет бывает за рекой рано утром, в тумане. На той, луговой, стороне. Когда идешь к реке с бреднем и двумя удочками. От ледяной росы деревенеют босые пальцы, на туманной воде четко и тонко ржавеют стоячие камышинки, а потом плеснет щука в старице, и все

раздробится, сдвинется, и вот — только старые кирпичи сырой стены, жестяной куб для кипятка, холодный шлак в совке на цементном полу. Но и отзвук последний, оттуда:

— Я его Ваней зову, Ваней...

Ваня вобрал воздух, колени обмякли, но пальцы ног чуяли еще миг не цемент пола, а холодок утренней травы. Он сел на лавку у двери, не моргая, уставился под ноги. Стукало в горле сердце, но он не шевелился: ждал. Ее ждал.

* * *

— Это печь, — сказала сестра наставительно. — А это растопка. И торф. Понял, Ваня?

Он старался, но ничего не понимал. В руку сунули спичечный коробок, и он с удивлением почувствовал, что рука проснулась. Сначала правая, потом — левая. С недоверием следил он, как его собственные руки примеривали щепки, складывали их в топке маленьким шалашом, как они сдвигали кругом брикеты торфа, а потом пальцы ощупали коробок, вытянули спичку, чиркнули, и внезапно трескучей радостью вспыхнула, съежилась береста.

Черная кайма дыма потянулась в дымоход, потащила за собой зубчатый огонь, в трубе, усиливаясь, загудело, все выше, выше — на весь коридор.

— Во! — сказал он.

— Ну, вот — видишь! — с торжеством сказала сестра.

А он все смотрел на свои потрескавшиеся, отмытые в госпитале пальцы с тупыми толстыми ногтями. Где он их раньше видел? Значит, было раньше?

Оно не здесь.

Вот это широкое устье русской печи — не здесь. В кирпичной пещере разгорается пламя лучин, бархатится сажа на челе, корежатся, лопаются палочки; за слепым оконцем в осиновой ранней мгле перекликаются сонные

петухи. «Да где ж тот рогач проклятый?» — сказал бабий, с хрипотцой голос. Уголек выстрелил, выкатился на подметенный загнеток, шипя, угасал, пропадал в неведомой древней тьме.

Ваня приоткрыл рот, невидяще глянул сквозь сестру в пустынный больничный коридор. На полу подсыхали следы швабры, пахло карболкой, каленым чугуном заслонки.

— Пойдем, — по-новому, огрубевшим голосом сказала сестра, — обмундировку твою получим. На сегодня хватит с тебя.

* * *

— Пей чай. Хлебца бери. Чего смотришь-то?

Он смирно сидел за столом, но все озирался. За головой тикали ходики, с этажерки улыбалась глупая фарфоровая кошка — все Ледины дети. (Он не выговаривал «Люда»). А это что? Над кроватью дыра в обоях была заклеена плакатом: моряк с оранжевым лицом хмурился вдали, в синьке белели чайки, толстые буквы приказывали: БЕРЕГИ РУБЕЖИ РОДИНЫ! А на плакат иголкой пришпилена карточка: девчонка в гимнастерке сидит на бревне, серьезная, толстоногая. На левой груди — маленькая медаль.

— Это я, — сказала сестра. — В сорок третьем. Под Харьковом. Похожа?

Он не понял, но закивал большой головой.

— Ну, пей — простынет, — сказал добрый голос. — Пей, ничего не бойся.

— А это что?

— Это? Сахарница. Для сахара она. Туда его кладут.

— Для сахара, — повторил он.

— Сегодня не надо, а завтра я тебя в шесть отведу топить. Сумеешь?

Он посмотрел на свои руки, усомнился, потом решился:

— Сумеют, — сказал он про руки. — А это что?

— Это мне мама прислала. Сама сшила.

Она сняла с чайника ватную пеструю матрешку.

— Веселая! — сказал он и широко улыбнулся. Слова сами по себе выскакивали на язык. Только не надо было их насильно искать — они сами знали, когда выскочить. Это он вдруг понял.

* * *

В коридоре теперь тоже стояли койки: привезли еще один эшелон раненых. Днем Ваня их избегал, но ночью, когда все засыпали, коридор заполнялся чистотой безвинного страдания, словно в духоту вылили морозного озона.

Было темно, за окном еле светилось снежное небо, круглая печь чернела под потолок, кто-то закашлялся со стоном, смолк. Ваня присел на корточки, открыл чугунную дверцу. Красный жар хлынул в лицо, язычки плясали в глазах, голову прогревало до самого дна.

— Торфом топите? — спросил с ближней койки пожилой мужичок. Он один не спал; огневым отсветом доставало до его серой щетины, высвечивало слезящийся довольный глаз.

Ваня не ответил.

— Торфом — хорошо, — говорил мужичок, — но дровами-то — получше, подомашней будет. Наколешь смолья, подпалишь — и пошло! Так, солдат?

— Да, — сказал Ваня, не оборачиваясь. Раненый смотрел с подушки в печной жар, желтели отсветы на белках глаз, а за ними проступали туманные провалы души. Они осветились хрустально в бесплотном пару лица, а потом — потухли. Это *че-ло-век.*

— А чего тебя тут положили? — спросил Ваня.

— А где ж еще? Война! Все забито.

— И вон их тоже, — задумчиво сказал Ваня. Сквозь печное тепло все сквозило откуда-то холодком чьей-то боли, он щурился от этого. — Много вас привезли...

— Двадцать восемь только тяжелых, — подтвердил раненый. — Война!

Жар в печке будто прислушался, стих на миг и опять загудел, затягивая в малиновую пещеру. Время опять куда-то пропало.

— А что это — война? — спросил Ваня.

Раненый с трудом повернул шею, вгляделся, с хрустом потер щеку.

— Аль не нюхал? — спросил он насмешливо. Ваня промолчал. В его стриженой голове, во лбу, в мутноватых глазах просвечивало бледное терпение долгой постельной болезни. Раненый еще раз вгляделся в него.

— Война, брат, не мать родна. Ты сам-то откуда?

— Не помню.

— Из беспризорных, значит? Тебя куда задело? Где? Меня на Втором Украинском. Под самым этим Дрезденом. Вишь — была и нету! — Он пошевелил под одеялом культей правой ноги.

— Я вот — печи топлю... — сказал Ваня, робея.

— Вижу, парень. — Мужичок помолчал. — Закурить бы как? А?

— Я сестру позову. Как проснется, так позову.

— Зачем сестру. Завернуть бы достал. Ты что — не курящий?

Ваня встал. Ему хотелось уйти, но огонь еще не отпускал — надо было, чтобы все угли прогорели. В черножелтом гудении змеились волосы, падающие церкви, лошади, птицы, бегущие в дыму человечки. А потом — опять малиновый обвал углей и вновь мерцанье и грустных и жестоких глаз, тлеющих в пещерной тьме безымянного времени.

— А что это — война? — переспросил он с тихим упорством.

Раненый мужичок отвалился на подушку, потянул на нос одеяло.

— Ты уж лучше правда поди сестру позови, — сказал он.

* * *

Ваня вышел на крыльцо. Синело за крышей, снег у забора еще берег ночь, поздний месяц закатывался за сизые поля. Морозило. Искры выпорхнули из трубы, потухли в рассветных тучах. Сбоку тучи оранжево теплились негреющим месяцем, а в глубине дышали, темнели, и именно там гасли искры, там клубились загадки бескровных проплывающих лиц. Они будто были знакомы, но имени их он не помнил.

Крепчал мороз, медленно и льдисто рассветало, вспархивали ничтожные искры, живые, исчезающие, они неслись в тучи, к своей родине, наверное. Потому что там они подсвечивали во мгле, полупрозрачные мужские скулы, лбы, зрачки тех людских теней, которые знали, что вот он, Ваня, стоит на крыльце и смотрит вверх, спрашивает с беспокойством: «Война, война?», а раненые спят, все люди спят, только он чего-то ждет. Может, те, кто вверху, в тучах, знают, кто он? Сам он этого понять не мог. «Не помню я...» — повторил он им беспомощно.

Что-то беззвучно сеялось и сеялось на полоске хмурой зари: медленно, тихо стал падать редкий снег.

* * *

Сарай с торфом стоял на заднем дворе больницы. Снег на дворе растопило в кашу, сырые облака задевали за голые опушки берез, а от синевы в зените знобило мартовским счастьем. Хотелось закинуть кепку на крышу или в резиновых сапогах бродить по колено в ледяных ручьях, каблуком пробивать сахарные сугробы до черной

воды. Ваня нес охапку осиновых дров, щурился на мокрый свет. У стены больницы на куче теса сидели выздоравливающие. Из-под коричневых халатов торчали кальсоны, обрезки валенок. Или только одна нога — у Синюхина, того мужичка из коридора. Его прозвали «Сапер». Он курил, следил добродушным слезящимся глазом, как Ваня обходит глубокие лужи. В лужах мягко слепило солнце.

— А в тени еще знойко. Поля-то не обсохли.

— Какие поля — только на припеке и жарит...

— Благодать! — сказал одноногий Сапер и задавил цигарку о тесину.

— Вишь. — Иван топает.

— Дурачок...

— Вчера видел: стоит за сараем и в поле смотрит. Торф нес да и позабыл. Бросил корзину-то, а сам смотрит, и все.

— И я видал, — сказал чернявый жуликоватый парень. — Стоит столбом час и боле. В одной рубахе.

— Сестра пришла, за рукав отвела. Как малого.

— Он с этой сестрой и живет.

— Даром, что дурачок.

— Ну и что — всякой бабе мужик нужен.

Все помолчали, кто-то вздохнул, сплюнул.

— Вань! Подь-ка сюда! — позвал Сапер.

Ваня послушно подошел. Он бледно улыбался на все, он любил сейчас и лужи эти, и доски, и Сапера — всех. Теперь он их не боялся.

— Больной, больной, а таскать здоров! — сказал чернявый. У него желтело нездоровое, точно грязное всегда, личико, желтели белки хмурых угольных глаз, зло торчал худой нос. Но грудь его под халатом, там, куда смотрел Ваня, была прогрета мартом, дышала часто. Чернявый взял Ваню за полу, дернул вниз: «Садись!» — сказал сердито. От худой его лапы прошел сквозь тело слабый ток — тепловатый, обиженный, бестолковый. «Сирота» — вспомнил Ваня слово и тут же забыл.

— Давно здесь околачиваешься? — спросил чернявый.

— Не помню...

— А где тебе мозги-то отшибло? Не помнишь? — еще злее, с какой-то отчаянностью даже снова спросил чернявый.

— Брось — не трожь его, — сказал толстый рябой солдат. Он сидел раскорячившись, накинув стеганку на халат. — Садись сюда, не бойся! — он поощрительно похлопал по доскам. Но Ваня сел рядом с чернявым. Толстый солдат надул щеки, цыкнул меж зубов под ноги, плечом поправил стеганку.

— Ты их не слухай, Вань! Шпана! Меня слухай. Ты где живешь-то?

— А вон. Там вон. — Ваня кивнул на флигель.

— Это где главврач?

— Мы внизу, а он сверху живет, — ответил Ваня. Толстый все ухмылялся ему рябинками маслянистых щек, но за круглой складкой тупого лба, внутри, в клубке сплетений, пульсировал лениво багровый сгусток...

Ваня со страхом смотрел туда.

— На — поиграй! — ласково сказал рябой, протягивая на ладони губную гармошку. Глаза его прищурились, стриженая голова вспыхнула рыжинками.

— Не надо, — сказал Ваня и встал. — Не надо...

— Бери, бери! — рябой насильно сунул гармошку ему в карман. Ваня, пятясь, отошел, затопал по крыльцу.

В коридоре он присел у холодной печки, вытер лоб, вздохнул с облегчением, вспоминая: там, в потемках душевных, у Рябого вызревало, шевелилось какое-то страшное дело. Какое? Думать стало невыносимо, Ваню передернуло: где-то в черепе опять сжалась боль, набухая, потянула за сердце, выжала каплю, и капля скатилась в пустоту и налилась другая.

Он сбросил дрова на пол, грохот нарушил оцепенелость. Рука сама нащупала коробок, чиркнула спичкой, пустила по сухой коре веселые лесные огоньки.

В них был отблеск полуденной опушки, обтаявшие кусты у грязной обочины, неторопливое постукивание деревянного валка. Лошадь, не спеша, тащила дровни по навозному ледку, пахло волглой шерстью, чистой водой, вербным расплывчатым солнцем. Ваня сидел в дровнях, не шевелясь. Иногда из-за поворота опахивало студеной синью, с обтаявшего поля слетали тяжелые черно-синие грачи.

* * *

Гармошка притягивала губы, у нее был сладковатый жестяной привкус. Ваня тихонько сплюнул, попробовал еще раз. Сестра сидела на кровати, слушала удивленно. Потом стала тоненько подпевать:

На позицию девушка
провожала бойца...

Ваня играл, закрыв глаза. Грустно, сипловато пел кто-то. Не сестра, не Люда, не гармошка. Какая-то девушка стояла в двух шагах, капли таяли на серой ушанке, — лица не было — туманность. Молочный туман висел меж деревьев, к мокрой стали прилипла рыжая сосновая хвоинка.

...Поздно ночью простилися
на ступеньках крыльца...

Туман редел, слоился, его подсвечивало ржавым заревом, потом что-то ударило в землю, под полом, еще раз, Ваня сбился, пение оборвалось, липкий дым оседал все ниже, на клеенке стола с мельчайшей четкостью проступил красный чайник, немытый стакан, хлебные крошки.

— Ну чего ты? Играй! — сказала сестра. — Молодец какой! Ты ж умеешь!

— Не могу...

Немецкая гармошка лежала на подоконнике. Но боль-

ше он ее никогда не брал: во рту остался привкус чужой слюны, от которого давило, поташнивало под ложечкой, словно в комнате под половицами лежал и ждал продолжения музыки неотпетый труп в узком лягушачьем мундирчике.

* * *

Толстый солдат подошел, подмигнул рябой щекой, сел рядом на приступке.

— Как жизнь, Ваня?

Ваня посмотрел сонно, но остался сидеть: его разморило на припеке, земляной мокрый запах щекотал ноздри, даже глаза слезились. Он кивнул на забор, где рядком грелись серые воробьи.

— Я им хлеба даю, — сказал он доверительно.

— Правильно — пусть пожрут от нашей пайки. — Рябой хлопнул его по спине, ловко кинул папироску в губастый рот.

— Смотрю я на тебя и жалею — парень ты видный, а живешь как... Кормит хоть тебя твоя-то?

— Кормит, — тихо сказал Ваня.

— Принеси-ка стаканчик, — попросил рябой. Ваня послушно встал, сходил в комнату, принес граненый стакан. Рябой ловко выбил пробку из чекушки.

От водки тепло пробрало до самого сердца.

— Ты меня слухай, — говорил рябой степенно. — Меня все знают. Если кто обидит — ко мне. Я черному-то хотел морду набить за тебя. Понял?

— Да, да! — говорил Ваня, улыбаясь и ничего не понимая, так было хорошо. В радужном круге медленно ехали окна, сосульки, скворечня за сараем, рыхлые облачка.

— ...Не бойсь — допивай, я в обиду не дам, меня все знают...

Рябой расстегнул ватник, сощурился, толстые щеки

его обмякли. Радужный хоровод пошел веселее, ломким голоском отломилась, упала сосулька под крышей. Страха совсем не осталось: кто-то все это придумал, засветил, пустил кружиться по свежему поднебесью.

* * *

Больница — старое кирпичное здание — стояла на краю города. За ней был пустырь, поле, лесок, вырубленный до прозрачности. А перед главным подъездом за забором — булыжная улица с редким рычанием непонятных машин. Улица отрезала свой мир (в который входили и пустырь и лесок) от чужого. Нечто, прохожие, автобусы, узкоколейка, а главное, за всем этим — огромная до неба труба — вот что было этим Нечто. «Город», — говорили раненые и стремились туда, но Ваня боялся желто-серых клубов дыма из гигантской трубы, красных глазков по ночам, неясного мычания, железного скрежета. Нечто. Там обитала равнодушная махина, машинно-хитрая, многоглазая, бензиново-потная. Ваня вот уже второй год не выходил со своего двора.

Двор с двумя старыми березами, запах угля, земли, и лебеды, и дождевых тени — все это было знакомо как бы с рождения и потому оберегало спокойствие. А главное — его комнатка с низким потолком и стеганым одеялом, где жили они с Ледой. Она жила здесь. И он жил здесь, потому что она жила. В ином месте он не смог бы жить. Ведь его убежище — ее облачный голос. Он жил в облаке. Голос-облако звучал или спал в маленькой заставленной комнате, но он всегда был. Все вещи в этой комнатке были теплыми от ее голоса, ее рук, волос, платья, походки и улыбки. Вещи слушали, как она дышит: чайник с отбитым носиком, фанерный стул, источенная губами ложечка.

Он лежал на ватном одеяле и смотрел на узор бумажной салфетки. Только он один знал, что на рассвете

этот узор начинает звучать. Крестики и ромбики плели напев, убаюкивали, вещи-игрушки дремали, как дети. Леда дышала рядом, и с ней дышала вся комната, вся оттаявшая земля, вместе с ней, с ним, с облаками, отраженными суровой огромной рекой. Он не думал, где он видел эту реку. Но когда-то он ее видел.

Он вставал раньше сестры, чтобы затемно истопить печи в коридоре. Он вылезал из гнезда постели и выносил тело на крыльцо, чтобы вобрать первый глоток выстуженной ночью тишины. От этого вливалась в тело непонятная сила. Она стояла в нем, как грозовая иглистая вода, молчаливая под тонким туманом. Там в омутах мерцали зернышки глубинных звезд. Постепенно они бледнели. Потом пробуждался голосок синицы — первый, еще робкий от темноты, но совершенно чистый. Люди не могли говорить с такой чистотой. Но когда они спали, он ощущал, какие они необыкновенные, и двигался и носил дрова почти бесшумно, чтобы их не разбудить.

* * *

Так он стоял на крыльце и на этот раз, как всегда в глухой час в самом конце ночи. Все было лиловато-прозрачным, чутким от тишины. Шептались шорохи, лопались тончайшие льдинки в волокнах осиновых поленьев, все явственнее сквозили рогатые веточки на морозном рисунке окна. Начиналась весна. У забора между ржавых выброшенных коек невидимо, но ощутимо раздвигали земляные комочки тупые крепкие ростки одуванчиков. А вверху невозможно высоко звали за собой пролетающие на север серые тени. Люди думали, что это журавли. Но люди не знали, что от курлыкающей вести наступал новый срок для всей жизни.

Но что-то мешало сегодня этой жизни: радость ее почему-то вдруг затаилась. Ваня повернулся к углу дома: там, за кирпичным углом, во тьме пустоты пульси-

ровал сгусток жестокости, выжидая, замышляя что-то. Что?

Ваня сбежал с крыльца и обогнул флигель. Там, точно нарост на гнилой кирпичной кладке, висело серое рябое лицо. Ваня, защищаясь, протянул руку.

— Ты што? Чего тебе?! — быстро, зловеще зашептали толстые губы. — Чего, дурак, хватаешься?

— Не надо! — умолял Ваня, пытаясь ухватить нечто скользкое, преступное там, за рябой маской, за пустыми зрачками. Но его пальцы ловили воздух, а потом от первого удара в челюсть он рухнул возле поленницы в грязь, замусоренную опилками и щепочками.

Его нашли белым утром. Он был без памяти, но от эфира тихо забормотал, открыл мутные глаза.

А на втором этаже флигеля, в обворованной взломанной комнате лежал главврач с пробитым черепом.

Вся больница гудела. Раненые жалели Ваню: на кого руку поднял, гад! В канцелярии следователь допрашивал медперсонал, шоферов, завхоза. В палате на койке сидел толстый рябой солдат, авторитетно говорил соседям:

— Не найдут. Я этих урок знаю, если «мокрое» — не найдут.

— Законно, — подтвердил чернявый. — И Ванька заодно попал...

— А может, это он? Дурачок? — предположил кто-то неуверенно.

— Может, и он, — равнодушно сказал рябой. — Пойди спроси!

* * *

Ваню допросили на следующий день. Сестра привела его в канцелярию и оставила со следователем. Следователь, молодой, краснощекий, излишне от этого серьезный парень, с любопытством посмотрел Ване в глаза: он ни разу в жизни не сталкивался с людьми действи-

тельно совсем без памяти. Ванины выпуклые глаза были тихи, мутноваты, непонятны.

— Так, — сказал следователь, разглядывая перебинтованную голову свидетеля, который не мог даже выступать в суде, — ты, значит, на крыльцо вышел. А дальше?

Ваня напряженно прислушивался к его ровному, словно жестяному, голосу. В голосе за плоским равнодушием лежала всесильная власть. Оттуда — из Нечто за улицей, из чуждого машинного Нечто.

— Вышел и что увидел? — переспросил голос. — Или не увидел?

— Нет, — сказал Ваня вяло.

— Что ж ты делал на крыльце? Ведь еще ночь была, а?

— Там хорошо было...

— Не прикидывайся! Вышел на крыльцо, а нашли за углом. И голова разбита. И вон — губа. — Он показал карандашом.

— Не помню...

— А как фамилия твоя? Правда не помнишь? — забываясь, человеческим, ожившим от удивления голосом спросил следователь.

— Не помню...

— И как за угол завернул?

— Нет...

— Ну, скажи, что помнишь. Сам скажи.

— Куст и это... Не знаю...

— Какой куст?

— Куст, не куст, а... Махонький такой клубочек, а в нем...

Ваня осекся, испугался лживости хитрых слов — слова здесь были пустышками. Он сморщился, нагнул голову.

— А что в кусте? Что «это»?

Ваня махнул рукой. Из испуганных глаз, упертых в стену, по вялому лицу поползли слезинки, он не заме-

чал нх: ои опять увидел это отвратнтельное «нечто», пульсирующее в темиоте сладким ожнданием убийства. Он не помннл нн рябого лица, нн зловещего шепота — только эту пульсацию в пустоте бессмыслицы. Он хотел бы сейчас уйтн, спрятаться, бежать из комнаты, где его заставляют иаснльннчать над собой, ои хотел бы укрыться в теплом облаке, которое сеет мелкнй дождь на апрельскую пашню. Рыхлая земля дохиула в лицо иавозиым соломенным духом, ои услышал скрежет лемеха по камешкам, бряканье постромок, отфыркнванье лошадн. Чей-то далекнй знакомый голос крнкнул, подбодряя: «Н-но, мнлая!» — н Ваня забыл про комнату, про следователя, про все — он ощущал сейчас только одио: там, в глубнне чернозема, дремлет маленькнй тугой росток, согреваясь с иамн на зелеиом солице.

Ои успокаивался, утерся, провел ладонью по бннтам головы, глубоко, всей утробой, вздохиул.

— Ну, ндн, ндн... Ладно, что ж с тебя взять, — смущеиио-серднто заговорнл краснощекнй парень, постукнвая карандашом по тетрадке. — Куда ты? Дверь — вот она. Пошлн там... Ну, ладно — я сам позову.

С минуту он сндел не шевелясь, растерянно щурясь на коичик графнта. Записывать ои ничего не стал.

* * *

Рябой солдат выпнсывался. Он обходил койкн, за руку прощался с соседями по палате. Гимнастерка с двумя колодкамн обтягнвала его круглую грудь.

— Бывайте, хлопчнкн!

— Куда ж теперь?

— Мне еще месяц далн. К матухе смотаюсь. В Харьков.

Ои загляиул в орднnаторскую, чтобы попрощаться с сестрамн. В ордниаторской на клеенчатом дняане сндел Ваия н грыз сушку. Сестра Козлова и хнрург — завотделення — Полнна Абрамовна стояли спнной

к двери и разглядывали ленту кардиограммы. Рябой поколебался, усмехнулся, просунулся боком.

— До свиданья, девушки! — сказал он весело. — Отчаливаю!

— До свиданья, Полюхов, — ответила врач.

— Счастливо, выздоравливайте, — сказала сестра. Рябой протянул ей руку. Со стуком упала табуретка, и Ваня, побледневший, с открытым ртом, загородил сестру.

— Не надо! — крикнул он.

— Ты что это?

— Ты что, Ваня, Ваня!

Но он пробился сквозь родной голос — он кинулся и вцепился в пульсирующий клубочек, затаившийся за рябой ухмылкой, он рванул гимнастерку, оторвал карман. Рябой толкнул его на диван, отшвырнул ногой табуретку, матерясь, затопал прочь по коридору. Врач побежала за ним, а сестра нагнулась и подняла с полу сложенную квадратиком десятирублевку, крикнула:

— Полюхов! Погоди! Он же больной... Вы деньги обронили! — Она обернулась к Ване. — Сдурел ты, что ли!

В ординаторскую молча вернулась врач, хмуро сказала:

— Придется его в палату перевести. Это, вероятно, после шока. Ну, что еще у вас там?

Она смотрела на раскрасневшуюся растрепанную сестру: развернув десятку, та впилась в нее ненормальными глазами. — Ну, что с тобой теперь, Козлова? — повторила врач недовольно.

— Полина Абрамовна! Это ж — мои деньги! Вон — зеленкой край испачкан. Я ж их во вторник Петру Родионычу дала. Долг отдавала. А в среду его убили. Господи! Долг отдавала!..

— Откуда же они здесь?

— Да у этого рябого из кармана выпали. Когда Ва-

ня ему гимнастерку порвал. Бегите за ним, Полина Абрамовна, его остановить надо, что ж это делается!

— Я сейчас позвоню, — жестко сказала врач и сняла трубку.

Рябого задержали на станции Долгопрудная Савеловской железной дороги ровно через двое суток.

* * *

В мае отколупали старую замазку и открыли одно окно в палате выздоравливающих. Сырой травяной холодок смахнул соринки с тумбочки, прошелся по затхлым простыням. Старый Сапер весело погладил культю, впрягся в костыли, просунулся к подоконнику. На заборе сохло цветное женское белье, на кухне гремели бидонами, лениво переругивались поварихи. Подошел по двору Ваня. Он был побрит, чисто одет в старенький китель. Этому всему его научила Люда.

— Принес? — спросил Сапер.

— Принес.

Каждый день перед обедом Ваня приносил ему из ординаторской сегодняшнюю газету. Как это делать, его никто не учил. Сапер достал очки, к которым никак не мог привыкнуть, смущаясь, надел их, облокотился, читая заголовки.

— Сеют и сеют! — вздохнул он. — Победили и сеют. А мы тут окопались...

— Кого победили? — спросил Ваня.

— Фрицев, кого ж еще. Гитлера, заразу ему в... Эх ты, милай!

Ваня хотел отойти.

— Нет, ты погодь, постой. Ну, ты пойми все же: война кончилась. Шабаш! Вой-на! Не разумеешь и теперь?

— Брось, Сапер, — сказал безрукий капитан с угловой койки. — Он и в День Победы не понял. Помнишь,

как он стоял? Все веселы — и ему весело. А почему, зачем — ему и невдомек.

Но Сапер не уннмался.

— Вот, смотрн, — говорнл он Ване, похлопывая по своей культе. — Была и нету. Это — война. Понял, глупой?

— Не... А кто ж ее отрезал?

— Немцы отбнлн.

— А зачем?

— Эк тебя носнт! Зачем! Начальство приказало. Фашисты.

— А они б не слушалн, — сказал Ваня упрямо.

— Поди не послушай! А к стенке? Чнк — и нету. Понял?

— А я б не стал, — тнхо, упорно сказал Ваня. — Все равно не стал.

— И я б не стал, да коровы жалко! — подмнгнул Сапер. — А он — стал. Вон рябой — своего врача-то н то... Иные-прочие любят это самое — кровь пущать... Чего ты понимаешь!

— Это я поннмаю... — тнхо ответнл Ваня, и все в палате на него посмотрели.

— Он другой раз правда поннмает, — сказал безрукий капитан. Сапер кнвнул. Его костнстое лнцо было обветрено, обыкновенно, но сквозь трещнну в грудн через халат просвечнвало прохладное ночное небо. Это не уднвило Ваню, хотя был майский день. В серебристой звездной пряже медленно проплывалн туманностн добрых мыслей. Трещина проходила через грудь, голову, потолок палаты и терялась над поседевшей макушкой в бездонной синеве. А голобородое крестьянское лицо было хитровато и непроннцаемо.

— Вот это война и есть, — сказал Сапер. — Ногу не отбнло бы, может, н я там остался. А теперь еще пошкандыбаем помаленьку — рукн-то целы. Понял?

— Оставь ты его, на что ему война эта — отвоевал-

ся, — раздраженно сказал капитан. — Чего тут понимать, хватит того, что...

— Как жизнь, Вань? — спросил черный. — Все гуляешь?

Ваня улыбнулся. («Сирота. Добрые. Безрукие. Война. Сирота».)

— Гуляю, — сказал он. — Вчера с ней в лес ходил. — Его малокровное вялое лицо оживилось. — В лесу березки. Листочки-то зеленые! Вчера ходили мы... — Он о чем-то задумался, сморщил лоб.

— Эвона — вчера! Ты на прошлой неделе про это рассказывал.

— А у него нет этой категории — времени, — сказал капитан. — Он время не считает. Оно ему ни к чему. Ермаков! Возьми у меня в тумбочке пряники, передай ему.

Черный вытащил кулек с пряниками, протянул в окно. Ваня, улыбаясь, взял, глянул в темные зрачки, коснулся сухой руки: токи человечьей жалости, токи щедрости, желтые скулы, стриженая шишковатая голова. («Сирота, Обиженный».)

— Ты сирота? — спросил он. Черный удивился, хохотнул фальшиво.

— А что? Ну, сирота. Кто сказал?

— Ешь, Ваня, сестру пойди угости, — сказал капитан. — Она у тебя вроде матери, лучше родной жены.

Кругом, согревая, смотрели на Ваню пестрые разные глаза, как клевер на лугу, разноцветный, чистый от росы.

— Пряники! — с гордостью показал Ваня подарок Саперу. Тот улыбался всеми морщинками, но Ваня перестал улыбаться: там, где недавно сквозь трещину светило ночное звездное небо, теперь вырастали багровые зубчики, росли незаметно, остро, упорно. («Боль. Страдать. Скоро. Боль».) А Сапер все улыбался.

— Неси домой, Ванюша, — говорил он ласково. —

Не растеряй дорогой, чаю попьете вечером. Неси, неси — к чаю пряники-то в самый раз!

* * *

Днем Сапер ковылял на костылях по коридору, по палате, шутил с санитарками, а вечером его положили в изолятор: температура поднялась до сорока. Ему сделали уколы, заходила женщина-хирург — старообразная, хладнокровная, с седым пучком, долго мяла вострыми пальцами покрасневшую культю, сказала жестко: «Завтра — рентген. — И добавила непонятное: «Абсцесс», прикрыла простыней, ушла.

Ночь текла мимо подушки вязко, бессмысленно. Сохли губы, во рту набухал огромный язык, пальцы казались бревнами. Сапер лежал терпеливо, переставлял обрывки мыслей, не моргая, смотрел, как то пропадала, то лезла назойливо в глаза голая лампочка под потолком. Потом ее заслонила чья-то тень.

— Я к тебе пришел, — сказал Ваня. Сапер не удивился.

— Ночь уже? Сколько счас? Времени.

— Времени?.. Не знаю. Ты горишь? Я дома увидел — горит здесь все, — сказал Ваня. — Жалами жалит, — добавил он, подумав.

— Попить бы, — сказал старик, облизав губы. — Попить дай. А утром приходи...

— На, попей. Утром? Утром уедешь ты.

— Куда ж я теперь... Вишь, какой жар. И нога пухнет...

— А одеяло... не загорится? — боязливо спросил Ваня, всматриваясь в больного.

— Шел бы ты домой... Тошно мне. К выписке собрался — и вот...

— Тошно? Утром пройдет, — успокоил Ваня. — Улетишь, и все. Хорошо!

— Эх, нога моя, ноженька! Была б нога — только

меия и видали. У нас в деревне травами бы вылечился... наша деревия иа песках, а пойма — луговая... эх! Куда уж мие теперь... Нога!

— Зачем иога? — Ваия встал, оглянулся таинственно, вытащил из кармаиа картонную коробочку. — Никому ие давал глядеть, — шептал ои, — а тебе покажу. А то ты больио боишься. А чего бояться-то? На, смотри!

Толстыми пальцами ои открыл тугую крышечку. В коробочке в сеиией трухе лежал продолговатый кокон. В его твердой золотистой пряже хранилось терпеливое тепло. Там, в чериоте виутрениеи камеры, угадывались ажуриые крылья, иочиой узор иа лимоиием бархате, жаркий полдень и летучая теиь иа луговой траве, и все выше — к облаку иад обмякшей ольховой листвой.

— Мотылек, что ли? — спросил старик.

—Ты в седьмой слышал, как стонали? — спросил Ваня. — В палате.

В седьмую возле кубовой переиосили безиадежных.

— Уйди! — слабо крикиул старик, сморщился.

— Нет, ты погоди, ие бойся, — горячо шептал Ваия, — я сам видел: оии иочью стонали — вылазили, а утром — все. Парят, как одии. И я так хочу. — Ои кивиул на светящийся кокон, задумался. — Я ее иной раз и вижу́ даже, — сказал ои строго.

— Кого — ее? — иапряжеино спросил Сапер.

— Душу.

Они молчали очеиь долго, каждый смотрел в свою точку, внутри себя, а глаза безразлично видели голую лампочку, столик с кружкой, белую грязную дверь. На задием дворе заквохтала курица, Ваня подошел к окиу: солнца еще ие было, но свет расширялся вверх за спящим флигелем, блестела березовая полениица, иочь отступала на запад, за город. Старик поднял голову с подушки.

— Иди, Ваия, — попросил он.

— Счас. Я тебя спросить хотел... Мие ие говорят, смеются.

— Что?
— Кто я такой?
— А сам не знаешь?
— Нет.

Старик устало откинулся на спину, всем телом ушел в постель. В морщинистую щеку чуть дуло зябкими запахами из форточки, дымилась росой лебеда у забора.

— Не знаешь? Ну и не надо тебе этого... Ты блаженный, Ваня. И все тут. Контуженый, блаженный.

— А ты?

— А мы — известно: мы — народ, люди, значит. Обнакновенные.

— Другие?

— Блаженный — щастливый значит. На што тебе науки эти? Иди, Ваня, иди — светло вон. А я посплю. Полегчало мне, значит, я и посплю. Иди, милый...

* * *

К трем дня старого солдата перенесли в седьмую, где вторые сутки маялся в беспамятстве огромный слепой шофер. А на другой день рано утром на задний двор подали крытый грузовик и один за другим снесли с черного хода два закутанных кокона, погрузили, хлопнули дверцей, и машина, ворча, покачивая кузовом, выползла со двора на улицу.

Выздоравливающие на бочке играли в домино; ни один не повернул головы.

— Твой ход, Федька! — фальшиво-бодро крикнул чернявый. И Федька торопливо поставил костяшку на кон.

Ваня стоял у дыры в заборе, следил, как машина с улицы свернула на зады, в поле, как она уходила в желто-зеленое свечение одуванчиков, чернея, словно большой жук. Там в рыхлой крестьянской земле медвяное солнце прогревало твердые шелковые коконы, и паутинный блеск его лучей был нестерпим для глаз, но,

прищурившись, можно было уловить, как две тени, планируя, ликуя, несутся над колеями проселка, над мелким ручьем, и дальше, дальше, выше, к жаркому облачку над редким осинником. Две плоские тени, догоняя друг друга, уменьшались, вот-вот исчезнут. И Ваня пролез через дыру и пошел за ними. Проселок пропадал в голубом мареве, журчал жаворонком, ветерок шевелил волосы, а Ваня все шел и шел.

Его нашли в двух километрах от города, там, где проселок вливался в Горьковское шоссе. Он сидел на краю канавы, гладил рукой сырую травку, смотрел в небо. В небо четко высилась ажурная мачта высоковольтной линии.

— Не взяли, — сказал он хмуро. — Сегодня не взяли они меня...

* * *

Что-то передвигалось, менялось внутри людей и вещей, а потом и люди и вещи исчезали и заменялись новыми, но Ваня не сознавал этого. Он только видел, что на поле с одуванчиками исчез проселок и появилась серая бетонная полоса с белыми столбиками, что автобусы стали длинными и красными, и не одна, а четыре гигантских трубы клубили над городом желто-серые дымы, что самолеты мелькали с грозовым ревом и так высоко, как никогда раньше, что будто в одну ночь на месте старой больницы вырос пятиэтажный корпус с широкими, как витрины, окнами. Он назывался теперь не госпиталь, а больница, и Ваня боялся его, хотя туда ходила на дежурство сестра, потому что помнил, как зачем-то крушили чугунным ядром кирпичи коридорчика, где месяц за месяцем часами сидел он перед топившейся печкой, где стояла койка Сапера, а потом поставили титан с кипятком и кружкой на цепочке. Ядро крушило в облаках кирпичной пыли все, к чему он привык, как к дому. Зачем? Исчез пустырь, где осенью

в бурьяне возились желтогрудые синицы, а в глинистых ямах стояла дождевая вода, исчезли тропки в лопухах, по которым он ходил, люди, которых встречал, кошка с кухни белая с черным. Куда? Часами сидел он теперь на лавочке возле оставшегося от сноса флигеля и смотрел мимо всего и вверх, в тучи.

В главном корпусе по воскресеньям показывали кино, но сестра никак не могла заманить туда Ваню.

— Ты ведь в кино мальчишкой ходил? Да? Ки-но! Ну, помнишь?

— Нет...

— Ну для меня сходи. Что ж я все одна хожу, а там, может, и понравится тебе. А?

— Не люблю я его.

— Кого?

— Корпус этот. Новый.

— Почему?

— Там известкой пахнет. И ножиками.

— Какими еще ножиками?

— Которыми людей режут...

Но все-таки раз она его уговорила.

В маленьком зале было тесно от чужих мыслей и глаз, пахло паркетной мастикой и больничным бельем. Больные рассаживались с веселым гулом, выскакивали смешки, кашель, слова: «Итальянский? Это я смотрел.... Нет, наш... Дядя! Сядь пониже!.. Маруся — место есть!.. Тихо, вы!»

Засветился квадрат в стене, тихо застрекотало что-то будто знакомое, зажужжало, Ваня втянул запах нагретой кинопленки, замер, но степь в квадрате горела без жара и запаха, громыхала бессмысленная музыка, черные куколки бежали куда-то, потом все закрыло огромное резиновое лицо, блестящее, подкрашенное, оно пело непонятно и фальшиво, и много женщин с голыми плечами шлепали в ладоши и показывали всем белые зубы.

Ване стало скучно и душно: он ничего не понимал, а все кругом понимали, дышали горячо в шею. Он по-

шевелился, оглянулся тоскливо — из полутьмы мимо него жадно смотрели сотни возбужденных глаз, впитывали непонятную игру светотеней.

— Ну как? — пытливо шептала сестра. — Понимаешь?

— Пойдем...

Но она все смотрела в экран, и он посмотрел тоже. Какие-то низкие тяжелые машины плевались белым огнем, на машинах чернели четко кресты, падали картонные фигурки, сталкивались, опять бежали, но уже обратно, а машины пылали красивыми кострами без звука и запаха. Сидеть становилось все тяжелее, потому что теперь он и не хотел ничего вспоминать, даже если б смог.

— Что это? Узнаешь, видал? — шептала сестра.

— Нет... — отвечал Ваня. Он сидел, потому что чуял ее волнение, но зачем оно и почему? Он закрыл глаза.

— Пойдем! — Он взял ее за руку, и сейчас же побежали токи через ее пальцы в него, и тогда он увидел то, что она видела глазами, но увидел в себе: черное острие, как мотыга, долбило живую вздрагивающую пленку на темени, белые трещины пропускали огонь, смыкались, а через тучи дыма смотрели женские глаза с такой дикой тоской, что становились слепыми бельмами. Он смотрел на это, крепко сожмурившись, музыка стала понятной — это была музыка горя и ненависти, она дробила череп, и ему стало нечем дышать. Он открыл глаза: пожилая женщина, растрепанная, изможденная, кричала что-то из двери теплушки нерусским солдатам, которые смеялись и проходили мимо. Они шли жрать. Один из них играл на губной гармонике. На миг все стало не картонным, игрушечным, а настоящим, и Ваня почувствовал беспомощность и ужас. Он встал и пошел по ногам к выходу.

— Дурачок ты мой, что с тобой делать — не знаю, — говорила во дворе сестра. Он смирно слушал, косился на электрические пятиярусные окна.

— Я домой хочу... — жалобно попросил он.

От нового корпуса до старого флигеля было метров двести. Но сразу, как вышли за черту электричества, хлынула в ноздри ночная жизнь травы и чернозема огородов, осмысленное переквакиванье лягушек от ручья, а на утомленную голову опустилась, как защита, ночная летняя мгла. В ней шуршали листья, гнулись веточки старой березы, которую Ваня знал всегда. Кора у нее сбоку была глубоко ободрана трактором, но она не жаловалась и не мстила. Она все понимала и ничего не боялась. Потому что она жила не в кино, а здесь, в своем ветровом, земляном и зоревом доме — в мире ином.

* * *

— И чего тебя никуда из дома не выгонишь? — говорила сестра. — Сидишь сиднем, хоть бы в город сходил, в магазин, с людьми бы потолкался, а то...

— Я в магазин ходил! — гордо сказал Ваня.

— Всего-то разочек сахара купить. Сходи просто по улице погуляй. Какие дома-то новые построены — красота!

— Не надо мне этого. Города — не хочу...

— Ну хоть бы книгу какую почитал. Ты ж ведь в школу-то ходил раньше! Вот газета — прочти здесь. Ну?

Он взял газету и тихо отодвинул.

— А чего там? Не умею я.

— Умеешь! Я сама видела: «Огонек» ты читал. Это раньше ты не умел, забыл, а потом пошло само. Читать надо тебе!

— Слова там такие. Это все сон, — объявил он уверенно.

— Сон! А что для тебя не сон?

— Не сон — там, — объяснил он, обводя рукой круг возле своей груди. — Я тебя туда возьму, — пообещал

он с такой тихой любовью и твердостью, что она промолчала. Но вечером положила перед ним журнал.

— Прочти вслух, — попросила настойчиво. — И врачи советуют... Развиваться тебе надо. Ну, немножко, вот хоть здесь.

Он послушно, но запинаясь, начал:

...Воспоминания о боевых делах партизан, о подвигах советских людей и жертвах, принесенных ими ради освобождения Польши, навсегда живут в памяти народа... Вечная память тем, кто...

Он оторвался, наморщил лоб: «навсегда живут, вечная память»...

— А что это: «вечная»? Какая это?

— Читай дальше.

— Нет, ты скажи — как это: «навсегда живут...»?

— Читай дальше.

— Нет, ты скажи — как это: «навсегда живут...»?

— Читай, читай...

...Совершая глубокий рейд по тылам противника, бойцы партизанского отряда проявили беззаветное мужество...

«Рейд... беззаветное...» — шептал он, начиная волноваться, еще раз глянул на густые печатные строчки, и вдруг череп точно пробило искрой — он увидел скомканную газету на пашне, порозовевшей от ледяного восхода. Что-то громыхнуло в невозможной дали, словно с того света, газета погасла. Ваня сморщился, встал тяжело затопал во двор. Там он долго сидел возле поленницы, рисовал прутиком по пыли, иногда тер переносицу — силился что-то вспомнить. Но не вспомнил ничего, только сдавило затылок, заныло в черепе, под волосами. Прутик все рисовал по песку рожицу с улыбкой. Где-то так вот сидел и рисовал. Но тогда рука его была тоньше, светлее, мягче. Когда же она изменилась и стала «лапой»?

* * *

Месяц за месяцем, год за годом (он не считал их) слова все больше теряли значение, пустели, отмирали, как чешуйки старой кожи. Незачем говорить слова, которые мертвы. Даже хуже: они хитро выворачивают суть, заманивают в сторону, а потом рассыпаются прахом. Говорить надо не словами, а душой.

Через поры кожи, глаза, ноздри, губы, через кончики пальцев и сухие волосы — душа ощущает суть, самое скрытное везде и во всем. Она предостерегает или влечет, в ней нет обмана. В ней живут все былинки, облака, лошади, лужи, люди. Только стихни — и она подскажет. Верь душе своей.

Ваня лежал в траве и думал. Но думал он не словами. Муравей полз по прутику вверх, остановился, ощупал Ванину душу маленькими антеннами. Он в хитиновом панцире, потому что скрывает нечто столь древнее, что становится страшно. Такое же древнее, как у камней и песка. Забытая всеми, мутная, как янтарь, сердцевина древности. А в ней — муравьиное сердце, чуждое всему, потому что у него не свое, а общинное сердце. У некоторых тоже, перородясь, общинное сердце, но это совсем не то, что у муравья, это даже противоестественно, потому что такое сердце любит не лицо, а муравейник. Оно подчиняется только маршу и равнодушному размножению. Или равнодушному истреблению. В ритме неуклонном и усыпляющем, который передвигает балки, стропила, трупы погибших мотыльков. Ритм, воздвигающий башню до неба. Обязательно до неба хотят доползти муравьи, миллионы лет они ползут и ползут до неба. Вокруг них башни на все стороны света лежит чисто подметенная пустыня, стерильная от спиртового яда.

Муравей убрал антенны, испугался: прикоснулся и почуял человечью душу. Она одна была ему страшна, хотя он не знал, что такое страх. В нем жило колдов-

ское знание, без логики и формул, отпечатанное навечно в его крохотном мозгу.

— Не бойся! — сказал Ваня муравью; в траву меж ресниц упал солнечный столб, замерцали пылинки на листе, на хитиновой спинке муравья, и мудрая теплота затопила опушку. Августовское солнце грело всех без различия, все были ему дороги, даже этот муравей, который торопливо уползал вверх по гибкому травяному стеблю.

Ваня лежал в чистой тонкой траве в тени одинокой ели. С опушки был виден корпус больницы, но Ваня смотрел, как пух чертополоха трепещет на еловой щетине, не может отцепиться. А в макушке этой одинокой елки остановилось облако, похожее на пух, и в панцире муравья голубел осколочек неба, и сырость земли проникала в поры тела, и в луже пересыхающей плавали еловые летучки. Все жило и дышало, проникая друг в друга. Около тележной колеи, заброшенной в засохшей грязи, отпечатались худые птичьи следы, а рядом — Ванина нога. Все было в покое и дреме, ничего не было зря: и пух чертополоха, и красная бусина «волчьей ягоды», и загорелая мужская рука с мягкой ладонью, которую покалывали тончайшие живые токи лесного перегноя. Все было в Душе мира, которая живет вне времени и вещей. Он закрыл глаза, чтобы ничего не мешало ее слушать.

* * *

— Он совсем перестал говорить, Аврам Герасимович, — сказала сестра районному психиатру Базилевичу, — а вы чего-то дознаться хотите. Я ж уже какой год с ним живу, а не дозналась.

— Неудивительно, неудивительно, — тихонько приговаривал Базилевич, катая шарик из промокашки. — А сны он не рассказывает?

— У него не поймешь — где сны, а где правда... Иной раз во сне бормочет.

— Интересно, интересно... А что бормочет?

Сестра замялась:

— Да так, ерунду...

— Но все-таки?

— Ну, раз вроде молитвенного чего-то, не разберешь...

— Молитвенного? Надо записывать. Вы записывайте все.

— Да не поймешь толком, что-то вроде: «Слышу, слышу... Господи, да что ж это? Вытащи, вытащи!..»

— И все?

— Да. А другой раз как крикнет: «Второй номер! Второй номер!»

— Интересно... Он вас всегда узнает?

— А как же! Хоть через стенку, честное слово! Но вот фотокарточку мою не узнает. И свою — тоже.

— Разве есть его фото?

— Есть. В солдатской форме. Парнишка еще. Больше ничего не было при нем. В части фотографировался, верно. В шинели.

— Интересно... А с другими, говорите, он почти перестал разговаривать?

— Раньше разговаривал, а теперь чего-то не хочет. Трется возле людей, а говорить боится. С тех пор, как в кино я его водила. Нет, раньше стал молчать — когда старичок один помер от воспаления, Сапером его звали... Но это когда еще было! Сто лет назад.

— Интересно, интересно... — Базилевич задумчиво постукивал по столу, его лысая макушка мигала желтым бликом, яйцевидные веки прикрывали взгляд. — Интересный случай, интересный... Вы его все же за ворота одного не отпускайте.

— Какое там! Насильно не вытащишь, сколько лет все у поленницы сидит у флигеля. Да еще на зады, на опушку сходит. Он улицы страшится.

— Ну и хорошо, — сказал врач, — пусть сидит, пусть...

Сестра встала, взяла историю болезни, одернула халат под пояском.

— А он... всегда такой будет? — спросила быстро, опустила глаза.

Базилевич пожевал мягким ртом, кивнул лысиной:

— Здесь может быть трепанация, да и то... Нет, я думаю — невозможно. Нет.

Она тихонько двинулась к двери, вышла, так и не подняв глаз.

* * *

В комнате на первом этаже кирпичного флигеля было пусто, тихо. За окном бледно зеленела лебеда, серел гнилой забор, на подоконнике меж хлебных крошек бродили две бронзовые мухи.

Ваня лежал босой на широком стеганом одеяле, смотрел в тусклый квадрат окна, в удалившийся сон. Он только что проснулся, но сон невидимо еще держался в комнате: ситцевое платье в простенке боязливо прислушивалось к диковатой степной песне. Песня была чужда домашней теплоте этого платья. Но Ване она была знакома: заросшие лица, задубелые складки, но очень молодые зубы, звенящий надрыв, а потом стоны, прекрасные, почти детские, беспомощные стоны, и цветущая, примятая колесами гречиха, и дым на лунном закате, и запах масляного металла, нежной шеи, пушистых волос, гречишного меда, и солоноватый вкус слез. Он кого-то тащил на руках, долго, безнадежно, но непреклонно тащил, все выше и выше шагая по ступеням дымной тучи, к закату, к проруби золотистого неба, где смешались и лунный и солнечный свет. Тащил, потому что глаза (чьи?) были совершенно чисты, как две капли из родника, чисты от страдания, медленно незаметно переходящего в счастье. Еще шаг, еще — и они выйдут

на край золотистой проруби и освободятся от гнета, от всего... От чего? В открытое окно были слышны сдвоенные шаги, стон, еще стон.

Муха с подоконника перелетела на стол, поползла по клеенке, остановилась перед фотографией. Фронтовое фото — 9 на 12 — боец, пехотинец, прямой серьезный парнишка в огромных кирзовых сапогах. Пряжка начищена кирпичом, пилотка немного набок на стриженой голове, торчащие уши, курносый нос, прыщик над верхней губой. Видно, что ни разу еще не брился. А глаза — выпуклые старательно неподвижные и молочно-гладкий глупый еще лоб.

— Ахтунг! — крикнул фотограф. Парень расслабил шею, скупо улыбнулся: когда щелкнул затвор, на одну секундочку почудилось, что это — пуля, и он ощутил невесомость мертвого, но еще стоящего тела и птицу, рванувшуюся через глаза в пустоту. И — очнулся. Он увидел — четко и в красках — бордовое стеганое одеяло, деревянный стол, бронзовую жирную муху на вытертой клеенке стола. Он скинул ноги с кровати, сел. Муха перелетела на обои. Вечернее солнце дробило по обоям оранжевые квадратики. И по столу тоже. На столе стоял красный фарфоровый чайник с отбитым носиком. А за столом сидел пацан в застиранной сатиновой рубашке, скуластый, пучеглазый, и тянул с блюдечка жидкий чай. У него торчали уши, зрачки обшаривали стол — нет ли еще хлебца? «На полке возьми!» — хотел сказать Ваня и испугался: это был совсем не сон. Это был он сам.

* * *

— Я не могу больше с ним, сколько же лет терпеть можно? — сдержанно-безучастно сказала сестра. — Совсем замолчал, кого-то в комнате видит, боится...

Старый психиатр терпеливо слушал, потирал подбородок длинным пальцем.

— Аврам Герасимович! — Голос ее сорвался, она вскинула глаза. — Ведь он как без вести пропавший, ни фамилии, ничего... И я с ним уже... Помогите! Мария Васильевна говорила, приехал хирург, трепанации делает, профессор... Поговорите с ним! Уж лучше б я... не...

— Куманин здесь проездом, — сказал психиатр. — Правда, он заинтересовался этим случаем, он полагает, что здесь пролом, гематома, давление... Хм! Не знаю, не знаю... Ведь это очень рискованно, Люда. Нет, я — против. Не советую.

— Аврам Герасимович! — сестра говорила все тише и напряженней, щеки пошли пятнами. — Прошу вас! Ведь вся жизнь... Моя. И его тоже... — сказала она с хриплой прямотой отчаяния, и он понял.

— Хорошо. — Он опустил веки. — Я спрошу. Но вы понимаете, что может стать хуже? — Карие глаза смотрели грустно, серьезно. — Совсем хуже. Понимаете?

— Куда уж хуже-то?! — сказала она, торопясь отстоять свое. Базилевич встал и, повернувшись к окну, стал развязывать тесемку на рукаве халата. Серый блик передвигался по желтой лысине.

— Хорошо, — сказал он устало. — Делайте пока анализы. Клинический крови. Рентген. Я напишу направление. Я поговорю с Ираклием Федоровичем.

Она стояла и смотрела в затылок врача такими напряженными, лихорадочными глазами, которых никто никогда не видел на ее профессионально бесстрастном лице.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«Снимите каску!»

Язык мешал во рту; в пожухлой траве расползалась вонь тола; длинная борозда пропорола землю совсем рядом.

Слева стукнула противотанковая пушка, другая; в осеннем тумане лопались глухие пузыри взрывов.

«Не вижу — снимите!» — повторил он. Изморозь на осоке перед самыми глазами остекленела изнутри, и вся кочка, как под линзой, вспыхнула, и зрачки опалило ледяным огнем, а потом накрыло, точно шапкой.

«Накрыло!» — крикнул он с бессильной ненавистью. — «Завалило, засыпало!» — с тоской повторял он, стараясь оттолкнуть руками земляную тяжесть, и открыл глаза. Перед глазами стояла марлевая пелена, за пеленой шептались, позвякивали, ходили. Потом по-человечески закашлялся кто-то и сухо сказал: «Снимите повязку».

С белого потолка матово светились плафоны, вокруг стояли врачи, под белыми шапочками одинаково выжидающе острели глаза. «Госпиталь, — понял он. — Ранен я».

— Вы меня видите? — спросил, нагибаясь, врач с длинным морщинистым лицом.

— Да...

— Узнаете меня?

— Не...

— Я — Аврам Герасимович. Вы меня знаете.

Больной напрягся, моргнул:

— Не...

— А это кто? — Врач показал на полную пожилую женщину в белой косынке. Маленькие желтоватые глаза женщины стали испуганны, на мятых щеках проступили розовые пятна.

— Не знаю, — сказал больной равнодушно, зрачки его побежали мимо по лицам, по стенам, по потолку. — Это где я? В госпитале я? Ранило меня? Да? Куда ранило-то? — спрашивал он, запинаясь.

— Да, да — госпиталь. Вернее — больница. Ну вы сейчас поспите, а мы пойдем. Вам много говорить вредно. И садиться, вставать тоже нельзя. Люда, дайте ему снотворного. Пойдемте, товарищи. Ираклий Федорович,

это — блестяще, я серьезно, не льщу вам, но вы на практике доказали, что... — говорил голос врача уже в коридоре.

* * *

Маленькая палата иа две койки. Вторая — пуста, застелена белым покрывалом. И все белое: стеиы, дверь, потолок, окоииые рамы. За высоким окиом — иебо, летние вечериие облачка — и тишииа. Там иебесиая тишииа, а здесь — больничиая, стерильиая, но тоже глубокая. Только дыхание шелестит, «дышу, цел, жив!» — и затопляет радостиым теплом до самых иогтей — «жив, живой, выжил!» Моргая, улыбаясь, он долго без мыслей смотрел на облачка за окиом, потом пошевелил ладоиями, ощупал под собой простыию, матрас. Сверху тоже простыия, чистая, прохладиая. Мягко. Тепло. Тихо. Никогда в жизии ои в такой чистоте ие лежал. «Как барии!» Он выпростал руку, потрогал голову — бииты, шлем из бинтов. «В голову, зиачит...» Давило изиутри иа глаза, на надбровья, не сильно, но когда пошевелился, в затылке словио перелилась ртуть, как вода иа дие лодки, отдалось, тюкнуло в темя. «И не сядешь сам... Тяжелое, зиачит...» В голове — как с похмелья — мутио, тяжко, во рту — гадко, язык, гортаиь, губы словио отекли. «Попить бы...» Но просить было иекого. «Чего это я одии тут...?»

Ои сглотнул лекарствеиную горечь, покорился, зрачки повериулись к окну, соиио расслабились.

Край облачка иаливался прозрачио, золотисто, квадрат окиа перечеркнули стрижи, и больиой благодарно вздохнул. Медлеииый теплый покой входил в голову, в ослабшее тело, меркиул свет за влажной пленкой, капля сползла, задержалась в углу рта, и ои слизнул солеиоватую влагу, сожмурился. «Жив!» Ничего ие иадо было больше — ни думать, ии делать. Когда иеслышно вошла пожилая сестра (та, про которую врач спро-

сил: «А это кто?»), он открыл глаза, но улыбка осталась.

— Вот таблетка. На, запей...

Он послушно проглотил, попросил:

— Еще... Испить...

Он слушал, как булькает в стакан вода, как звякнуло стекло, а потом пил большими глотками с наслаждением, долго и смотрел в усталое напряженное лицо сестры. Она отвела глаза.

— Спи... — сказала, облизала бесцветные губы, — спите теперь. Не надо ли чего?

— Не...

— Если что надо — вот звонок, вот кнопочка эта, нажми... нажмите — дежурная подойдет. Лежите тихо, подыматься нельзя, ничего нельзя пока.

— А мне и не надо ничего, — сказал он, — лежать-то тепло, чего не лежать, раз раненый. Где это я лежу-то?

Она все смотрела странно, скорбно как-то вроде, не разберешь, да и ни к чему. — Медсанбат-то где ваш? В городе?

— Спите. Говорить не надо много. — Она все не уходила, вскинула брови, нагнулась. — Голова-то болит?

— Не... Когда ворохаюсь — словно вода в черепушке, а так — ничего, ладно... Далеко передовая-то?

Она покачала головой, прикрыла рот ладонью, словно ей не велели отвечать на это, ему показалось, что в ее желтоватом лице дернулась какая-то жилочка. Сестра повернулась, вышла.

Стало опять очень тихо, покойно, сонно. Ни звука не доходило ни с неба, ни с земли, не было отдаленного ворчанья передовой, которое слышно было почти всегда, даже, когда отводили на переформировку. Розовато светился квадрат окна, грузное тело опускалось в тепло безопасности, мерное дыхание уводило в сон, как ребен-

ка за руку, и он доверчиво уходил, погружался. Впервые с того дня, как началась война.

В ординаторской хирургического отделения, в новом пятиэтажном корпусе, освещенном люминесцентными светильниками, сидели психиатр Аврам Герасимович и ленинградский профессор нейрохирург Ираклий Федорович Куманин, который час назад сделал искуснейшую трепанацию черепа безымянному больному «Ваня». Операцию эту профессор сделал главным образом из академического интереса, а отчасти и потому, что у него был давний моральный долг перед Аврамом Герасимовичем. Он сидел и вполуха слушал старого психиатра, отдаваясь расслабляющей теплоте удовлетворенного таланта: больной вернулся к дотравматической памяти. Профессор смотрел на свои чисто отмытые руки, которые удобно лежали на подлокотниках кресла, и облегченно думал об одном моменте операции, когда ошибка на десятую миллиметра могла отнять у больного зрение. Аврам Герасимович, посматривая на дверь, говорил:

— Ее огорчает равнодушие, я толковал ей о антиретроградной амнезии и прочем, но она...

Он осекся, потому что в ординаторскую молча вошла старшая сестра Козлова Людмила Дмитриевна, у которой жил до этой операции больной «Ваня» в качестве приживальщика или сожителя — не разберешь. Сестра подошла к психиатру и остановилась перед ним, и тогда он разглядел, что бесцветные губы ее плотно сжаты, а из глаз сочатся мелкие скупые слезинки. Он очень удивился и подумал, что глаза ее будто остаются сухими, хотя она плачет.

— Ну, ну, — сказал он, привычно успокоительно меняя голос и похлопывая рукой по столу. — Не надо, Люда, не надо — для него это нормальная реакция, это наилучший вариант такая реакция, подождем, возможно, вернется память и травматического периода, хотя это и нежелательно, да, да, нежелательно. Ну, ну, держите себя в руках, Люда, это на вас не похоже, Люда!

— Хоть бы как... — хрипло сказала сестра, не смахивая слезинок, — точно в стенку смотрит, в упор не узнает. Сколечко лет я за ним ходила!

От волнения резче зазвучал ее простонародный говор. Психиатр неодобрительно покачал головой. Профессор Куманин оторвался от созерцания своих ногтей и поморщился.

— Вы, — заговорил он картавым вежливым баритоном, чуть повернувшись к сестре, — вы, как специалист, должны понимать, что такие случаи возвращения нормальной памяти бывают чрезвычайно редко. И надо сохранить это, надо создать ему условия, лечить. У него сейчас новый комплекс, вернее старый — комплекс его военного прошлого. И все. Надо осторожно вводить его в, так сказать, новый мир, в том числе в историю его болезни. Надо ждать заращения тканей, восстановления нормальной функции клеток и не волновать его, — говорил хирург, слегка массируя свои большие чистые пальцы. — У него была конфабуляция? — спросил он у старого психиатра.

— Изредка, кажется... Вот Люда мне рассказывала, что он какого-то мальчика видел в комнате. Как это было, Люда?

Но она не слышала его — она во что-то упиралась маленькими высохшими глазами. Ее щеки опали, потускнели.

— Не тревожьте его, — строго-вежливо говорил ей профессор, — наблюдайте, я буду писать: интересный случай, отмечайте все мелочи...

Аврам Герасимович укоризненно взглянул:

— Благодарите Ираклия Федоровича, Люда: он вернул Ваню к жизни. У него теперь реакция нормального человека, а вы — плачете. Неужели не понимаете?

— Да, — сказала она и откашлялась. — Да. Спасибо. Понимаю.

Она вышла из сверкающей ординаторской, скрывая

ожесточение в своем внезапно постаревшем лнце: она ненавидела нх всех — онн убнлн ее Ваню.

* * *

Сквозь веки — розовое тепло, и яркий щебет птнчий, н лиственный сквознячок. Он не сразу вспомнил, где он, моргал на золотистые квадраты, бегущне по белому потолку, прислушивался, возвращался: госпиталь, безопасность, отдых. Он улыбнулся. Курить хотелось, н есть, и еще чего-то, но все это ерунда — он жив, и все тут. Он закрыл глаза н вытянулся леннво, мыслей никакнх не было, утро разгоралось за окном, третье утро, третий день жизни. Он лежал и терпеливо ждал, когда в семь начнут разносить градусники, лекарства, а в восемь прикатят столик на резиновых колесиках с завтраком: картошка мятая с подливой, яичница («омлет» называется), чай с сахаром, хлеб белый... «Как барину!» Он уже знал, что лежит на четвертом этаже, и что под окном — сад, что сестры меняются и есть молоденькие, что скоро ему садиться разрешат, а там и до окна можно добраться, поглядеть на сад, на жизнь...

Вчера еще будто спал на гнилой соломе в траншее, из которой фрицев выбили позавчера, спал — не спал — маялся от озноба земляного, от прелого белья, мокрых ног, а главное, от привычно тосклнвого: пойдет немец ночью или нет? илн артналет? или что? нли дадут до света покемарить... Как в бреду, как не на нашем свете, как всегда четвертый — нет сто четвертый — год... Не шевелись — тепло уйдет, или сесть, покурить? Фосфорный свет, мертвый свет, опять он осветительные кидает, свет и сквозь веки достает, обнажает, стережет, и где-то далеко на правом фланге истерично зататахтал пулемет — раз очередь, два, три — н смолк, одумался — никто не ползет сюда... «Петь! Покуримо, што ль? Спишь?»

Третью ночь он спал спокойно — ни одного гула, ни самолетов, ни затемнения — штор на окне, — ничего.

тыл. Это он точно понял. Глубокий тыл. «Как же теперь роту догонять?»

Тело вспомнило жесткую землю траншеи, надвигающийся гул с северо-запада, волна за волной, высоко, упорно — это шли каждую ночь в одночасье ночные бомбовозы и спустя какое-то время где-то далеко вздрагивала, отдавалась утробно поколебленная земля. Тело просыпалось на миг и тут же опять проваливалось в оцепенение: оно знало, что это далеко. Пока далеко. Глинистой сыростью тянуло в ноздри, мокрым сукном, стылой гарью. «Спим, Петька, покуда спим...»

Он поскорей открыл глаза в солнечное небо за окном. Все небо уже золотилось ранним светом, ни облачка, а впереди — день жизни. Обязательно целый день, без обману! Сквозь птичий щебет пробивались голоса, шаги: больница просыпалась. Под самой дверью спросили: «Он что — здесь лежит?» — таким молодым голосом, что у него пропало дыхание: вот дверь откроется, и войдет Анка.

Дверь открылась, и вошла молодая сестра, заспанная, намазанная кремом, сунула градусник под мышку, ноготки укололи кожу. Красные лакированные ноготки, он таких не видал, а волосы ее задели щеку, опахнуло запахом жасмина, пудры. Он этого не хотел, но когда сестра ушла, стал шептать: «Анка, Анка!», как бывало ночью после гулянки, когда встанет на кадушку, дотянется по срубу и зовет под дранку в щель на повети, на сеновал, где она спала с младшей сестренкой: «Ань! Анка! Выдь на час. Ань! Анка!»

Так и сейчас позвал — разрешил себе, расслабился, а раньше не смел, гнал, запечатывал, чтоб не травила жалость, от которой у солдата ноги отнимаются. Нельзя этого никак — одубело, и ладно, живи одубелый, воюй, солдат. Так говаривал старик Головин, дядя Степа — правильный мужик, свой, деревенский, который вторую войну шагал. «Здесь можно?» — спросил он его, и старик кивнул, пыхнул закруткой, прищурился насмешли-

во. Добрый был старик, всегда махрой делился, никогда не суетился, не боялся, не спешил, все во всем понимал, как надо. Вот и сейчас — кивает: на отдыхе можно.

Он глубоко вдохнул, зажмурился, расслабил все тело. И она пришла, вытянулась на спине рядышком, привалилась теплым бедром. Руки закинуты за голову, во рту травину перекусывает, а глазища серо-хрустальные мечтают, уходят ввысь, в щель под застрехой, где в солнечном столбе лепится ласточкино гнездо. Ласточки — он и она — то и дело из гнезда в щель, в небо и обратно, и тогда из гнезда навстречу — разноголосый писк. «Ань! Что я тебе скажу!» — шепчет он в нежное ухо под спутанные волосы, но она будто не слышит, хотя глаза распахнуты и еле заметно подымаются, опадают маленькие груди. Они лежат на сеновале на ватном одеяле, муж и жена, а через неделю — повестка. «Ань, Ань! — шепчет он, вдыхая дух цветочного сена, ее волос, молочной кожи, ее высокой шеи, — Ань, Анечка...» Так только раз он ее позвал, когда она уснула. Во сне она стала незнакомой — по-детски беспомощной, с полуоткрытым ртом, синевой под глазами. Какая-то еле заметная жалкая складочка появилась в уголке рта. Он смотрел, не шевелясь, боялся ее разбудить, так долго, что незаметно и сам заснул, но и во сне он смотрел на ее лицо, которое медленно отступало, опускалось на золотистое дно, в полусумрак. Он попытался и там его удержать, но не смог: кто-то толкнул, и все рухнуло, как в колодец: привезли завтрак на колесиках.

* * *

— Почему меня все в постели держат? — спросил недовольно больной новую молоденькую сестру, которая принесла ему микстуру. Стаканчик с микстурой стоял на оранжевом пластмассовом подносике. И подносик этот, и низкий стул на дюралевых лапках, и сама сест-

ра с малиновыми ноготками — все было незнакомым, не русским. «Немецкое, трофейное, что ли?»

— Скоро разрешат, — притворно-весело сказала сестра. — Нате выпейте, не капризничайте. («Что за слово такое?») — Как вас зовут?

— Федькой, Федором.

— Ну, мне Федей неудобно вас называть. А отчество как?

— Чего ж неудобно? — Он усмехнулся, вспомнив одну поговорку. — Мы ж одногодки вроде?

Сестра прыснула.

— Нет, правда — как?

— Федька, Федор, — недовольно повторил он. — А тебя... вас?

— Меня — Маруся.

Она вышла, улыбаясь, двигая худыми локотками. («Точно в кино...») Он прикрыл глаза локтем, стал вспоминать: «...Двадцать шестого взяли деревню эту... Пясты кажись. Двадцать шестого. Ноября. Двадцать седьмого он нас выбил... Тогда и взводного убило... Опушка эта... Закрепились на опушке... Березняки... Земля промерзла, копали, копали... А в болоте — нет — вода мякоть держала... Да в болоте не окопаешься... Двадцать восьмого рано он пошел опять...»

Низкий диск солнца, малиново-молочный, испарения в лощине, танковые рубцы на одичавшей пашне. Справа в наскоро отрытой ячейке боевого охранения спали у пулемета Петька Сигов и два бойца из пополнения. После первого разрыва серая ушанка Петьки вынырнула над отваленной глиной, закрутилась спросонья. Розовое белобровое лицо Петьки поглупело от испуганной улыбки, под вздернутой губой забелели влажные клычки. Ударило, хлестнуло железом совсем низко над бурой травой, Петька мотнул шапкой, крикнул нахально: «Мины кидает!», скрылся под землю. Или это не он крикнул?

Снаряды сверлили рассвет, догоняя друг друга. Блес-

иула тускло ледышка в палых листьях, сырая гниль холодила подбритый затылок.

«Вот и все. Больше не помию. Зиачит, меия тогда, двадцать восьмого и вдарило, сразу после этого. А потом — сюда попал. Куда — сюда? Когда? Счас лето, а вдарило в иоябре... Мать честиая! Чей это госпиталь такой? Трофейиый? Не наш? Польский? Или... иемецкий?.. Может, я... ие у иаших?!»

Дериуло в иутре, как за жилочку, вспотел лоб, он отлепился от подушки, иахмурясь, проверял зрачками каждую мелочь в палате: все оставалось иезиакомым, иикелироваииым, иноземиым.

«Сколь же я здесь валяюсь? С месяц, иет — с полгода как окочурился? И дома не зиают и ребята не зиают, ушли вперед ие догоиишь: в окио даже иочью фроита ие слыхать. А может, ие вперед, а... иазад? Где ж теперь фроит? Где ж я теперь?»

* * *

— Как вас зовут? — спросил врач. Из его длиииого морщиииcтого лица смотрели ие мигая кофейиые глаза.

— Федором, — сказал больиой.

— Фамилия?

— Семенов.

Врач ие записывал, только еще раз гляиул, точно в щелку двери: — Вы помиите, где родились?

— Коиечно.

— И адрес свой помиите?

— У меия память не отбило, — угрюмо сказал больиой. — Давио меия здесь держите? Меия под Пястами раиило. — Ои смотрел, ие отрываясь, в глаза, подозрительио, хмуро.

— Вас раиило 28-го иоября 1944 года, — медлеиио сказал врач. — В Польше. Ну, а где вы все-таки жили до призыва?

— Село Устье Калининской Озерецкого района, — ответил больной. — Бумаги дайте. И карандаш — мне домой отписать надо. Почему не дают? — Он помолчал, откашлялся. — Давно я у вас тут?

— Давно. Завтра я вам расскажу. Бумагу, карандаш пришлю с сестрой. С Людмилой Дмитриевной. Вы ее видеть хотите?

— Кто это?.. Нет. Это старшая сестра? А зачем мне...

Врач медленно поднялся, карие глазки раздумчиво бродили по лицу, по бинтам, он отодвинул стул.

— Вы пока лежите смирно, пишите письма, отдыхайте.

— А число сёдни какое? — что-то быстро соображая, спросил больной. Врач не ответил, вышел.

Упала больничная пустота, стены стояли, как меловые карьеры, подсасывало неведение, одиночество. А потом медленно стал вползать, обессиливать животный страх.

— Евреи проклятые! — громко сказал больной, кулаком вмял подушку.

* * *

— Вот письмо, бросьте в ящик, — попросил он молоденькую сестру. — Обратный адрес ваш какой?

— Давайте я сама напишу, — скороговоркой ответила сестра, сунула конверт в кармашек, хотела уйти.

— Постой-ка, Маруся. Скажи, где я лежу? По-честному. В Польше, что ли?

— В Польше, в Польше! — смеясь, сказала сестра. — Лежите, врач придет — все скажет.

— Нет, постой, погоди: число-то сёдни какое?

— Число? Седьмое сентября.

— А год?

— Шестьдесят первый пошел.

— Какой?!

Она покраснела, махнула рукавом, выскочила в коридор.

«Тысяча девятьсот шестьдесят. Отнять тысяча девятьсот сорок четыре. Шестнадцать. Шестнадцать годов!»

Он со страхом ощупал забинтованный лоб, лицо — пальцы накололись на толстую щетину, отдернулись, замерли, потом опять поползли по щеке. Лицо было незнакомо — щетина вместо шелковистого пушка над губой, огрубевшие складки от ноздрей вниз. Чужое лицо, не мое...

«Ранен я... Почудилось: сорок четвертый, а не шестидесятый. Почудилось дураку... Или они нарочно путают? Нет, показалось — бинтом уши затянули, не разобрал... Шестнадцать годов. Или я не в уме?..»

Он лежал на спине совершенно неподвижно. Лицо онемело, глаза воткнулись в меловой потолок. Он видел базар в Сандомире, немецкие буквы на вывесках, толпу, сквозь которую плыла черная монахиня в белоснежном чепце-парусе. Она неслышно пересекала грязный булыжник площади, и толпа расступалась тоже неслышно. Он стоял перед холстиной с замком и озером, смотрел поверх макушки бродячего фотографа, под шинелью было жарко, а во рту клейкий вкус слив. В пыли валялись мокрые сливовые косточки. Шинель он надел, несмотря на жару, потому что гимнастерка вся была засалена, мята. «Ахтунг!» — крикнул, кривляясь, безногий фотограф. Карточка получилась хорошо. Ему нравилось, как блестит бляха на ремне и сердитые брови нравились. Только вот сапоги были великоваты да ухо торчало. Ему как раз исполнился двадцать один. Они тогда стояли во втором эшелоне в городе Сандомире на реке Сан, кажется. После Вислы. Было жарко, но спокойно, хотя часто бомбили переправу.

Пожилая нянечка зашла в палату, кряхтя, подтерла около кровати, шумно передвинула судно.

— Какое сёдни число, мамаша? — тихо спросил он.

— Седьмое... — пробурчала она. — Налили опять, только и подтирай.

— А год какой нынче? Забыл я.

Она распрямилась, ухмыльнулась.

— Год? Шестидесятый год. Забыл? А ужинать не забыл?

Он не ответил, смотрел в потолок, не моргая.

— Зеркальца бы мне — глаз запорошило.

— Лежи — и так красивый! — Она зашаркала из палаты, но минут через пять воротилась, сунула в руки зеркальце без оправы. Он посмотрел на себя.

Вместо молочно-гладкого лба под пилоткой, вместо розовой губы с прыщиком, вместо Федьки из стекла смотрело чужое старое лицо с мутными глазами. В небритой щетине на подбородке пробивалась седина. Глаза еще обежали круг, ожесточились, потухли.

— На. Спасибо.

Нянечка взяла зеркало, недоуменно покачала головой. Он не шевелился, он не вспоминал и не размышлял: он лежал, как бы придавленный обвалом земляным, и терпеливо ждал врача, чтобы все до точки разузнать о себе самом.

* * *

Аврам Герасимович подумал, серьезно ответил:

— Да. Шестнадцать лет.

Лоб у Федора порозовел, он откинул голову, уперся в потолок больными глазами.

— А где ж я лежу? — спросил наконец злым осевшим голосом.

— В райбольнице. В Орехове-Зуеве.

— Где это?

— Под Москвой. Полтора часа езды.

— И это с тех пор? Всегда здесь лежал?

— Нет. После контузии год лечились. В сорок четвертом. Тогда здесь был госпиталь. Потом жили здесь

же, при больнице, работали истопником. Не помните? Во флигеле жили, в старом здании.

— Нет, ни порошинки...

— У сестры. У Людмилы Дмитриевны. Вы ее еще Ледой звали. Вспоминаете? А вас звала она Ваней. Помните?

— Нет. Что ж... она и кормила меня?

— И кормила и одевала. Глаз не спускала, — с ударением сказал врач.

— А... родные мои? Знают?

— Нет. На вас не нашли документов, красноармейской книжки. Вы свою фамилию только вчера мне сказали.

— А я им писал...

— Кому?

— Матери. В Устье.

— Когда?

— Вчера.

— Я советую много пока не думать, не напрягать голову.

— У меня и жена там... — запинаясь, сказал больной.

— Не думайте об этом. О другом думайте — о приятном.

— Нет! Брехня это! — грубо крикнул больной и сел. — Брешете! Вы, фрицы, сговорились здесь меня терзать! В плен взяли! Да я вашу мать!..

Весь красный, мелко трясясь, он стал спускать босые ноги на пол, руки шарили по одеялу.

— Лягте! — властно сказал старый психиатр. — Шов разойдется, и вам не встать. Никогда. Лягте! Ну?!

Больной лег, зрачки метались, блуждали, пальцы теребили край простыни.

— В плен! — повторил врач. — Кому вы нужны там? Стали бы немцы с вами так возиться? Война кончилась. Вот, выпейте лучше. В сорок пятом капитулировали. Пейте, пейте! В Берлине.

Больной смотрел мутными жалкими глазами, губы его прыгали.

— Кон-кончилась? — спросил он, не веря.

— Кончилась. Очень давно. Совсем. Хотите еще пить?

Больной махнул рукой на стакан с питьем, отвернулся к окну. Больше в этот день он ни с кем не разговаривал и на вопросы не отвечал.

* * *

«Кончилась, кончилась...» — повторял он бессмысленно. Это было невероятно, этого он не мог вместить. «Успокаиваете? — спросил он с угрозой. — Я те пошучу, я те... Этим шутковать?! За это я те!..» Но ответа не было, тишина звенела в ушах, ночь стояла за высоким окном, осенняя, беспросветная. Он лежал пластом, зрачки сквозь потолок уходили в пасмурное небо, дышала, подымаясь и опадая, огромная плоть земли, а его тело, прильнувшее ко дну траншеи, каждой порой ощущало эту раненую дышащую земляную плоть, надеясь и не надеясь, покоряясь судьбе, потому что ничего не значит мое маленькое «я», если вся Земля людская, молча, один на один с пасмурным небом, перебарывает свою великую муку. День за днем, год за годом, и все становились равны — городские и деревенские, ученые и неученые, солдаты и офицеры, и бабы, и старики, и Анка, и мать, и брат — все дышали одной застарелой болью, не говоря про это, не зная, когда она кончится. Но ждали. Не могло это великое страдание-ожидание вот так кончиться: заснул, проснулся — и все. Земля дышала, больная Земля, кружило в черепе, давило на глаза, учащалось дыхание, а с ним — дыхание пола, стен, дома, поля, неба.

Он рванул рубашку, отлетели завязки, нашарил кнопку звонка и давил, давил, пока не зачастили по коридору шаги, распахнулась дверь и дежурная —

Людмила Дмитриевна — не встала испуганно на пороге.

— Зачем сел, нельзя, ложись! — Она надавила на плечи, и он лег. — Что ты, а? Помстилось что? Сейчас лекарства дам, лежи, лежи... Врача вызову сейчас, чего ты, а?

От ее страха он застыдился своего страха, вмял затылок в подушку, подтянул простыню. Вещи, знакомые, понятные, вставали на место.

— Я — ничего... — Она ждала, всматривалась напряженно. — Не надо врача... — Она ждала. — Вы скажите... — он впился умоляющими зрачками в ее маленькие ожившие глаза, — правду только скажите, ради Христа, — правду мне... Война КОНЧИЛАСЬ?

Сестра шевельнулась, словно что-то, чего ждала, подошло, но прошло мимо.

— Кончилась, — тихо, странно сожалеюще ответила. — Спите... Вам же врач все объяснил...

— Правда КОНЧИЛАСЬ? — спросил он опять, борясь с дрожью из живота в горло, в губы.

— Правда. Спите, вот лекарство примите... Правда.

Она отвернулась накапать микстуры, а когда повернулась, увидела, что больной лежит, крепко зажмурясь, и лоб его и скулы блестят от пота. Он проглотил лекарство, не открывая глаза. Она еще постояла над ним.

— А вы знали, что я сегодня дежурная? — спросила она. Он не ответил — он не слышал ее. Она вышла, тихо и плотно притворила за собой дверь.

* * *

Когда она сказала: «Правда, кончилась», то грудь, комната, дом, земля, небо — все начало вбирать бесконечный вдох, и вбирало, вбирало до предела, а потом рухнуло выдохом огромного облегчения. Точно вся земля осела освобожденно, и корка-окалина на всем лопнула, как закаменевшая грязь, и он, Федька, стал

беспомощным и бездумным, как дитя. Сбылось невероятное, он поверил и стал погружаться радостно в нечто теплое, влажное, свободное, потому что и мать и Анка вздрогнули, когда треснула скорлупа-окалина, и повернули головы к порогу. Они стояли у стола в кухне, а сзади них розовел уголь в черном устье печи. Мать мяла картоху в чугуне, а Анка просто так стояла, а обернулись они от стука двери и сперва не могли разобрать, кто это. А это он стоял на пороге в старой шинельке прожженной, с тощим «сидором» на плече, демобилизованный, из госпиталя. ВОЙНА КОНЧИЛАСЬ! — сказал он одними губами, и они услышали, узнали, и в тот же миг их лица — Анкино осунувшееся, тоскливое, а материно — морщинистое, замкнутое, — озарились изнутри, и от этого в темной избе стало прозрачно — дымчато-стеклянно, как на заре в березовой роще. Еще миг он видел их глаза, а потом все зыбко поплыло, и он только слышал стук своего сердца под бязевой сорочкой.

Он лежал в пустой немой палате, но пустоты больше не было: он вернулся совсем. «Все, все вернулись!» — шептал он себе, улыбаясь, ни о чем не думая. О чем еще можно было думать теперь? Два дня после этой ночи он был тих, покоен, всем процедурам терпеливо покорялся. Мысли теперь текли не назад, а вперед, даже не мысли, а ожидание встречи в родной избе, в которой ничего не менялось.

С вечера на третью ночь затянуло с запада, и к ночи зашумели под окном деревья, отдувало, опускало край белой занавески, хотелось спать, но не спалось, потому что где-то взошла луна, и тени неслись по лунному диску, и он видел это, когда закрывал глаза.

* * *

За слепым окном, где-то за больничным садом гудели моторы тяжелых машин. Гул засыпал, но оставал-

ся, поднимался к луне. В белесом лунном круге шли ночные бомбовозы, все ближе к нам, к нашей землянке. Надо спать, но гул стоит сквозь щели наката, давит прелая духота портянок и сырых ватников, кто-то храпит под ухом безобразно.

Лампочку-плафон теперь не тушили в палате всю ночь, и он лежал и смотрел в желтый известковый круг вокруг короткого электрошнура, измазанного побелкой. Белесый лунный круг...

Кто-то в духоте черной зашуршал газеткой, взорвался огонек, сладко потянуло самосадом.

«Закурить бы!» — вспомнил Федор, проглотил жидкую слюну. Но в палате не курят...

— Федь! Завтра пойдем, так ты смотри — обещал! — шептал Петька у изголовья. — Не бросай, земляк, вместе служили!..

— Спи, што ль! — с досадой ответил Федор. Ему было совестно за Петьку, который не скрывал страху. А ведь ребята не спят, услышат, высмеют.

— Какой уж сон... Летят — слышишь?

— Слышу. Оставь «сорок»...

— Загасла...

Опять вспыхнула спичка. Петькино лицо, розовое спросонья, с жалкой нахальной улыбочкой, с шрамиком под губой — упал в детстве на косилку. Петькины поглупевшие глаза: вой нарастал безжалостно, все сжалось в ожидании обвала («скорее уж, что ль!») — дверь распахнулась, как от взрывной волны, затылок оторвался-дернулся от подушки, он не сразу узнал белую палату.

— Не спится? — Маруся деловито простучала каблучками, поправила столик, одернула простыню. Личико ее было усталым, не накрашенным. Он закрыл глаза, чтобы не видеть потрескавшейся помады, ничего не ответил.

...Дождь шел и под утро, когда еще в темноте они вылезли из землянки, по двое, гуськом зачавкали вдоль

канавы. С запада нависали, копошились глухие мокрые тучи, на востоке на прозелени зачернели горелые макушки двух сосен.

Стрельба вспыхнула навстречу с окраины безымянного села; точно пучки огненной соломы, брызгали очереди; он лежал, подстелив полу, на губчатом дерне, ковырял ногтем глину на минометной плите. Глиной забило все пазы, на металле стыли мелкие капли, стекались в прозрачную лужицу.

А потом слева, в дожде, что-то непоправимо сдвинулось: побежали, прыгая через канаву, солдаты, взводный — лейтенант Кадочников — стоял в рост без шапки, вертел льняной головой из стороны в сторону, кричал, точно плакал, яростным тонким голосом. Упал он, как от оплеухи, нелепо вскинулась, подломилась нога в хромовом сапожке. Тогда и рядом кто-то вскочил, побежал, а потом другой, третий, и Федор, взвалив минометную плиту, тоже побежал, поскользнулся, подвернул ногу. Все пробегали мимо. Он боялся остаться, боялся бросить плиту, ему стало безнадежно до тошноты, и тогда он, не веря, крикнул: «Петька! Сигов! — и еще раз, надрывно: — Петька!»

Ушанка у Петьки вся была в грязи, на розовом лице — грязь, из грязи белели дикие глаза.

— Давай! — крикнул он. — Брось ее!

Федор бросил плиту и заковылял, кривясь, всхлипывая носом.

— Ранило?

— Подвихнулся я... Не уходи!

Петька дотащил плиту до кладбища, где среди низеньких могил окопались сорокапятки. Тонкие стволы пушек выплевывали раскаленные прутья, откатывались, как поршни. Тут были и ефрейтор Валька, и Блин — заряжающий, толстый, веселый с Полтавщины, и другие. Тут все лежали тесно, все живые, горячие, а дождик барабанил по шинельной спине, Петька копошился, вытя-

гивал кисет, во рту белел клычок, глаза опять стали нахальными. Федору хотелось обнять Петьку за шею или стукнуть по спине и засмеяться. Петька глянул, понял, подмигнул смущенно.

— Расчет! Расчет! — орал Валька и скалился весело. — Семенов, Федька! Второй номер! Тащи сюда плиту, вон — в овражек, вдарим оттедова! Разлеглись, кашееды!

Федору хотелось и ему, и Блину, и Петьке — всем что-нибудь хорошее сделать, но он не знал — что.

Впереди и правее в серой мороси осветило взрывом далекий кирпичный домик без стекол. Еще раз полыхнуло желтым, еще. Видно было, как там по улице села, по задам разбегаются скрюченные куклы-фрицы; дождик почти перестал, скрипели лопаты, летели комья глины, низкий свет с востока заиграл на мокрой стали, на соломенной скирде, на каплях, застрявших в волосках шинели, и стало совсем не страшно...

Федор опять увидел круг матовый на потолке, серые складки занавески. На оранжевом подносе стояли пузырьки с нерусскими буквами на наклейках. И запах был неживой — эфирный, с холодочком. Тишина, как на дне колодца. А за ночным окном по лунной автостраде, неведомо где, все гудел-лязгал танковый полк, не наш, не немецкий, а вечный: где-то через призрачные поля все шли и шли люди-тени к безымянной войне. Лица их были ему незнакомы.

«Где ж это я шестнадцать годов пребывал?» — спросил он их с надеждой. Но они тоже ничего не знали.

* * *

Дождь барабанил по плащ-палатке, по ногам, Петькина спина дышала ровно, глубоко, и он прижимался к ней, но снизу от стылой глины знобило до самого нутра,

и дрожь все не унималась. В отбитой немецкой траншее и трупы все не убрали, а повалились кто где, канули в глухое забытье.

«...Третьи сутки без сна, а уснуть не могу... Петьке-то хоть где, лишь бы спать! Надо бы хоть портянки выжать, да ладно — все одно доспать не дадут...» Где-то недалеко, с полкилометра, рвало глухо ночную мглу, земля сыпалась со ската на плащ-палатку, гнилая солома под боком прогревалась, если не шевелиться, а лучше бы хвоя еловая, в лесу: она всегда теплая, мягкая, и дух там смолистый, чистый, а здесь — немецкий, точно лекарственный, или это от дохлятины?..

«Я лежу здесь на простынках, а они там... Не догнать теперь роту, не догнать... Как же я теперь — совсем один?»

От этого вопроса он проснулся. Рассветало, по серому стеклу ползли капли, больница еще спала. Непогода... Все траншеи воды полны, не то что лечь, а и сесть негде. Головин дядя Степа, старик, нога у него ныла, да разве он пожалуется... А Петька и на воде спать может — подложил снарядный ящик, головой в стенку уперся. А лицо у него во сне глупое, счастливое... Где они теперь?»

И тогда щелкнуло в черепе, и затикали мысли, как часики. «Шестнадцать годов. Сорок четвертый...— Шестидесятый. Берлин взяли. Кто теперь где? Одни вернулись. А другие? Кто ж нет? Жизнь прошла целая. Нет их никого. И не будет. Кто и жив — под сорок им, — старики. А я?»

Под Ровно догонял он зимой свою часть — из медсанбата смылся, не долечив руку. Где на попутках, где — пехом, в ботиночках по скрипучему морозу. Чей-то полк в колонне по четыре шел через деревню, а он стоял у обочины и всматривался: не наш ли? Серый полк, обношенный, усталый — фронтовой. Безучастно, не в ногу шли немые безликие шеренги на пределе усталости. Несли зачехленные пулеметы, ПТР, а сзади за двуколками

тянулись отставшие, один с палочкой — хромой, старики, какой-то парень с бинтами из-под шапки. К ним Федор и пристроился, шел молча верст десять, боялся спросить, какая часть, боялся отстать. С ними и переночевал в высоком овине, посреди которого развели костер, и даже супа горохового похлебал. Все они были из другой части, но и свои, «славяне», пехота. Наутро он от них ушел — сержанты стали выкликать отставших по фамилиям. А родную роту догнал он под Луцком случайно: узнал ездового и с ним подносчика — Кольку «Суп». Кольку ни с кем не спутать — такой тощий и сопливый. А Супом его прозвали, когда он весь в лапше в траншею скатился. Это еще где-то под Львовом было: полз он с термосом лапши, а фрицы достали очередью, и весь термос пробило. То-то было смеху!

Федор лежал и улыбался. Уже совсем рассвело, но электричество не гасили — на дворе было пасмурно, дождливо.

— Сегодня вам повязку будем снимать, — сказала сестра после завтрака.

* * *

Голова стриженая колола ладонь, а шрам был гладкий и чесался. Бугристый шрам, твердый. «Эк меня скребануло!» — сказал он с обидой.

— Ты-то жив, — сказал дядя Степа с укоризной, затянулся, затрещали искры.

— Ну и что. И жив и не жив. Отстал я, и не с вами, с ними... Ненужный я стал.

— Жив, а ноешь, — сказал старик сердито. — Жив! Понял?

— Да я ничего, понимаю, я так... — сказал Федор смущенно. — Скукота здесь, покурить не дают.

— На — покури!

Кто-то протянул кисет, и он тщательно свернул самокрутку, послюнил, пригладил, прикурил от «катюши».

От первой затяжки закружило в голове, выжало слезы. «Первач!» Он увидел тлеющий костерок под елью, снизу подсвеченные скулы, ноздри, внимательные глаза в глубоких впадинах из-под надбровий следили, как он курит. Здесь были все, даже те, имен которых он уже не помнил, а ближе всех сидел старик Головин, дядя Степа, и молчал, но Федор чувствовал, что старик его понимает, что он все понимает, и ему становилось все спокойнее, яснее, хотя ничего старик и не говорил. Вопросы проклятые провалились, растаяли сами собой, резче, свежее стал запах хвои, дождя, самосада и волглых шинелей...

Они скребли с Петькой кашу из одной манерки, пшенку подгорелую с американской тушенкой, а потом пили чай, горячий, черный, и сахару было вволю. В кружке плавали хвоинки, он сдувал мусор и пил большими глотками, не вытирая испарины, блаженно щурился на угли костра. Это было в Карпатах.

* * *

Это было в Карпатах, это было вчера, а сегодня на обходе опять появился Аврам Герасимович, врач «по психам», и задавал хитрые вопросы, а потом сказал:

— Можете вставать осторожно, ходить по палате. Если голова не кружится.

— Не кружится... А в... оправляться можно ходить? Самому? А то...

— Не торопитесь. Вот в общую переведем, тогда пожалуйста. Затылок не болит?

Затылок не болел, но вот ноги стали как без костей, слабые, и он шел до окна, как по жердочке, рукой придерживался за стену. С высоты четвертого этажа раскрылась даль за больничным садиком, крыши окраины, тучи серо-лиловатые, трубы завода, голубые просветы. Дождь перестал, блестела пестрая листва, багряные подстриженные кусты вдоль песчаной дорожки. По до-

рожке гуляло несколько больных в пальто. Из-под пальто у всех одинаковые синие штаны пижамные. У одного была забинтована голова. Было пасмурно, но лимонные клены светились свежо, четко вырезались их листья на черных лужах. В форточку пахнуло лиственной горечью, мокрой землей, и Федор забыл все. Он стоял долго, раздувая ноздри, вглядываясь в каждую веточку. Деревня, Устье, избы, потемневший стог соломы, щепки на мураве у ворот, сети с прилипшей чешуей, лодка в затончике, зеленом от ряски, Волга, рыжие камыши, ледяной пар над темным заливом и посвист чирковой стайки, от которого дрогнуло в груди, и четкие силуэты уток — мельканье над самой водой, на просвете вечернем, все дальше, дальше с разворотом на плес, и вот уже пропало...

«Домой!» — вскрылось впервые остро, несомненно, «домой!»

* * *

— Вот ваша постель, — сказала новая сестра. — Вещи — в тумбочку.

На него смотрели четыре пары глаз, он плохо соображал.

— Вещи?

— Ну, щетку, пасту, бритву.

— Нету у меня бритвы...

— Как же вы бреетесь?

— Меня брить приходили...

— Как «благородного»! — сказал мальчишеский голос, и кто-то засмеялся. Федор глянул туда: из угловой койки ухмылялся востроносый парнишка, блестели передние два зуба. А нога его — огромная, загипсованная — торчала вверх на растяжках. Федор сел на свою кровать, а больные все его разглядывали. В палате было шесть мест, пять вместе с ним — занято, одно свободно. Стол со склянками под окном, две лампы мато-

вые на потолке, шкафчик стеклянный, журнал на табуретке, халат на вешалке. И четыре пары глаз. Одна пара — у мужика крайнего напротив — закрылась скоро. Крупиый мясистый мужик лежал не шевелясь, только живот опадал под одеялом, глаза его закрытые слушали боль в себе, в животе. Рядом пара глаз хитро-иасмешливых, едких, тоже пожилого мужика, плешатого, рыжеватого, бойкие глаза парнишки с иогой, и совсем рядом, сбоку — глаза-очки, не разберешь — какие, малеиькие, усталые. «Интеллигенция...» Голова у этого была забинтоваиа. «Это я его в саду видал...»

Все это Федор охватил за один круговой взгляд, а сейчас он, рассматривая свои тапки, сидел неподвижно и ждал.

— Из какой палаты? — спросил Плешатый.

— С четвертого этажа я...

— Из «бокса» — сестра говорила, — сказал парнишка.

— А-аа!..

Федор встал осторожно, подошел к окиу. Теперь глаза их изучали его затылок, а он смотрел в окно и старался не думать о том, что они думают. Окно выходило иа север. Бурело вдали ничейное поле-пустырь, через поле шагали к сквозному осиинику мачты высоковольтиой линии, осинник светился розоватой кисеей. На пустыре паслась белая коза. Федор вздохнул. Ближе виизу — ржавая крыша кирпичиой двухэтажки, старой, побуревшей от дождей, тесовый забор, две «скорые помощи», двор с лужами. Через двор шла, обходя лужи, пестрая кошка. Сверху она казалась маленькой, ио каждый шажок ее — брезгливый, иастороженный — Федор чувствовал всей кожей.

Ему не хотелось оборачиваться к любопытным глазам; кошка была ему ближе, понятней, как и бурьян на пустыре, и неяркая голубизиа в просветах плотиых туч, чем эта глазастая чужая палата.

* * *

Каждый день что-нибудь изумляло: ручка шариковая, небьющееся стекло на часах, мешочки из такого же гибкого стекла, вставная челюсть у Плешатого, ящичек-радио малюсенький у парнишки с ногой, картинки в журналах, а главное — разговоры. И слова, новые, непонятные: транзистор, космос, шайба, лифт, твист, термоядерная, орбита, электричка и многие другие.

Пока он где-то пребывал в темном провале, мир изменился совсем: люди полетят к Луне, и одна бомба разрушает огромный город, и все десятилетку кончают, и в колхозе платят рублем, как на заводе, и хлеб белый — бери хоть пять кило за раз, и лошадей не держат, а машины, и бабы ходят в брюках, а у парней волосы до плеч, и в деревне строят дома многоэтажные, а в городе ездят под землей.

К вечеру его охватывало возбуждение, растерянность, и он поскорее накрывался одеялом, чтобы никто не видел, как трудно ему бороться со своей головой, которая думала, думала, но вместить всего не умела. Факты были фактами, никуда не денешься, но что с ними делать? «Батя помер, и надо было мамке подсоблять, потому я только шесть классов кончил», — хотел бы он объяснить соседям по палате, но боялся. «На Луну полетят! Это как же так? На Луну!» Диск молочный рос, приближался, и тени гор, как на том фото, закрывали весь иллюминатор, и Федор перебирал пальцами по одеялу, мучился, а палата давно спала.

«Как же это, как? — бормотал он в подушку. — У кого бы спросить?»

На втором этаже, где сходились углом коридоры, был зал небольшой с мягкими креслами и ящиком на ножках. Спереди у ящика блестело толстое стекло. На столике лежали журналы, и когда никого там не было, Федор их потихоньку листал, разбирал с натугой подписи под картинками. Интересно-то все, но листал он

не поэтому: искал своих. Вот стоят они возле щита орудия, а полковник им что-то говорит, и они улыбаются. «Подвиг совершили. В тыл отвели, побанили!!!» — думает Федор, с уважением разглядывая сытые круглые лица, белые зубы, чистенькую форму. Потом вчитывается, постигает, что это — на маневрах, и тихонько вздыхает, откладывает журнал.

Кто-то подошел сзади, и он вздрогнул. Это был старик голобородый, желтый, не из их палаты. На нем был байковый халат, а на ногах — домашние шерстяные носки. Старик подошел к ящику со стеклом, защелкал в пальцах выключателем, и стекло налилось мутью фосфорной, забормотало, муть рассеялась, задвигались чьи-то губы — белолицая баба пела, широко открывая рот, шея ее раздувалась. Старик сморщился и щелкнул-выключил — все.

— Опять опера эта, — сказал он брюзгливо, — все опера да опера, хоть бы что показали. Ну, вечером ЦСКА — Спартак посмотрим.

— Да... — сказал Федор, жадно разглядывая ящик. «Кино на столе! Вот ведь придумали! Где это он включал его? Вот эту?» Вишь — кино на дому!» Вечером в этом коридоре он уже издали услышал скрежет, хакающие выкрики, стук. «Шайбу! Шайбу!» — кричала толпа. Больные заслоняли от него экран, волновались, подбадривали, охали. На изрезанном льду парни гоняли черный кругляш, падали, вскакивали. «Есть! — крикнул кто-то. — Два-ноль!» И все зашумели.

«Футбол на льду», — понял Федор, и ему стало неинтересно: он надеялся, что покажут фронт.

В палате про фронт никто никогда не говорил.

Он узнал еще одно слово: «телевизор», и вечерами стал ходить смотреть фильмы. Но больше половины голова пока не выдерживала — уставала. Про войну тоже были фильмы. В новеньких гимнастерках с начищенными автоматами солдаты бежали и падали картинно и так близко к столбам разрывов, что у Федора мурашки

пробегали по затылку. Он понимал, что это кино, игра, артисты. Однако все ждал: а вдруг он признает кого-нибудь? Петьку Сигова, или дядю Степу, или еще кого-нибудь из своих.

Он их раз все-таки почти увидел, но не по телевизору, а в журнале. Он листал журнал в кровати после обеда, когда все дремали, и вдруг замер: с серой фотографии смотрели на него солдаты. Настоящие, окопные. Это было сразу понятно по их прожженным шинелям, мятым, коротковатым, по засаленным ватникам, а главное, по взглядам, которые ничему не удивляются и не принимают всерьез, в том числе и этого корреспондента, который их щелкает зачем-то. Они, верно, где-то у обочины присели отдохнуть на марше — один лежал на спине, курил, двое сидели, привалясь к стволу сломанной березы, только сержант в фуражке стоял и недовольно смотрел в глаза. В руке у него был котелок — видно, за кашей хотел идти или за водой, а тут ему помешали. Сержант был хоть в фуражке, но в ботинках и в обмотках. Это был строевой бывалый сержант: обмоточки были намотаны низко и ровно, шинель туго подпоясана офицерским ремнем. Сбоку виднелась длинная кобура немецкого «парабеллума». Трофейного, не в магазине купленного, с гордостью подумал Федор. Ему хотелось показать эту фотографию всем. Он впервые подумал, что «старики» в палате тоже должны были на фронте побывать.

— Вы с какого году? — спросил он Плешатого.

— С тридцать второго. А ты?

— С двадцать третьего.

«Вот оно что! — думал Федор. — Ему в сорок первом девять лет было. Пацан! Он и войны-то не помнит. Либо помнит, что жрать было нечего, либо — ничего... Фронт! Мне-то сейчас почти сорок, а ему и тридцати нет. Вот оно что! Чего ж это он такой старый на вид?

А ночью он стал еще раз ощупывать-изучать свое новое тело: волосы на груди, отекший живот, широко-

костные неуклюжие руки и ноги. В этом заматерелом мужичьем теле жил он, Федька, молодой, гладколицый, пружинистый, чистый. Тело стало дряблое, пухлое, а мысли остались молодые, ранние. Да, живет он как в чужом теле. Но думать об этом дальше было тошно.

* * *

Но так было только ночью, когда не спал, а днем все такое он забывал начисто и опять смеялся Витькиным анекдотам и подробно обсуждал с Плешатым, что будет на обед. Витька «с ногой» никогда бодрости не терял и всех подначивал. Работал он на бульдозере, и ногу ему отдавило в карьере. Плешатый тоже был рабочим, слесарем высшего разряда на Трикотажке, наладчиком, любил рассказывать, как он в санатории лечился и что там ел. Крайний мужик у стенки был тоже «послеоперационный», но говорил мало, а интересно бы узнать, как теперь там, в деревне: он работал трактористом в совхозе и, видать, был хороший хозяин — рассказывал однажды, как он дом покупал, но на разговор о крестьянской жизни почему-то не отзывался. Самым непонятным был интеллигент, москвич. Он попал в аварию на горьковском шоссе и его здесь держали из-за головы: перевозить было опасно.

Все они и не один раз рассказывали друг другу о своих хворях, но Федора почему-то никто о его болезни не спросил, и он был рад этому. Он любил что-нибудь подать, подсобить беспомощному Витьке, например, воды налить, или «утку» — сосуд для мочи. Тракторист и садиться-то боялся и не раз Федор кормил его с ложечки кашей манной, серьезно, сосредоточенно совал ложку в большой губастый рот, а Тракторист горько над собой подшучивал, Плешатый и Москвич были ходячими, но иногда и их что-то прижимало, и тогда Федор приносил из столовой их порцию. Все это для него было обычным делом, и он удивлялся, когда они его благода-

рили. Он вообще каждый день почти чему-нибудь в них удивлялся, а главное не понимал, как они так беспокоят себя из-за разной чепухи. Так, Плешатый все охал, что жена, пока он болел, купила не такой, как он хотел, диван-кровать, и поминал эту свою жену чуть ли не матом. Интеллигент вообще не мог говорить без дрожи про свою разбитую «Победу», а Витька нарочно его подтыривал, заводил об этом речь и подмигивал Федору, веселился. Тракторист, которому сделали удачную операцию на желудке, был мнительным и все мял свой живот и отлеживался, хотя здоровенный был мужик и шел на поправку. Федор давно привык не думать, что есть и что будет завтра пить, и странно было их слушать.

В ноябре снега еще не было, а ночи стали черными, электрические окна больницы вызывающе сияли, и Федор никак не мог к этому привыкнуть — все хотелось их завесить. Ночь наступала под тихие разговоры. Вот и сегодня: Тракторист посапывал, спал, а Витька и Плешатый слушали рассказ Москвича про отпуск на Черном море. Федор слегка дивился его красивой там жизни с какой-то бабой, но не завидовал и слушал вполуха — он все представлял с тревогой, как окна их корпуса сияют там в осенней черноте на десяток верст, и ему становилось все беспокойней: ночную высоту сверлил знакомый унылый звук. Федор сел. Гул уже навис над крышей, и Федор сцепил пальцы, застыл, волосинки на затылке встопорщились от ожидания, и тут ударило что-то в пол и сорвалось:

— Ложись! — руки сами закрыли голову.

Когда смех приутих: он отнял руки от головы, начиная понимать, заливаясь мучительной краской.

— Вы что? — с тревогой спросил Москвич. Гул уходил за город, стирался, глох, а Федор все никак не мог справиться с прыгающими губами.

— Приснилось что-то? — спросил Плешатый.

— Задремал он, а я книжку уронил, — пояснил Витька. — Ложись, дядя Федя, все в норме!

Федор лег, натянул одеяло; все никак не успокаивалось, стукало в ребра сердце.

— Потравили, и хватит! — сердито сказал Плешатый и еще что-то вполголоса добавил Витьке. — Спи, Федор, я потушу. Он прошлепал к двери, выключил свет. Ночь чуть серела в высоких проемах, посапывали, подхрапывали соседи, а Федор лежал и думал. Самое удивительное было то, что они самолета, проревевшего над самым потолком, кажется, совсем и не слышали. Как глухие. Он долго так лежал, а потом встал и ощупью по стенке пошел в туалет. Голос Тракториста спросил:

— Это ты, Федор?

— Я...

— Закурить не будет?

— Не... Сам маюсь.

— Возьми у Москвича. Пить не дашь? Не зажигай только.

Федор на ощупь дал ему стакан, слушал, как крупно, жадно булькают глотки.

— Ух, хороша водица! Спасибо. Чего не спишь?

— Да так...

— Холодина в палате, топят еле-еле. Ты сам-то откуда?

— С Калининской.

— Тверичи, значит. А я — с Владимирской. В лесу жил, а потом курсы шоферов кончил и сюда подался, в совхоз. К городу поближе.

Окна мутно белели в полумгле, Федор подошел к окну, прижался лбом. Знакомой студеностью зимней веяло от окна, во мгле внизу белела крыша флигеля, и пустырь белел до самого осинника, за которым чуть зеленела полоса слюдяная. От свежего крепкого запаха заломило в переносице.

— Снег выпал! — сказал он радостно. — Рано, не сошел бы...

— Может, и постоит. Закурить бы! Возьми у Москвича в тумбочке.

— Так, не спросясь...

— Утром скажем. Возьми пару — и я потяну. До туалета меня проводишь. Одолеешь?

— А что? Давайте...

Тракторист обнял Федора за плечи, еле-еле, как по льду, зашаркал ногами к двери, налегая, обдувая дыханием. Был он жаркий, мясистый, грузный.

В туалете было совсем студено, воняло хлоркой, от первой затяжки поплыло в голове. Они курили истово, молча. Тракторист притушил сигарету о ноготь, спрятал в кармашек пижамы.

— Это завтра после завтрака... — Федор смотрел на его толстое неподвижное лицо. — Ты, правда, говорят, здесь с самой войны прокантовался? Двадцать лет?

— Да... — тихо ответил Федор.

— Неужто с самой войны? Ну и как?

Федор бросил окурок в унитаз, зашипело, погасло.

— Не помню я...

— Ну и дела... Говорят, сестра тебя выходила, Козлова.

— Говорят...

— Неужто не помнишь? Ее-то?

— Нет...

Федора трясло мелко, незаметно.

— Да ты не теряйся. Она баба серьезная. Заходила тут без тебя, спрашивала, мы все тебя хвалили. Ты теперь как, к ней? Когда выпишут.

— К ней? — Федор мучительно искал слова. — Домой, я домой поеду. У меня жена дома.

— Писала?

— Не... Я писал, да не дошло, видно.

— Да-а! Дела! Вон она что медицина делает. Пойдем спать — застудимся тут. Дай я за тебя подержусь. Потише, потише!

Уже в палате, повозившись на постели, Тракторист сказал:

— А у меня баба была, да сплыла. Верней я сам от нее сплыл... Дети-то есть?

— Не знаю...

— Ну, спим. Снег выпал. Спим, медведи!..

* * *

Пороша пала в ночи тайно, нежданно. Федька вышел на крыльцо, зажмурился, втянул носом — пробрало до слез. Тонко и бело засыпало раструшенную солому, поленницу, окаменевшую грязь. Отец ладил сбрую на пороге, перебирал-мял в сильных ладонях сыромятную шлею, щурился за ворота на побелевший выгон.

— За дровами съездим, сынок? — спросил, не оборачиваясь, и у Федьки застукало сердчишко.

— Съездим, — ответил он басом.

Дровни скользили по дороге, срывая на ухабах снег с грязи, а вдоль опушки по затравянелому зимнику пошли легко, неслышно, отец причмокнул, покачал вожжами, и мерин Мальчик пошел веселее, екая селезенкой, отфыркиваясь паром, и привкус снежный стал острее от запаха лошадиного пота, прелого сена, осиновой коры и кислой овчины. В смешанном лесу, редком, светлом, они пилили осину и березу, опилки сыпались на резиновые сапоги, на снег, под которым на следу обнажалась слежалая лиственная прель. Потом отец курил, а он, Федька, нашел мороженый гриб подосиновик, разломил его, понюхал. «Вот ты и помощником стал, сынок, — ласково говорил отец, — вот и мне легше теперь помирать будет». И Федор слушал это почему-то без удивления.

...Пороша покрыла за ночь сосновые ветки, которыми маскировали минометы батареи, шапку спящего Петьки Сигова, ящики с минами, свежий отвал глины

на бруствере. Все покрывала чистота белейшая, а главное то, что маячило весь день вчера — воронку обгорелую, где накрыло самого тихого в батарее Кольку Супа, того, кто весь в лапше тогда свалился на голову. Ногу Колькину в ботинке и обмотках оторвало выше колена и отбросило прочь, и нога эта весь день лежала метрах в пяти от бруствера на пожухлой траве. Но теперь и ногу и траву посыпало мельчайшими звездочками, которые мягко искрились, когда солнце пробивало тучу. Нога теперь не мешала радоваться пороше и затишью: немец с утра не стрелял. На эту порошу еще не брызнуло живым кровавым соком. А на другой день... (Но мимо это, мимо!) Это было под Дубно и это было сейчас, потому что первый снег чистотой небесной скрывает все — колеи тракторные и танковые, бинты, гильзы, втоптанные в навоз, и ржавую железяку, которую он нашел и притащил в избу, а мать заругалась и выбросила ее в огород. «Всяку дрянь в избу тащит!» — услышал он ее и улыбнулся.

Сквозь незамазанные рамы, выстужая палату, тянуло сурово и безгрешно запахом первоснежья. Федор спал глубоко, ровно дышал. В это утро он впервые проспал завтрак.

* * *

Воскресенье — самый долгий день: ко всем, кроме него, приходили родные, знакомые, и Федор томился. Чаще всего приходила к Витьке девчонка курносая, и он с ней зубоскалил и даже целовался потихоньку. К Плешатому приходила жена, маленькая, рано постаревшая женщина, доставала из сумки печенье, соки, пирожки. Когда она уходила, он ее не провожал и всегда чего-нибудь напоминал, кричал вслед: «Огонек» новый принеси! А варенья не надо: зубы болят!»

К Трактористу изредка приходила толстая и зоркая баба в мелких кудряшках и дорогом платье. Они сразу

выходили в коридор, стояли там у окна, о чем-то важном беседовали.

Федор их не слушал. Он поворачивался к стенке, закрывал глаза и мечтал: а вдруг то письмо дошло и Анка сама собралась и приедет?

Белая дверь отворялась неуверенно, и темно-серые глаза под чистым лбом медленно обводили палату, встречались с его глазами и наливались хрустальной радостью, а лоб розовел, и чуть приоткрывались губы, ответренные снаружи и влажные изнутри, там, где белела в сумраке подковка зубов, и лицо приближалось вплотную, он чуял ее парное дыхание на закрытых веках и боялся шелохнуться, чтобы ее не спугнуть.

Он лежал в холодной боковушке Анкиной избы, раскинув руки; сквозь ресницы брезжил ранний свет в оконце; дымчатый квадратик на срубе словно наливался розоватым медом. Он лежал на широком сеннике под ватным одеялом и проснулся, когда она тихонечко выскользнула из-под одеяла, простукала босыми пятками к двери, а сейчас вернулась и, не прикасаясь, медлит, нагнувшись над ним, ее дыхание щекочет переносицу, он морщится, открывает глаза, улыбается сонно и начинает вбирать ее всю в себя без остатка, а она — его...

Нет, он никому в палате не завидовал: ни у кого такой, как у него, не было. Когда все уходили, наступала усталая тишина, только шуршал бумагой, жевал что-то Плешатый, и Федор, не открывая глаз, старался удержать кружочек ее дыхания на щеке, щекотанье ее ресниц и унести это в сон. В этот день он и правда заснул, а проснулся от близкого разговора. Вернее от какой-то потаенной неприязни в приглушенных голосах. Федор приоткрыл один глаз: возле Москвича сидела какая-то красотка из польского журнала.

...Журналов была целая кипа, сверху кипу эту густо припорошило кирпичной пылью с пробитого потолка;

сквозь пробоину видны были в зените солнечные лучи и рухнувшие перекрытия всех пяти этажей. Дом этот разбомбленный стоял на окраине Кельце, на выезде из города, и хотя фронт ушел вперед, какой-то псих эсэсовец дунул из пулемета по их колонне с пятого этажа.

Разбегались кто куда, по канавам, по рытвинам, а когда поняли, что там только один псих, ругались нещадно. Из стрелкового оружия его нельзя было достать, но тут подвернулись артиллеристы, и все лежали и смотрели, как в кино, на сорокапятку, на брызнувшие от снаряда кирпичи. После второго попадания эсэсовец смолк, но ротный приказал их отделению свернуть с шоссе и прочесать дом этот проклятый для верности по всем этажам. Это было уже опасно, шутки кончились. Они перебегали по картофельному полю к дому, тщательно выбирали укрытия: никому неохота было в тылу гибнуть дуриком от одиночного фрица. Был ветреный солнечный вечер, серые тучи шли на запад, на закат, и дом светился всеми пробоинами на этом закате, и хотелось очень пить. В доме все было обрушено, разбито, пусто. Они просигналили на шоссе, и рота тоже свернула к дому, расположилась на ночевку. Пока ждали кухню, кто-то из отделения нашел эти пол-комнаты на первом этаже и эти журналы. Федор вытянул один, стряхнул кирпичную пыль, раскрыл: красавицы полуголые, в разных рубашечках-платьицах, холеные, тонконогие, с одинаковым прищуром — пустым и коварным. Это он хорошо почуял. Ребята заглядывали через плечо, шутковали, толкались. «Моды это», — объяснил сержант. «Все одинакие какие», — сказал Колька. «Вот бы тебе, Колька, такую кралю». «На кой она мне!» — ответил смиренный Колька с глубоким убеждением.

Небо в бетонном проеме потолка затянуло серостью, заморосил оттуда дождичек, мелкие капельки сеялись на глянцевую красотку. Федор расстелил журналы на полу для сухости, сунул нос в ворот и канул в сон...

Крепкий сладкий аромат раздувал ноздри: очень близко сидела она, красотка, интеллигентова жена. Впервые она приехала к мужу при Федоре. Она сидела меж их кроватями и первое, что он увидел, — это ее длинные шелковые ноги, а выше — резные деревянные бусы на черном свитерочке, серьгу-висюльку в розовом ухе. Искрились высоко зачесанные волосы, а голос был сиповатый, недобрый.

— Я же тебя просила не...

— Все-таки могла бы хоть...

— Неужели и здесь без сцен...

Она отвернулась от мужа, глаза ее, желтовато-зеленые, зрачкастые, мазнули по Федору. Он подумал притвориться, что спит, а потом рассердился, сел, зевнул, слез с кроватн н не спеша ушел в коридор. В конце коридора было окно, и он встал перед ннм. Сизая городская даль мигала светляками машин, сгущались снежные сумерки. Зябли ноги в шлепанцах, но он ждал, когда уйдет «красотка». Он спиной почуял, как она взглянула на него, выходя нз палаты. Она шла прочь по светлому коридору, покачивая бедрами, теребя замок сумочки.

Когда Федор взялся за ручку приоткрытой двери, он услышал в палате спор:

— Ему и намекать об этом недопустимо, — говорил Москвич.

— Ясно — кому он... — начал Плешатый.

— Тихо, контуженый! — шепотнул-крикнул Витька, н все стихло.

Федор вошел, не поднимая глаз, сел, сутулясь, на свою кровать.

— Федь-ка! — сказал Витька. — Любка задание выполнила!

Он протянул пачку «Беломора». Федор не хотел брать.

— Чем долги отдам-то? — сказал он грубо, но взял.

«Кто нм сказал, что я контуженый? Сестры разбол-

тали. Ну и хрен с ними: я и впрямь контуженый был. Что я, виноват, что ли?»

* * *

От снегов и ночью в палате стоял полусвет, ледяными пальмами зарастали стекла, с полу под одеяло дуло, студило бок, но спалось крепко, долго, утром никак не хотелось просыпаться в электрический свет, в надоевшую больничную суетню.

Снега легли в конце ноября, а сейчас — начало декабря, но писем из дома нет: и на второе письмо не ответили. Федор привык за четыре года, что писем все нет и нет, но то было там, а здесь почему? Изредка заходил старый психиатр, беседовал, довольно кивал, прикрывая острые глазки выпуклыми веками. Он не приставал больше с хитрыми вопросами и про планы не расспрашивал. «Отлично, отлично», — повторял он, кивая лысиной.

Но все равно именно его Федор побаивался больше всех и никогда не говорил о странных мыслях и снах, которые его посещали. Врача, палату, соседей, вещей и людей дневных, ежедневных, он не чувствовал до конца настоящими: все это было вроде как в кино, временное, а живое, понятное, всегдашнее — это было там, где его рота, его ребята. Там было его место, и он, не думая, терпеливо ждал выписки, чтобы туда вернуться насовсем, хотя голова тикала-думала, как он поедет домой, в Устье, и будет работать в колхозе, как до призыва. Но одновременно видел себя не дома, а в землянке под Неманом, в траншейке мелкой на опушке старого елового бора. На ничейной земле торчал искореженный бронетранспортер с двойными крестами, и вороны иногда с поля снимались и на него садились. За деревенькой какой-то голубел левый берег Немана, и когда в траншее начиналось хождение, оттуда била немецкая артиллерия. Но била она неточно, с недолетами, только поле ковыряла свежими ямами по осеннему дерну. Дол-

го стояли на этой опушке, обжились, землянок понакопали, просушились, подштопались. Чай пили в лесу крепкий, сладкий, а от штаба раз прислали всем по сто граммов, хотя никакого праздника не было. Федор лежал ночью и удивлялся этому, но стон чей-то утробный его подкинул. Он сел в страхе. Серел квадрат в черноте, мычало, задыхалось где-то под боком, выдавило: «Домкрат, домкрат!» — и опять замычало.

— Кто это?

— Федор, ты? — спросил голос Плешатого.

— Нет — это Москвич, — сказал Витькин голос. — Федор, толкани его!

Щелкануло, ослепило светом, Плешатый в белье стоял возле двери, смотрел зло, испуганно. Москвич сел, моргая, нащупывая очки на тумбочке. Без очков он был какой-то жалкий.

— Чего орешь-то? — спросил Плешатый. — Приснилось, что ли?

— Это я сон... Приснилось, сон, — бормотал Москвич смущенно.

— Напугал всех, — сказал Плешатый и стал укладываться.

— Свет-то тушите! — сказал Витька. — А я думал, Федор это стонет. Спи, Андрей Борисович, капли выпей и спи.

— Нет у меня капель, — ответил Москвич. — Вы, Федор, если я опять, разбудите.

— А что приснилось-то? — спросил Витька. Москвич не ответил.

— Свет тушить не надо, — сказал Плешатый.

— Почему не надо? Я спать со светом не могу, — заспорил Витька. — Тушите, развели тут бодягу, спать не дают...

— Тушите, тушите, — сказал Москвич. — Больше это не повторится, я покурю и потушу.

Он взял сигареты и вышел.

— Говорили, у него друг под машиной застрял, когда

перевернулись, заклинило, поддомкрачивали, — сказал Плешатый.

— Да, тряхнуло ему котелок.

— Со всяким может быть...

«Не один я контуженый, — думал Федор. — Вот и войны нет, но можно и в тылу пропасть дуриком... А что ж эта красотка у него была — кто она? Жена? Его, говорят, выпишут скоро, а Тракториста уже нет, и Витьку выпишут. А меня когда?»

Люди появлялись и пропадали куда-то в прошлое, как и там, и это было законом, о котором незачем было размышлять.

* * *

«Здравствуй брат Федя!

Письмо твое второе получили, то, что писал в Октябрьские, тебе того же желаем, а первое не получили, писал ты на маму, а она померла еще в 47-м и тетя Настя скоро — в 49-м. Письмо твое получили в ноябре, в конце месяца, почтарша новая принесла — валялось долго на почте, и письмо твое я открыл, потому как родни нашей больше никого здесь нет в Устье, только я с семейством, да еще дочка твоя Зойка.

Еще сообщаю в этих строках, что жена твоя Анна жива-здорова, замуж вышла за Тольку с «1-ое Мая» в сорок шестом, ты его не знаешь, на УЖД работает, мужик ничего, хозяйственный, закладывает только малость. А Зойка тоже замужем, работает у нас в сельпе.

На тебя похоронка пришла в сорок четвертом, поминки справлять не стали, потому как ты обозначен был как «без вести пропавший», но думали все, что убило тебя, одна мама не верила, ждала, с той поры хворала, а потом и померла.

Напиши, когда приедешь, а про себя писать нечего, живу ничего, стало полегче, картошки только с приусадебного 40 мешков накопали, корову держим, поро-

сенка, колено стреляет — остудил на реке, а так все нормально.

Кланяется тебе жена моя Анисья Павловна, которую взял из Новоселова, и ребят у меня трое, старший в Конакове электриком, дочь в ПТУ, а младший в школу ходит, двенадцатый пошел. Пока все, пиши ответ, а то долго идет — через область, жди, когда Волга встанет, правда, сей год рано встала.

Твой брат Михаил Семенов».

Письмо это получил Федор в конце декабря и читал его в коридоре перед белым морозным окном. Прочитал, уставился вдаль. Бугрились серые тучи над белыми полями, щетинкой тоненькой на краю — осинник голый, две вороны летели через белизну медленно, устало. Федор не двигался, пошевеливая пальцами, осмыслял трудные скупые слова. «Мама, умерла, дочь. откуда дочь? Мама умерла? Анка. Жена. Не жена. Толька муж. Кто это?»

Старший брат, Михаил, прямо из действительной попал в войну, писем не было, думали — убит. Но вот, оказывается, целым остался, не дюже и раненый, если детей нарожал, хозяйство развел, живет нормально. Михаила помнил он парнем в белой рубахе, вечернюю траву на околице, прохладу, девичий визг. Михаил гнал его домой, смеялись парни, гармонь до белой зари бродила за спящими избами, туманы ползли с покосов, пели с конца в конец первые петухи. Был Михаил черный как грач. «Не в нашу масть вышел», — шутил отец, а мамка сердилась.

Федор пытался разглядеть Михаила пояснее, но увидел только мамку, которая вдвигала в печь закопченный чугун с картошкой. Над скобленым столом серело сонное оконце, вокруг печи было темно, огненное устье выхватывало жаром мамкино лицо, загорелое, с поджатыми губами и внимательными глазами. Она осторож-

но вдвигала рогачом тяжелый чугун вглубь, по кирпичному поду к розовой груде углей.

Петухи кричали над Волгой, холодный туман лепился к стеклу, а на постели было тепло под дубленым кожухом, можно было съежиться в сладкий комочек, поспать еще часок, пока не сварится картоха, и в избе одна мамка, которая его жалеет.

Федор смотрел на нее без тоски, без размышлений, словно она никуда и не пропадала, а навсегда осталась в этом рассветном печном тепле с привкусом ржаного хлеба и кислой овчины.

* * *

Потекли, заголубели апрелем оконные стекла, осели грязные сугробы вдоль забора, солнце сушило серые тесины, на пустыре запестрели проталины, синие грачи стаями снимались с оголившейся глины, рассаживались на проводах. А раз услышал Федор через форточку высотные клики гусей, и так потянуло за ними, на север, так заныла по дому молодая тоска. Он часами теперь простаивал у окна, не видя ничего и не слыша, что копошилось за спиной. Выписались и Плешатый, и Тракторист, и Москвич, Витька прыгал на костылях — все было здесь временное, и он, Федор, тоже временный. На месте Плешатого лежал старичок-сморчок с голубенькими всегда добрыми глазами, чудной какой-то. Говорили, что у него рак, но по глазам никак этого не скажешь. Раз утром сказал он Федору:

— Какой сон видел я, какой сон — всех своих!

— Кого?

— Родных, покойных. И жену свою, супругу, и матушку, и сыночка — у меня сыночка под Сталинградом кончили, и бабушку даже, хотя она еще до революции скончалась.

— Ну и что? — спросил Витька.

— А то, что так у них там хорошо, тепло так, мир-

но, что теперь и мне туда захотелось. Все болезни наши и печали там пропадают.

Витька промолчал, а старичок лежал и улыбался, как дитя. «Чудик, но добрый», — подумал Федор; он смотрел в окно и кого-то силился припомнить, что-то подошло совсем близехонько, но не давалось, не проявлялось, только дышало, как сквозь занавеску, невидимо. Так и не далось.

Вечерняя прозелень стояла в чистых окнах, тихо гудела, успокаиваясь, больница, смеркалось незаметно. Света не зажигали. И вступила в тишину правдивая грусть, ласково и сурово защемило внутри, и Федор задержал дыхание:

...Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда,
Тот, кто однажды видел это,
Тот не забудет никогда...

Ему казалось, что это он сам наконец выговорил то, что давно просилось объяснить людям самое главное его мечтание.

...Мне часто снятся те ребята,
Друзья мои военных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна сгоревшая над ней...

Голос пел-говорил, не голос, не слова, а глубже, оттуда, из прошлого, которое рядом, из теней в углу за Витькиной койкой. Смолкло, и все молчали — слушали тишину вместе с ним, с Федором. Потом затрещали разряды, пискнуло, свистнуло, забил-забоцал разболтанный ансамбль: Витька перевел на другую волну.

— Верни ту, про войну, — попросил Федор, а старичок сказал:

— Обратно ходу нету.

— Это не патефон, Федя, радио, — объяснил Витька, но Федор и сам все понял, закрыл глаза: песня

все равно осталась, он повторял ее вслед за тнхнми голосамн, зеленело чисто, холодно на западе, чернела обугленная сосна на бугре, красная ракета дугой снижалась над немецкнмн окопамн, гасла, нссякала, редкне удары с горизонта напоминали, не беспокоя, о том, чего не скажешь, что только изредка снится, сурово н покойно, когда вот так поют, как сейчас.

...Их оставалось только двое
Из восемнадцати ребят...

Федор нх вндел — они его ждалн, улыбались — вернулся все-таки, догнал роту!

На утреннем обходе начальннк отделения сказал:

— Семенов! К двенадцати на ВТЭК — выпнсываться пора. Второй этаж, комната двести три. Ясно?

— Ясно, — сказал Федор, хотя понял только одно: «выписывают!»

Этого он ждал всю зиму, но сейчас стало чего-то боязно.

В двестн третьей — кабинете главврача — сидели за столом белые халаты в шапочках и меж нимн — Аврам Гераснмовнч, который кнвнул ободряюще. Федор сел на стул, сцепил пальцы на животе. Председатель — пожилая холодная тетка — спросила нмя, отчество, фамилню, полистала историю болезни, вполголоса заговорнла с Аврамом Гераснмовнчем. До Федора доносилось обрывками, но он не вникал: «фронтовой комплекс», «остаточные явления»: «не коммуникабелен...» ...это — не паталогия, а...», «арахноидит, но рецедива не было».

— Дело ясное — третья группа. С правом на труд, — подытожнла председательша, повернулась к Федору: — Вы поняли?

Он не отвечал, каменно смотрел мимо: всегда, когда говорилн о его голове, ему хотелось спрятаться.

— Инвалидность вам дали, — пояснил Аврам Герасимовнч. — Но можно работать. Конечно, не на тяжелых работах.

— Можно писать, считать, — сказала председательша. — Вы где до войны работали?

— В колхозе...

— А сколько классов кончили?

— Шесть.

— Ну, еще курсы какие-нибудь кончите, перекомиссию будете проходить по месту жительства. Кто следующий?

— Какие ж мне курсы? — растерянно спросил Федор.

— На счетовода, либо в магазин пойдете, чего-нибудь полегче, — сказал Аврам Герасимович. — И пора про войну забывать, к людям привыкать, они ведь не на войне теперь... — Кофейные глазки его задумчиво разглядывали Федора. Потом белая дверь закрылась за ним навсегда.

«Как же я теперь? — размышлял Федор: случилось то, чего он боялся — нестроевой. — В колхозе какие мешки таскал, а уж на передке — там все глыбы ворочали. Полегше работу! Да где ж в деревне она полегше!..»

Сестра-хозяйка, желтоносая, с высокомерно-глупым лицом, вывалила на стол одежду, сказала:

— Одевайтесь!

Все было не его — не военное; гражданское. Он недоверчиво рассматривал синтетическое белье, клетчатую яркую рубаху с пуговками на углах воротничка, взял коричневый пиджак, повернул к свету: «На двух пуговицах!» А брюки и вовсе чудные: узкие и короткие, как недомерки.

— Это чье же? — спросил он неуверенно.

— Как «чье»? Ваше!

Он медленно одевался, оглядывая себя, качая головой.

— Вы поскорее, — сказала желтоносая сестра, — мне еще двух одевать надо. Документы в канцелярии получите.

— А потом... куда ж мне?

— Как куда? Домой. Вы у Козловой, кажется, жили?

— А... где она живет?

— На старом месте. Во флигеле.

Толстые пальцы все никак не могли застегнуть пуговицу у ворота, он торопился, морщился.

— Кепку-то не забудьте.

Кепка была совсем новая, клетчатая, он решительно надвинул козырек на нос и вышел.

Голубое, влажное заискрилось, хлынуло в лицо, в голову, он зажмурился, неудержимо улыбаясь, шагнул навстречу небу — на волю. За пятиэтажным корпусом — тропка к старому флигелю, через лужи брошены доски, снег стаял, только в тени забора сочился чистыми ручейками серый лед, на обломанных кустах мохнатились толстые почки, солнце грело сырую землю, руки, лоб, веки. Ему хотелось раскинуть руки, все это обнять; он широко зашагал на еще неверных ногах, втягивая до дна апрельский талый холодок, жизнь. «Жив, жив! — повторялось, ликовало. — Жив!»

От флигеля кирпичного падала углом тень, и, когда он вступил в тень, ноги пошли медленнее, тяжелее, а зрачки сузились, ощупывая каждую царапинку на облупившейся двери, ветхую раму, стертую кирпичную приступку. Нет — здесь он никогда не бывал...

Козлова. Людмила Дмитриевна. Старшая сестра. Шестнадцать лет... «Что ж — я и спал с ней? Спал, свой век проспал, провалился, пропал...» Черно-черно в провале — ни щелочки не светится. «А чем я виноват?» — спросил он, ожесточаясь.

«А она чем?» — спросило из черноты.

«Ничем, никто, никогда», — повторялось в черепе, как эхо, а затем спросило прямо в лоб: «Что будешь делать?»

Он не знал, он стоял, уставясь в грязную дверь, и крутились в голове воронкой мутной мысли-полумысли, и сквозь дверь, сквозь кирпичную кладку будто видел он поблекшее лицо, маленькие ждущие глаза. Нет —

остаться не мог, сбежать — не мог, надо зайти, ведь кормила, мыла, одевала, терпела его, Ваню-дурачка. Он стиснул челюсти и толкнул дверь. Наверх вела расшатанная деревянная лестница, справа внизу обитая рваной клеенкой дверь. Он открыл ее наугад, вошел в тусклый коридорчик с какими-то корзинами, старыми кроватями. Здесь были еще двери, крашенные белилами, и в первую он стукнул, чтобы спросить, но когда ответили: «Да!» — испугался.

В низкой комнатке весь простенок был занят широкой кроватью с бордовым стеганым одеялом. На кровати сидела пожилая женщина с малокровным одутловатым лицом и жиденьким пучком. Она взялась за щеку, глаза ее округлились, забегали.

— Здравствуйте, Людмила Дмитриевна...

— Здравствуйте... — женщина привстала, прокашляла горло, — входите, садитесь, вот на стульчик, чего стоять, входите...

Теперь она смотрела на него непонятно, настороженно, и Федору стало тесно, жарко, он огляделся, переминаясь: марля на окне, фарфоровый чайник, платье на гвоздочке, а на столе булка белая, масло, колбаса ломтиками. Он хотел что-то сказать, но не знал — что, попятился, налетел на косяк, зашиб позвоночник, и это его устыдило.

— Я... вот... проститься зашел, потому как говорили, вы меня... а я не помню ничего... — Слова шли из него с великой натугой, на лбу выступила испарина... — Выходили меня, домой еду, жена у меня, брат писал, что... но дома не был, всю войну не был... мать померла, так я... — Он сбился, махнул рукой и неожиданно для себя поклонился ей в пояс, как мать кланялась в красный угол на иконы, и выпрямился, ощупывая за спиной дверь: такими испуганными стали ее глаза. Она подняла руку, словно ловила паутинку, и тогда он плечом вышиб дверь, вывалился на двор, на свет весенний. Сестра выскочила за ним, растрепанная, оторопевшая.

— Куда ж так?.. Пальто-то хоть наденьте: — Она протягивала толстую куртку с цигейковым воротником. — Возьмите, я ушила, в самую пору будет, к выписке ушивала...

Он не мог не взять, но не мог больше ни слова вымолвить. В этой куртке уже на станции нашел он во внутреннем кармане конверт с адресом Козловой Людмилы Дмитриевны, а в конверте — тридцать рублей новыми бумажками.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Он впервые ехал в электричке. Было светло, солнечно, голубые сквозняки гуляли по вагону; он тихонько ощупывал под собой лакированные планки, осматривал исподтишка никелированные крючки для вещей, косился в цельное большое стекло на бетонные новенькие платформы, на мелькающих женщин с голыми коленками; он боялся, что они его заметят.

В ватной куртке было жарко, но он гордился ее цигейковым воротником, шелковистой подкладкой, а также скрипучими галошами, которые купил в Орехове на рынке в отделе уцененных товаров. Таких галош он ни на ком не видел (и вообще все были без галош и без шапок почему-то).

Летело, свистело, мелькало, покачивало мягко — век бы так нестись! Федор любил езду быструю, лихую, как в детстве с крутояра зимой на Волгу скатывались в «ледянках» — лукошках, обмазанных навозом и облитых на морозе водой. Падали, сшибались, с головой кувыркались в сугробы. Визжали девчонки, таял снег за воротником, горело мокрое лицо, а сквозь пар слепили солнечные лучики, и гомон радостный стоял полдня на этой их горе.

Народу было много, и все чисто одетые, праздничные. Напротив сидело трое — два парня и девчонка в брю-

ках, говорили что-то бойко — не поспеешь понять, смеялись: Федор разглядывал брюки на девчонке, удивлялся; лицо его ничего не выражало. А за окном все бежали назад поля и перелески и все больше домиков аккуратных, маленьких, с антеннами-крестовинами на крышах, и дали уже чуть зеленели весенним пухом, а иногда с громом пробегали вагоны над разлившимися речонками, и он хватал глазами мутную струю, прошлогодний камыш, затопленные коряги. Ребята напротив заспорили о каком-то «турпоходе», девчонка обиделась на кого-то, мотнула волосами — «хвостом», уставилась на Федора, не отвечая своим товарищам. Федор подивился, до чего она намазана помадой, хотя и молоденькая, отвел взгляд. Но она его и не заметила, сказала сердито:

— Если Любка поедет, я не поеду! — И снова все они заспорили, друг друга не слушая.

За окном от заводов и домов стало скучнее — приближалось нечто огромное, чего Федор робел, — Москва. Видел он ее только раз, да и то поздней ночью, когда пешим строем перегоняли их, призывников, с Савеловского вокзала на Окружную. Они шли в неровном строю, во рту было скверно от самогона, на сердце лежала теснота с похмелья, и вспоминалось одно — как Анка ревела на призывном пункте. Всю ночь держалась, стучала пятками под баян, кружилась, орала частушки, а здесь не выдержала, заревела. Лица ее он не мог вспомнить, а частушку вспомнил:

Девки по лесу гуляли
Увидали в лесе ель.
Какая ель, какая ель,
какие сышечки иа ей!

«Выходи строиться!» — крикнул сержант-сопровождающий, и частушка оборвалась. Они неумело строились, сержант ругался, Петька тащил за лямку свой холщовый сидор с коржами (съели их потом все сразу), розовая

ряшка его поворачивалась на трамваи, на вывески, зубы белели беззаботно, хотя и он весь опух, часто и ловко сплевывал на булыжник. В первой шеренге на его обритом затылке вспыхивали рыжинки. Это было в Калинине. А Москва была темная, серели слепые корпуса, в одном дворе тушили пожар, а потом заныли гудки с окраины, засуетились в тучах кресты прожекторов. «Шире шаг!» — крикнул сержант и разговоры смолкли.

Это все всплыло и пропало: Федор вылез на Курском и утонул в толпе. Еще когда ехали, удивлялся: подмосковные платформы забиты нарядными, пестрыми «дачниками» — ни одного колхозника, как ему казалось, одни городские. А здесь и подавно ни с кем не встретишься из своих — разноцветные курточки, костюмы, прически, бородки, очки, чемоданы дорогие и — шляпы. Фетровых шляп он сторонился — начальство, в Калинине их совсем почти не встречалось: когда шагали на вокзал, встретилась одна, и Петька крикнул: «Глянь — шляпа!» — и все засмеялись, а сержант ругнул его, но сам улыбался.

Федору в больнице и Витька и Москвич не раз объясняли, как в Москве проехать, но в толпе этой он все перезабыл, шел, куда она валила, и дошел до буквы М — метро. В дверях сзади толкнули: «Давай, давай, папаша!» — Он обернулся — давешние ребята с девчонкой оттеснили, прошли вперед, затерялись. «Папаша!» — Федор загрустил было, но тут же отвлек его эскалатор — бегучая лестница. Со страхом он шагнул, вцепился в поручень.

Бетонная труба вела под землю, с горы и в гору плыли шеренги лиц. Все лица на одно лицо, в себя смотрящие все глаза, как лакированные, тускловатые, не любопытные ни к чему. Федор стал считать круглые шляпы, досчитал до двенадцати и ожесточился.

Сверкали тысячные люстры в шлифованном мраморе, поезда выныривали из черной дыры, били в глаза фарами, внизу за опасным краем бежали добела стертые

рельсы. Напирали в спину, дышали в щеку мятными конфетами, отталкивали от шипящих самодвижущих дверей. А Федор все стоял, пропуская поезд за поездом, не чувствуя ни ног, ни тела, словно стал бесчувственным, ненастоящим. Он стоял и никак не мог вспомнить, куда ехать и где делать пересадку.

Милиционер долго перечитывал направление из Ореховской больницы в райвоенкомат, покачал головой, вернул, сказал:

— Садись в этот. Вылезешь на Белорусской — там пересадка на Новослободскую. Спросишь там. — Только у одного этого милиционера во всей толпе был деревенский говор и усталое понятное лицо.

До поезда на Савелово оставалось полтора часа, и Федор пошел поискать, где бы поесть — вокзальный буфет был забит до отказу.

— Чайная не знаете где? — спросил он девушку в сапожках на каблучках. — Ну, пообедать где?

Девушка подняла выщипанные бровки, покривила намазанные губки.

— Не знаю... — опасливо обошла, застучала мимо. Он пошел куда глаза глядят. Огромные дома-кубы тянулись на много верст, а один забрался шпилем в облака — не верилось, что такое можно выстроить. Смотрели на Федора тысячи окон, как глаза в метро — слепо, равнодушно, в окнах висели занавески — ромбики, квадратики ядовито-цветастые, у обочин стояли голубые, желтые машины. Кто здесь живет? Хотелось пить и есть. Хотелось посидеть, закрыв глаза, а больше всего — лечь на траву, на опушке, на сыром еще перегное, смотреть вверх, в дымку, дремать и слушать ветер медовый из оврага, где булькает ручей под корнями ивняка... Но он шел и шел, потому что сесть было негде. Всюду в сером уходили вдаль кумачовые пятна, гремели жестяные марши репродукторов, и Федор вспомнил: завтра праздник, и сильнее захотелось к своим. За стеклянной стенкой сидели люди, пили и ели. Федор зашел тоже, куртку снял

и положил на стульчик, стал ждать. Но никто не подходил. Сбоку рядом двое жевали, отхлебывали что-то из игрушечных чашечек. Один, моложавый, с проседью, с бородкой, чернявый, хищный, другой — сдобный, плешеватый, с голубенькими глазками. Чернявый говорил, прожевывая: «При Отце всех народов его на курорт отправили бы на Колыму». Сдобный кивнул, откусил от сосиски. «При Отце бы на тебя официант настучал, — сказал он ухмыляясь. — Или — сосед, вон за столиком». — Он мотнул головой на Федора, и Федор встретил тусклый голубенький взгляд, равнодушный, жесткий на добродушной роже. Тошнота, привычная, промозглая, мглой спустилась с потолка, онемел подбородок, рот, он тяжело поднялся, нащупал, взял куртку, вобрав голову, зашагал к выходу. «Посадят, зараза, языкастые, интеллигенция, сволочи, посадят, гады, про это... Про НЕГО!

Бетонный проспект вел чуть в гору, к вокзалу. «Скорее, скорее!» За сизой дымкой плавало солнечное пятно, свистели тени машин, в сером рябили красные размывы и гремел, хрипел, рубил железный марш...

И тут Федора настигло одиночество. Точно все бесчисленные этажи, витрины, манекены, чашечки, подносики, урны, светофоры — все разом замкнулось в бетонном колодце, гигантском, немом, где свой порядок раз и навсегда. Навечно. В колодце Федор не нужен никому. Даже солнце казалось электрическим пузырем, который подвесили над бетонной пустыней просто ради порядка, а не ради травы и деревьев. Хотя они и тут жили еще, но огороженные железом, залитые камнем, и странно было, что на липах вдоль тротуара набухли почки. «Куда ж нам?» — сказал им Федор с отчаянием. Он так устал, что не шли ноги. Он ничего не понимал.

* * *

На подходе к вокзалу навстречу шел офицер, и за пять шагов рука у Федора сама дернулась к козырьку,

еле он ее остановил. В стройбате старшина говорил: «Идешь в увольнительную — ворон не лови, приветствуй старших по званию. Устав знаешь?» Кто-то добавил: «А лучше дворами ходить!» — и солдаты засмеялись.

В вокзальной толпе Федор искал глазами военную форму, но не находил. У того офицера орденов не было, а вот у старика около ларька на мятом пиджачишке бряцали медали, справа — орден Красной Звезды и еще какой-то незнакомый. Федор подошел поближе. Старик весь был морщинистый, мосластый, глазки выцвели, Федор с гордостью таращился на его награды, удивлялся: «Как же такие старики воевали?»

«Поезд на Савелово отправляется с шестого пути!..» — заговорил радиоголос, и Федор пошел на посадку.

В поезде он дремал-спал почти до самого Савелова, просыпался, смотрел в окно, смотрел на девчонку напротив и опять закрывал глаза. Девчонка чем-то похожа была на Анку, хотя ее лица Федор точно не помнил, только глаза темно-серые да шею, маленькое ухо, запах тела и сенной трухи, чириканье ласточек под застрехой, румяные вечерние квадратики на Анкином плече, на слежалом сене. А сам он был почему-то еще пацаном в короткой рубашке и полотняных портках, и сено кололо сквозь рубашку, першило в носу, и он смеялся, а Анка превращалась в мамку, которая говорила сонно: «Не балуй, спи, што ли!»

Поезд дернуло, заскрипели вагоны, и все остановилось. Федор проснулся совсем: девчонки не было, выходили последние пассажиры, Савелово! Он вышел на платформу и узнал старые ветлы с грачиными гнездами — первое совсем родное после войны. У него перехватило дыхание, застлало глаза: с Волги медленно всплыл долгий гудок буксира. Пристань мало переменилась, только вместо дощатых сходней построили каменный причал, а речной вокзал остался прежний — деревян-

ный. Федор купил в буфете плавленых сырков, пачку «Беломора» и выпил два стакана ситро. «Беломор», чайки, баржа с щебенкой, серая река — все было прежним. И люди здесь были понятнее, вон хоть та баба в телогрейке или двое мужиков, которые сидели на бревнах и пили, разложив на газете закуску — селедку и обломанную буханку. Но главное — река, большая вода. Лед уже прошел, кое-где проплывали серые ошметки, вокруг свай толкалось крошево, мусор. Репродуктор играл марши, в мазутной грязи торчал обрывок троса, на бревенчатой стене висел синий плакат о спасении утопших.

Федор спустился к воде. Вечерело, против мыса мигал первый бакен, под сиреневой тучей с запада рябило желтыми бликами серый плес, и овевало оттуда сырой огромной прохладой, Волгой.

Речной катер сиял белой эмалью, в салоне было тесно, заставлено мешками — колхозники отоваривались к праздничку. Двое мужиков курили на полу возле двери, смеялись, видно, заложили уже малость. Федор прислушался к их разговору. Один, рыжеватый с проседью, помянул Устье. Под небритой щетиной кривилась дряблая щека, часто поплевывая, он рассказывал о каком-то тракторе, с которого пропили фары. Другой, в кепке на носу, подхохатывал.

— Не из Устья, отец? — уважительно спросил Федор. Рыжий глянул нахальным пустым глазом, и у Федора засосало под ложечкой.

— Ну? — выждал рыжий. — Может, и оттуда. А тебе што? — он оскалился жутко знакомо, будто из давнего сна, закончил с усмешкой: — Папаша!

Второй хохотнул, поперхнулся.

— У меня дружок был оттудова... — начал было Федор, все пристальнее вглядываясь в рыжего, который поднял бесцветные брови, растянул рот, и тогда сквозь испитое, щетинистое, с гнилыми зубами проступило розовое молодое лицо с белыми клычками улыбки, с шра-

миком под иежной губой, того одногодка, которого звали Петька Сигов, который... Шрамик остался еле заметиый, беловатый, а губы обметало, раздуло...

— Кто ж такой будет? — с любопытством спросил рыжий.

Федор достал «Беломор», полез к выходу.

— Покурю пойду, — ответнл он глухо. — Не то чтоб дружок, а так. Вам незиакомый.

Рыжий уднвлеино следил, как он выбирался на палубу.

— Кури здесь! — крнкнул дальннй Петькин голос, ио его отиесло моторами, утопнло в струе под бортом. Федор только рукой махиул: что бы он ни сказал — все равио как под лед прыгнуть.

Час н еще час стоял он на палубе, курил, следнл, как тоиет в лесиых испареииях отсвет заката. Утки — стая — мельтешили точечками на середиие водохранилища, студило от воды живот, грудь, костенели руки иа мокрых поручнях. Плескало н плескало в железиый борт, спускалась незаметно редкая тьма, закрывала лесиые берега, зелеиел огоиечек на встречной барже-самоходке, но скоро н его тоже ие стало видно.

* * *

Подвалнвалн полиой иочью, тропы не видно под иогами. По отсырелой луговине чавкали шагн, кто-то впереди подсвечивал слабым фонариком. Федор брел сзади, вытаскивал калоши из грязи. Передние разговарнвали, сыпались искры от папироски, рассмеялись, один кашлял долго. Может, и Петька Сигов. У отворотки на Новоселово они сгинулн, ушли. Медлеино светлело от луиы, на бугре стало видно щетиииу голого орешника, сосиы, засерела дорога, густо выбитая скотом. На околице белела свежеоструганная огорожа, справа зеленовато засветилась Волга, черные крышн вдоль берега — село Устье.

В деревне все давно спали, избы угадывались по палисадникам, Федор считал их, ждал старого колодца и ветел столетних. Колодец был тут, но ветлу спилили, а дом — вот он, его дом. Он подошел к высокому срубу, втянул прелую древесную гниль, сухой душок завалинки, где в пыли любили купаться куры.

Окна не блестели — их наглухо заколотили досками и дверь на крыльце тоже — крест-накрест. У порожка прошуршала по ногам прошлогодняя черная лебеда, он споткнулся о тележное колесо, снял зачем-то кепку, сильно растер лицо. Он долго стоял, прислушивался будто, потом постучал в дверь, потряс ее, погладил железку скобы, потемневшие тесины.

Дом не отвечал.

Тогда Федор обошел угол и через сломанную калитку протиснулся к воротам сарая. Ворота поскрипывали на ветру. Он вошел в теплую тишь, вытянув руки, ощупал детскую темноту, гладкий шелест соломы, шероховатую кору колоды. Спичка осветила верстак, скрюченный яловый сапог без подметки, нашест, густо засиженный курами. На краю верстака стоял чугунок с отбитым краем: из него мамка кормила утят.

Федор курил, моргал, следил за пацаном в ватинке, за босыми его ногами в цыпках, за рыжей кошкой, пересекающей солнечный столб поперек хлева. Корова равномерно пережевывала тишину, иногда что-то икало у нее в утробе, лиловый глаз матово-мудро смотрел из тени.

Скрипнула воротина, с реки донесло утиное кряканье, в гнилой тес бросило горсть мелкого дождя.

Засохший помет закаменел на верстаке, Федор поколупал его ногтем, заплевал окурок, поднял фибровый чемоданчик и пошел на другой край искать брата.

— Семеновы? — переспросил старик, вглядываясь сквозь темноту. — Да у нас их полдеревни! С катера идете? Припозднился нынче чего-то.

— Михаила Семенова дом.

— Это Лексея сына-то? Второй за сельпом. Во, белеет — тесом обшил. А вы кем ему будете-то?

Старик его не узнал, а он узнал старика: это был конюх колхозный Устюжин, по прозвищу Утюг, у которого обрывали антоновку. Маленькая головка старика серела от седины, костлявая рука терла подбородок, а глаза даже в полутьме поблескивали любопытством.

— Папироской не угостите? — спросил он прежним, чуть стертым голосом.

— Дома Михаил-то?

— Дома, надо быть — праздник. Ежли в Конаково не подался, то дома.

— А и до Конакова катер ходит?

— Зачем катер — он на своем моторе — чик — и тама.

Дом Михаила светлел новым тесом, попахивало сладко еловой смолкой, на новой застекленной терраске на стук в дверь вспыхнула лампочка, лохматый мужик в рубахе и кальсонах высунулся в ночь, спросил заспанно-сердито:

— Кого надо?

Вместо правого глаза белел огрубевший рубец, а волосы почти не поседели, черные, спутанные.

— Семенова. Михаила. Михаила Алексеевича...

— Ну я, а тебе чего?

Федор проглотил слюну:

— Это я, Миша...

Михаил взялся за скобу, помолчал, отхаркнулся.

— Кто — я? Нечего по ночам тюкать. Нажрались! Ты, что ль, Венька?

— Я это. Федька.

Кривой мужик еще раз хакнул горлом, вцепился в рукав, вытащил на свет. Живой его глаз буравил, искал, потом заморгал.

— Не признаю... — сипло сказал он, — нет, а может?.. — Федор смущенно улыбнулся, он отстранился, ахнул: — Ты?! Федька? Живой? Неужто ты?

У Федора ослабло внутри, опустились плечи, не стирая улыбки, он жалко снизу вверх смотрел на брата блеклыми выпуклыми глазами. Михаил порывисто обнял, неловко прижал, потянул на терраску:

— Ты? Пойдем в избу. — Он говорил теперь почему-то шепотом. — Нет, не сюда — там пусть спят они.

Он провел Федора в боковушку, включил лампочку. У стены стоял улей, стружки шуршали под ногами: в холодной боковушке, видно, никто не жил.

— Вот садись на табуретку, я оденусь пойду, ну и дела, Господи!

Он еще раз ожег одиноким глазом и вышел.

* * *

Они сидели под стоваттной лампочкой в нежилом прирубке, где пахло стружками, столярным клеем и пчелиным воском. На стене тикал черный ящичек, бегала в нем за стеклом красная дужка. Федор все озирался, отвечал невнимательно: он искал чего-то знакомого и не находил.

— Куда ж направили-то тебя?

— В военкомат.

— Значит, как демобилизованного? Ха! Через шестнадцать годов! Значит, и паспорта нету? Так. Что ж, бумагу какую дали?

Михаил долго читал направление, выписку из истории болезни, шевелил губами, потом отложил, странно глянул, сказал: «Вон оно как!» — и внезапно вышел. Вернулся он с бутылкой самогона и тарелкой кислой капусты. Под мышкой нес полбуханки черного.

— Посуду и здесь найдем. Так, значит, и дом наш посмотрел? Все гнилое, хотел перебрать, а теперь думаю на дрова его пустить, чего там брать-то...

Он все будто чего-то не договаривал, поеживался, как от сквозняка, черный глаз мигал растерянно, вздернулась горько бровь.

— Ну давай, брательник, за встречу: явился с того свету!

— Нельзя мне пить, Миша...

— Врачам не верь! От питья одно здоровье. Давай по маленькой.

Теплым беззаботным кругом пошла голова, кивало, ухмылялось одноглазое лицо — брат или не брат? — тикал черный ящичек красненькой жилочкой.

— А это что?

— Это? Счетчик. Копейки наши считают. За трудодень бывало... Да ты ешь, капуста-то своя, ушел я из ихнего колхоза, ешь!

Федор ел жадно, глотал, не прожевывая. Михаил подлил себе, смотрел, покачивал лохматой головой.

— Оголодал в своей больнице? Меня-то в сорок третьем вчистую, — сказал он с гордостью. — Вот глаза нету, а все могу. На Курской дуге. Слыхал? В танковой я служил, в связи. А тебя где?

— В Польше.

Они помолчали, слышно было, как глотает Федор хлеб, как шуршит дождичек весенний по стеклу.

— Кто вернулся-то? — спросил Федор, отодвигая пустую тарелку.

— Кто? Да почти никто... С нашего году трое из ста, говорят... Вот я да ты, а еще Петька Сигов из Новоселова. На протезе шкандыбает Венька Крюков, старик Юрлов, тоже, он прошлый год только помер. Наших-то мало кого... Валерку помнишь? Зыкиных? Ты с ним в школу ходил.

— Помню...

— Его уже в самом Берлине убило. Саньку Семенова и Кольку, двоюродных, одного под Минском, другого в Румынии, с моего году только я да Гришка вернулись. Помнишь Гришку? На лесопилке работал.

— Нет...

— Давай еще по маленькой!

После третьего стакана Михаил опьянел, стал хвас-

тать хозяйством и вдруг надолго замолчал, потом смущенно спросил:

— Где ж проживать думаешь теперь? На работу тебе надо поступать, Федя. Ты работать чего можешь?

— Не знаю...

Михаил нахмурился, поковырял пальцем сучок в столешнице:

— Твоя-то замуж вышла, я отписал тебе... Мать на нее обиду взяла, ну она и подалась к мужу на завод. В поселке живут, на «Первомайской». — Он глянул, но брат в лице не менялся, слушал терпеливо. — За Тольку Воротникова, моторист он, на войне не был по здоровью, у них и Зойка твоя росла, а может, и не твоя — поди разберись теперь... Ты-то сколь с ей жил? Неделю? Да у них и своих законных трое. Тебя-то когда еще похоронили... Господи, да как же быть теперь? Выпьем еще?

Федор молчал, смотрел все так же терпеливо, будто не про него шла речь.

— К ней пойдешь? К Анке?

— Н-не... Не знаю я... А Зоя в сельпе?

— Да. Завтра позовем ее, поговорим, посмотрим, устроишься. Ты не думай, что я...

— Не надо. Пойду я уже...

— Куда «пойду»? Окосел уже?

— Не знаю... На пристань...

— Сядь! Давай допьем ее... Да сядь ты! Тут без поллитра не разберешься. Ложись, здесь и поспишь на стружках, я тебе одеялку дам. Завтра поговорим кряду — и дело. Документ-то спрячь — я-то верю, а другие... Шестнадцать лет без памяти! Другие-то нипочем!.. Да и я не прост, но верю!

Михаил грозил кому-то пальцем, ухмылялся хитро, черный одинокий глаз помутнел, щурился тоскливо. Тикал в темени проклятый ящичек, кружила в нем красная змейка, голос Михаила теперь лубяной, драный, бубнил назойливо о колхозе, о сельмаге, и хотелось спрятать

всего себя от этого голого электричества, от слов, лиц, глаз, вопросов и ответов, от ночной глухой темени за окном. Федор лег, от канистры в углу попахивало бензином, сеял дождичек по срубу, по ночным проселкам, которые ни к кому не вели, по моховым огромным болотам, которые тянулись до Оршинских Мхов на север, на десятки верст.

* * *

Сугробы были голубые, а деревья — темно-синие, а в середине горел огонь-цветок. Горел костер восковых свечей в темном устье церковного входа, пели и кланялись головы в платках, пар светился от пения, и было чудно и легко, хотя слипались веки.

Над огнем просвечивали пальцы рук, а спины сзади чернели постепенно до гущины, лопались угли, вспархивали вверх искры.

Песня из-под снега выбивалась к огню, суровая, протяжная, как дорога на передовую, а головы все кланялись, крестились сухие руки, мамка шептала, плакала рядом, хотя ее не было видно.

Федор скинул карабин, тоже протиснулся в круг, присел на корточки перед угольями. Он узнавал все лица — потупленные, серьезные, с зрачками, притянутыми видением в середине костра. Искры сыпались в темную трубу леса, с треском гасли меж еловых крестовин, курился ладанный дымок, пение наплывало из глубины времен, возрастало, откатывалось, затихало в зимних полях.

Хруст чьих-то шагов, бормотанье танковых моторов, кашель и бабье причитанье и радость от мамкиной плюшевой кацевейки, которая касалась щеки, когда она поднимала руку — все сливалось весенней ночью. «Братцы!» — сказал он, и лица у костра повернулись к нему. Теперь Федор хорошо их видел: морщинки меж бровями, твердые губы с усмешкой, дружеские зрачки. Они все были старшими, все его знали и в обиду теперь не дадут. А сзади стояла мамка в праздничном платке с ва-

силками и тоже ему улыбалась: ведь он вернулся совсем. Он там побывал и вернулся. Зачем говорить, где **там**: все они это знали. Только тех, кто там побывал, ждали они у костра.

В золе дотлевал сучок, словно свечечка, трава заиндевела у корней огромной ели, звезды колыхались вверху от теплого дыхания, а солдатские глаза все смотрели туда — в зарево древнего входа, и превращались в детские, отражая медленное приближение чуда.

Напев все еще звучал в нем, когда он проснулся и увидел затоптанный пол, стружки, ножку стола и пустую бутылку из-под самогона.

* * *

Ночной теплый дождичек промыл голубизну, зазеленели дали, в огороде парило над рыхлым черноземом вскопанных грядок.

Федор вышел во двор, потянулся, вдохнул поглубже, и вся муть выветрилась, канула без остатка. Медленно обошел он двор с высокой поленницей и кирпичной дорожкой к хлеву, постоял у кадки с водой, на задах долго смотрел на пойменную низину с баньками над урезом воды. У Михаила банька была с трубой, новая, топилась по-белому. Вот бы попариться! Но сегодня всем не до этого — праздник. Он пошел в дом: завтракать позвали. Михаила не было, жена его, Анисья Павловна — толстая баба с плоскими волосами, — налила молока, наложила горячей картошки с салом. Она потчевала, с гордостью скромно говорила:

— Медку отведайте, взяток был хороший летось, — и наблюдала исподтишка, как он ест. Васька — пацан, племянник, открыто изучал Федора, набив рот, торопясь куда-то, слушал, что он скажет. Но Федор почти не говорил: крепкое хозяйство брата (холодильник даже есть!), опрятная горница с телевизором, вопросы-намеки Анисьи Павловны — все было точно на том берегу. Что-

то бродило в нем где-то глубоко, но сильно, словами этого не скажешь...

Играло без передыху радио, марши и песни, и речи, и опять марши, и солнце сквозило сквозь тюлевые занавески, и по грязной дороге мимо окон проходили нарядные бабы и уже выпившие (но на прямых ногах), побритые мужики. Было 2 Мая, гуляла где-то гармонь, мотоцикл красный с ревом промчался, чуть не задев палисадника. Праздник.

Михаил еще затемно уехал на моторке в Конаково, на другую сторону Волги, перед отъездом долго шептал жене в ухо: «Ты тут приглядывай — он в «психушке» шестнадцать лет просидел, документ, может, и настоящий, а может, и липовый, я с Яшкой потолкую и обратно — он головастый, документ это что — а может, он в плену был? ... да нам какое дело... у Зойки жить не желает, да и ей своих хватает, не говорит толком, куда пойдет, ты Зойку упреди — може, она придумает чего... Но и я его не брошу, нет, это ты заруби, смотри, не проговорись ему, ну, я поехал!..

Подоив корову, Анисья Павловна сходила к Зойке, но та, услышав: «В психушке» — затрясла головой, испугалась. «Куда он мне, где с ним жить-то? Да я и не знаю... Пускай к матери сходит на завод. Ладно, зайду, да пусть он у вас побудет пока, праздник: мужик-то мой с утра уже набрался... ладно, поглядим...»

Федор ничего этого не знал. Он сидел в горнице, разглядывал фарфоровых котят на комоде, пикейное покрывало, никелированные шары городской кровати, плакат вместо божницы в углу: красный рабочий жмет руку красному негру. Да, на избу и не похоже. Федор робел братниной супруги, когда уже за полдни захотелось есть, ничего не попросил — ждал, что позовут обедать, но Анисья Павловна чего-то пожевала тишком на кухне и на стол не стала собирать. В кухню часто кто-то входил, заглядывал в дверь горницы на Федора, о чем-то шептались за тесовой перегородкой бабы. Сначала Федор их

не замечал, а потом почуял, что это про него: заглядывали все старухи, вдовы, наверное, горестно кивали, одна поздоровалась, вглядываясь странно, но тоже не вошла. Он уловил, как она сказала хозяйке: «До чего на Лексея-то похож!» — и стало ему неспокойно, неловко. Он взял кепку и вышел на улицу.

Высокое майское солнце сушило грязь, изредка забегало за облачко.

У прогона к Волге стоял новый магазин — сельпо, за ним — тара, ящики пустые, бочки и трактор с прицепом. На куче битого стекла вспыхивали искорки, две куры рылись около штабеля торфяных брикетов. За сельпо на зеленеющем бугре кирпичная церква с лозунгом над дверью — клуб. На порожке сидели молодые ребята, один растягивал гармошку, перебирал одно и то же, смеялись две бабы в свежих косынках. Они стояли посреди дороги, одна оглянулась на Федора, но он не заметил: смотрел на церкву-клуб, куда ходил он с мамкой еще малым пацаном на заутреню, а потом не ходил. Ее голубой куполок первым всплывал над осинником, когда возвращался он из школы из Новоселова. Сейчас по первой прозелени вилась к клубу серая тропка, а по тропке шла девчонка, и у Федора екнуло в груди: «Анка!» Шла она, легкая, пряменькая, отмахивая шаг левой рукой, покачивая бедрами под тонким ситцем. Он ускорил шаг, но сдержался, закусив губу, краснея. «Анка, Анка!» Из-под тяжелых век смотрят ее серые глаза, чуть светятся чистые зубы в полуоткрытых губах, пушатся волосы на висках, и Федор останавливается, ожидая сам не зная чего.

Выстрелы, рев, он отшатнулся — из-за угла вывернулся красный мотоцикл, прыгая на буграх, опахнул пылью, лихо тормознул у сельпо. Пацан лет пятнадцати сдвинул очки на лоб, что-то крикнул Федору, толкнул зеленую дверь в магазин.

Федор еще постоял немного — никак не стихало сердце, дрожь в пальцах. «Эк меня разбило! Да, живут: ма-

шика-то новенькая. И такому пацану такую машину?» Он вспомнил, как старый велосипед — гордость Валерки Зыкина — они выпрашивали в очередь покататься. Но сейчас не смог бы он на этой машине ездить — голова кружится...

По случаю праздника в магазине толкались почти одни мужики, только две бабки жались к стенке. Брали водку, консервы, хлеб не завезли еще, колбасы не было.

Федор встал в очередь. Какой-то дядька в плаще нараспашку позвал:

— Зой! Килек еще баночку! — и Федор вскинул глаза. За прилавком стояла рослая белобрысая молодуха в синем халате.

— Рупь двадцать! — сказала она, и по нутру ударил ее сипловатый голос, ядовито-розовый воротник кофточки; на толстом лице царапинка возле ноздри, светлые глаза смотрят весело, жестко. «Нет, не она...» Брови подбриты, из-под беретки торчат мелкие кудряшки.

— Еще одну, Зоечка!

— Куда лезешь — все за этим стоим!

«...Может, твоя, а может, и не твоя», — с усмешечкой говорил Михаил. «...Нет, не моя, — нехотя думалось Федору, — что-то устал я с утра, а может, и моя, кто там разберет, что с того, что не разберешь, не поймешь, не узнаешь...»

В углу на полу спал сидя пьяный, белели позвонки на угнутой шее, все переступали через его вытянутые ноги, все были возбужденно-озабоченные, красные, смелые. И никто ни о чем не догадывался. Но где-то сзади зашептались, зашевелились по-иному, старуха кивала на кого-то, Федор покосился и понял — на него. В магазине стихал гомон. Зойка щелкала на счетах, очередь перестраивалась, расступалась, и Федор оказался у прилавка с нею один на один. Вскинулись светлые глаза, равнодушно отметили: «Чужой», продолжая щелкать, спросила:

— Вам что?

Он хотел бежать, но сзади дышали в затылок, нажимали, неистовым любопытством светились глаза у бабки, которая его узнала.

— Консервов две банки, хлеба, конфет полкило, — сказал он — не он, а язык сам собой, а он был как бы и здесь и уже не здесь; горели кончики ушей, переминались ноги.

— Хлеба нет. — Она выкинула сдачу. — Ну, чего встали, тебе чего, дядя Митя?

На воле он долго щурился на искристое заречье, курил, тихонько сдувались с папиросным дымком ненужные мысли. «После, после, — шептал он, успокаивая себя, — завтра, после...» Задами вдоль реки побрел домой, разглядывая баньки, вешала для сетей, лодки в затончике. На скамейке у их дома сидели три бабки, они закивали, поздоровались хором, и Федор поскорее вошел в дверь. Анисья Павловна сидела в чистой горнице, сложа руки под толстой грудью, кошка терлась о ее ногу, курлыкала, как мотор.

— В магазин ходили?

— Да...

— Зою-то видели? Как она — признала вас?

— Где ж ей меня признать...

— Да уж... Ну, посидите, коли так. Михайла-то нету все, черта, опять, видно, загулял.

Федор маялся в этой чистой горнице с навсегда замазанными окнами, разглядывал все бесцельно. В простенке в раме под одним стеклом висели фотокарточки, он подошел, замер: молоденький солдат в шинели смотрел в глаза, пилотка — чуть набок, лоб — гладкий, над губой — прыщик. И ухо торчит, а сапоги — великоваты. Это был он сам. Федька, на базаре в Сандомире. Рядом другие карточки: застолье, Михаил в новом пиджаке, одноглазый, дядя Митя, тетя Настя, мамка... А вот и еще она, но в гробу. (Он медленно отвел взгляд.) Плотный мужик, кучерявый, лобастый, а рядом какая-то женщина в шали, отекшая, скучная, взгляд равнодушный.

Где он ее видал? Кто это? Тетка Лиза — теща — мать Анкина? Нет, не она.

— Кто это? — спросил он громко.

Анисья Павловна подошла, вгляделась.

— Это жена ваша. Бывшая. Анна. А это — евойный муж.

— Вот этот?

— Да. Анатолий. Позапрошлый год сымались — ездил тут один — сымал карточки за картошку...

Михаил приехал поздно вечером — лыка не вязал, как он еще лодку сам довел — непонятно было. Жена кормила его на кухне, зло стучала посудой, попрекала:

— Нажрался опять, кривой черт, чего ты не видел в этом Конакове, и этот сидит, к Зойке не идет, и она тоже глаз не кажет, чего мне с ним тут делать, а тебе и горя мало, черт!

— Ну, ну! — лениво отбивался Михаил. — Заладила сорока Якова, чего он тебе помешал? Проспимся — видать будет.

— Видать! Много ты видишь!

Федор все это из горницы слушал. Анисья Павловна вошла за чашками, сказала спокойно, вежливо:

— Чайку не попьете с нами?

— Нет, неохота...

— Ну, как хотите. А ночевать к Зое? Или как?

— Чего привязалась к ему! — грозно крикнул Михаил из кухни. — Иди, Федь, выпьем за праздник!

— Я спать пойду, — сказал Федор. — В прирубке, как давеча... Можно?

— Ложитесь, что ж — место не пролежите.

Глаза у Анисьи Павловны были, как у тех, в метро — смотрели и не видели. Как песчаные камешки.

* * *

Ночью в пустом прирубке Федор смотрел в темноту, то спал, то не спал, слушал, как потрескивает где-то в

срубе, как вздыхает в хлеву корова, а иногда проваливался в яму, и тьма садилась на вздох, как пудовая баба — Анисья Павловна. От нее пахло луком и бензином, и говорила она не словами, а клейким газетным шрифтом, который прилипал к пальцам, и на ладони отпечатывались вверх ногами мелкие буковочки. Федор не хотел их читать, он просил ее слезть — и проснулся: кто-то дышал, шарил ладонью по стене. Голым светом ударило по глазам, Федор, прижмурясь, разглядел брата в нательной рубашке. Михаил нетвердо шагнул, сел на край матраса, долго чиркал по коробку — прикуривал. Лицо его побурело, отекло, из незрячего глаза тянулась по щеке влажная полоска, он что-то попытался сказать, но закашлялся, затрясся, и Федор понял, что брат — плачет. Ему стало боязно.

— Что ты, Миша, что ты? — шептал он растерянно. Михаил сжал лицо в ладонях, сидел, покачиваясь, глухо, грубо пробивались всхлипы, точно его изнутри рвало, выворачивало нечто, что он в себе давно задавил, забыл.

— Федька,.. маманя-то... Федька... не дождалась... — пробивалось отрывками. Папироса свалилась на пол, тлела возле стружек. Федор дотянулся, загасил ее.

— Избу сожжешь, Миша, что ты, что?!

Михаил отнял руки, мокрое ослепшее лицо его исказилось:

— Хрен с ней! Им только жрать, жрать, да деньг, денег, все об одном, сука, а о людях ей до лампочки, как же так я попал, как же это, а?! — Глаз его одинокий разлепился, ожег черным отчаянием. — Федька, братељник, не отдам им тебя, братик, ах сука, сука! — И он опять согнулся, глотая пьяные, но честные выкрики, лохматая тень закачалась по стене, а Федор смотрел и смотрел, и мелкая дрожь стала бить его из живота до затылка, и веки тоже смаргивали мутную влагу, теплую, едкую от жалости и безысходности.

Постепенно Михаил успокоился, снова закурил, долго

молчал неподвижно, потом неумело погладил брата по шее, сказал хрипло, жестко:

— Хрен им, Федька! Спи — не бойся. — И вышел.

* * *

Когда рассветом тронуло окно, Федор нащупал свой пиджачок, ботинки, обулся, взял фибровый чемоданчик и неслышно вышел во двор. Было студено, тихо, вверху еще не пропали звездочки, чуть зеленело за Волгой по обрезу облачной воды.

Федор шагал все размашистей, только около родительского дома приостановился, посмотрел на забитые окна. Уже развиднелось, и стали видны серые дранки крыши, плесень на колоде, стертые ступеньки крыльца. Когда-то в этом доме в эту пору просыпались, зевая, шаркали босыми пятками по половицам, в хлеву звенели струйки в подойнике, темные стекла подсвечивала смолистая лучина — растопляла мамка печь. А теперь — пустая хоромина, никого, ничего нет. Что ему тут делать?

Он решительно одернул козырек на нос, крякнул, пошел прочь.

К заводскому поселку «Первое мая» провели теперь шоссейку. Раньше тут стояли сосняки, попадались и ели в два обхвата. Теперь щетинился мелятник осиновый, осока глушила старые пни. Раньше петлял тут проселок — две колеи тележные, а теперь — асфальт, пленочка бензиновая на лужах, столбы с белыми изоляторами — электролиния. На одном — квадратик с черепом и красным зигзагом. «Не трогать — смертельно!» Раньше жили в Устье с керосином, а теперь свет, телевизоры, кино привозят. А тогда они в поселок бегали кино смотреть за шесть километров. Какие были картины: «Красные дьяволята», «Веселые ребята», «Дети капитана Гранта». «Паганель!» — сказал Федор и засмеялся. Не доходя до поселка, мыли ноги в ручье, обували ботинки.

На торфяной фабрике ребята их ловили, но когда с новоселовскими ходили кучей, то боялись ловить. В кино мамка давала денег — отец сердился за это, да еще когда с уроков сбегал. Но не бил никогда.

Дорога из леса вышла на берег Сози, и стали видны дома, новые — пятиэтажные и старые — деревянные, а справа за ними — громадные трубы, и узкоколейка через пойму по насыпи, и вместо старой сосны — водонапорная кирпичная башня.

На рельсах узкоколейки чернели вагонетки с углем. Солнце брызнуло по пойме, по сосновой опушке на том берегу, в речном тумане зажглась, заискрилась медленная вода, и Федор прижмурился, улыбнулся.

Поселок еще спал — шел третий день праздника, алел лозунг на серой заводской стене, у остановки автобуса одиноко торчал какой-то старикан в кепке. Он был трезв и зол: автобус по случаю майских дней отменили: об этом, сказал он Федору, на бумажке написано, на столбе, а кто ее, эту бумажку, заметит, махонькую такую? и кто им право дал — отменять? и писать надо на таких деятелей в газету, а не то и повыше, мать их так и эдак! Федор слушал и удивлялся, как можно так переживать такую мелочишку, а потом спросил, зачем же здесь стоять, если автобусы не ходят?

— Зачем? А может, и придет. Не первый раз так: написано не придет, а он и заявляется. Или так: ничего не написано, не отменили, а он не приходит. Вот я и жду, — объяснял старикан. — Куда путь держите?

— В военкомат, в Рождествено.

— Восемнадцать километров. Да по грязи. Вот и жди автобуса.

Солнце уже доставало через крыши и сюда, чуть пригревало щеку, в палисаднике напротив остановки возились, чирикали птахи, где-то с задов взмыкивали коровы, щелкнул бич, порозовели макушки берез за домом с синими наличниками.

— Раньше в Рождествено всегда пешком, — сказал

Федор задумчиво. — Автобусы тогда не ходили. — Он говорил, а сам себя не слышал: Анка с карточки представилась ему, незнакомая, опухшая, с выпуклыми скучными глазами. Нет, это не она.

— Раньше! — сказал старик и сплюнул на столб. — Мало ли чего было. А теперь обязаны...

Федор его не слушал: какая-то баба пожилая шла на них из глубины серого проулка, медленно, устало, на плече наперевес несла бидоны с молоком, голова замотана шалью, чернеет дыра рта, глаза смотрят мимо, безучастно. Может, это Анка, Анна?

— Ну, пойду я, — торопливо сказал Федор, — пойдет автобус — подсадит, прощай, дедушка!

— Постой, — неужто пешим пойдешь? Далеко, брось! — говорил старик, но Федор уже ходко шагал прочь по асфальту, а потом на отворотке — по грунтовой разъезженной тракторами дороге. Когда миновал последние спящие дома и увидел взбороненное поле, а справа — синь, истончавшуюся в далях — леса и леса, то словно слезло что-то с плеч, и ноги пошли еще шибче.

В Рождествено вела дорога по нежилым лесным местам, только одна деревня — Хорошово — попадалась на пути. Федор пошел потише — стало припекать спину; по мягкой пашне бродили грачи, земляной мягкий дух охватывал все тело, на вербах белели зайчики-пухлячки, в канаве заиленной хоры лягушачьи смолкали от шагов и опять зачинались сзади. А справа все ближе к дороге подходили леса, еловые, с березками на опушке, розовеющие от восхода. Леса эти шли на много верст, до самых Оршинских Мхов, до озерного края. Еще пацаном Федор ходил туда с отцом на косачиные тока, а осенью — за клюквой раз ходил с матерью и Анкой, и все это вышло и встало живым, смолистым, утренним, так, будто воскресло навсегда в глазах, в крови и дыхании. Он забыл все мысли, всех, кто был вчера и позавчера, потому что шел и видел не эту дорогу, а то первое лесное озеро, на которое вышел с отцом.

Было оно километрах в десяти от Бортникова — хутора лесного, — синее-синее, но черное под берегом, и все в рыжих торфяниках. Шли они туда мхами, болотами, меж редких худосочных сосенок. Ронгва — ледяная корка в болотах — еще не растаяла, держала, и шли они с отцом над топью твердо, легко, давили мороженую клюкву по кочкам, а на перекуре — собирали ее и сосали вместе с пресным ледком — жажду утоляли. Спали в шалаше, на хвое, сухой утренник щипал губы, утки свистели по звездам над самым лесом. Вот бы куда забраться и заснуть надолго, на тыщу лет... А на другой день нежданно из черноты еловой вышли на синий свет озера; недвижная вода купала высокое облако, опрокинутые ели стерегли тайную глубину, щука ударила в заливе, и круги побежали до самого зенита, где плавало солнечное пятно.

Тешелево озеро — вот как оно называлось. Первое, а за ним много других, безымянных.

Деревня Хорошово и до войны была небольшой, а сейчас изб восемь осталось. Стояла она на хорошем месте — на бугре над ручьем, близко к огородам подступал густой сосняк. На задах у одного дома две девчонки сажали картошку, Федор спросил, где можно молочком разжиться, и старшая сказала:

— В крайней избе спросите, на выходе, справа, а мы не держим.

Он еще раз глянул на них, хотел попросить хлеба, но не стал.

Крайняя избушка — невеликая, ветхая, но вся чистенькая какая-то, стояла на отшибе. На крыльцо вышла бабушка в чистом платке, такая же маленькая и чистенькая, загорелая, глазки-василечки — живые, умные. Она всмотрелась из-под руки, ответила:

— Продавать — не продаю, а так испей, молоко утрешнее, свежее.

Сидя на приступке, Федор пил молоко прямо из крин-

ки, жевал домашний духовитый хлеб с привкусом печного уголька, наслаждался, отдыхал.

— Автобус нынче не пошел, куда ж ты в одних ботиночках шагаешь?

— В Рождествено в военкомат.

— А сам-то откуда?

— С Устья.

— Чей же там будешь?

— Семеновых.

— Не Ильи ли?

— Не, это какого? У отца старшой братан Илья был.

— Так не Лексея ли ты сын?

— Я. А вы его знавали, бабушка?

— Как не знавать... У меня сноха сама устьинская, родами померла.., еще до войны энтой окаянной померла. А внучок-то остался, отрада наша... Илья-то был чернявый, а твой-то батя посветлее, как же не помнить — мы на престольный к вам, бывало, ходили, гостили не раз в Устье-то... Отец-то жив?

— Не, еще до войны помер.

— Так, так... Помер. Мой-то хозяин тоже до войны помер, царство небесное, в котором году — не помню, а сынов двое на войне убило, только дочь осталась, в Калинине живет. В военкомат, говоришь? В таких годах, а все воюете... Мой-то старший моложе тебя был, на этих — как их? — на «катюшах» служил. Тоже офицер был...

Федор пил молоко, слушал, смотрел туда, где дорога опять убегала в лес, в сосны; голос бабушкин — мирный, глуховатый — ничему не мешал, над лужком за деревней плавали, снижаясь, плакали-кричали два чибиса. И все заглохло от рева, который вспорол небо: слева изза леса росли, уходя в зенит, две белые стрелы — следы двух реактивных, и третья их догоняла, догнала в высшей невидимой точке, перегнав гром, который эхом затихал за горизонтом. Федор, задрав голову, все ждал

еще чего-то, бабушка вроде и не слышала ничего, не видела.

— ...Илья-то был непутевый, — говорила она задумчиво, — но девки его любили, ох как любили! А Лексей хозяйствовал — отец-то ево — тоже Лексей — на Сози муку молол, да мельницу у его сожгли, кто их знает, кто это...

— Полетели! — сказал Федор с тревогой и восхищением.

— Кто?

— Самолеты — вон след-то. Ну и высота!

— Какой год все летают... Не хошь еще молочка-то?

За Хорошовом был перелесок, а потом — поле, вспаханное под лен, и здесь, на просторе, Федор присел на кучу щебня, снял кепку.

Сгорбившись, прищурившись на блике в луже, он расслабил руки и плечи, словно вышел из-под бомбежки. Внутри все еще стоял реактивный гром, но все тише, дальше, и дрожь стихала. А бабушка и не заметила ничего. Да, вот и живут люди, все равно живут, лен сеют, картошку сажают, собираются на праздник либо на поминки, мирно живут, не суетятся... Чего эта бабушка знает, того не расскажешь, ничем ее не испугаешь, не удивишь, а глаза-то добрые-добрые, старые, но все видят...

Федор поднял голову, огляделся: вот с этих мест или чуток подале надо было сворачивать к северу, если на озера идти. Сперва по просеке, а дальше — гарь, а за ней мхи, клюквеники...

За Тешелевым озером было озеро Глубокое, с островами. Там испокон века жили лесные рыбаки, окуней черпали пудами, возили по зимнику в Тверь. Летом до них и не добраться — сколько кругом болот, а в болотах — окна: ввалишься, и не найдут. Отец говорил, что мужики эти страшные, нелюдимые, но если заблудишься — не гонят, черникой напоят, помогут выйти. Боле всего дорожат они водкой — магазина у них нет и не

было — какой туда завоз? Муку завозят тоже зимой, хлебы пекут сами. Как бабушка эта.

«Чего мне сегодня в Рождествено делать? — думал Федор лениво. — Военкомат закрыт, ночевать негде. Чего я там потерял?»

Но он заставил себя встать и поплелся дальше. Бывало, пробегал он до Рождествена за три часа, а сейчас и полдороги не прошел, а ноги опухли. «Не мои это ноги, нет — не мои!» — огорченно шептал Федор, покачивая головой. Поля кончились, опять один лес по сторонам, сосны стали реже, ели гуще, вдоль канавы серели лозняки с пушистыми почками, солнце пятнами кое-где пробивалось на тракторные колеи ухабистой дороги.

Ноги разошлись, подчинились приказу, шагай, шагай, Федор, в ногу, не думай, не вспоминай, шагай под песню, догоняй своих — по этой дороге прошла рота на отдых, с передовой на отдых, заслужили, заработали, мир голубеет сквозь хвою, в солнечных пятнах, в просыхающих опушках — мир, покой, шагай, Федька, догоняй своих — они в тебя верят, ждут, слышишь:

...У незнакомого поселка,
на безымянной высоте...

Федор шагал, отмахивая рукой шаг, сдвинув кепку на затылок, глаза щурились на просветы меж елей, на солнечные прогалы, в душе напевало грустно, прекрасно, само собой:

Мне часто снятся те ребята,
друзья моих военных дней,
землянка наша в три наката,
сосна сгоревшая над ней...

Слов не было — один напев, и лица, лица, знакомые, молодые, и опять — ели, березнячок, можжевеловый куст, кострище на обочине, пни на вырубке меж молодых сосенок.

На развилке он остановился, поколебался и пошел

влево: дорога туда была лучше укатана и лес пореже. Желтые синицы лазали по кустам, крупный лес кончился, стало опять припекать шею, и тут он заметил изгородь из проволоки-колючки. Над серым осинником упиралась в голубизну вышка с решетчатыми ушастыми раскрылками. Раскрылки медленно поворачивались, прислушивались к небу: «Стой!» — услышал Федор, но он и так уже стоял, потому что заметил бойца с автоматом, который подходил к нему из кустов. Пилотка другого бойца маячила над лозинами.

— Куда шагаешь? Документы! — строго спросил сержант, оглядывая лицо, ботинки, фибровый чемоданчик. Федор поставил чемоданчик и полез в карман, все лицо его улыбалось, глаза с любовью осматривали солдат: их мундирчики ладные с золотыми пуговицами и красными погончиками, автоматы, подсумки, и особенно молодые, неумело нахмуренные лица. — Откуда шагаешь — сюда нельзя! — сказал сержант. Был он так похож на сержанта Веньку Савостина, такой же конопатый, белобрысый, только глаза с городским прищуром. — В Рождествено я, — сказал Федор. — На перекомиссию, в военкомат.

Он все улыбался, роясь в кармане. Глаза у сержанта повеселели, стали голубыми, деревенскими.

— Что — на войну собрался, дядя? — сказал он, закидывая автомат за спину. — На Рождествено — правая дорога, а сюда нельзя — запретка.

— Да вы, ребята, не серчайте — дорога сюда лучше, вот я и... Я тут раньше не ходил, а там ходил, но давно, автобус сегодня не пошел, вот я и пешим ходом, по солнышку!.. — Федор говорил, что на ум взбредет, лишь бы подольше постоять с этими ребятами.

— А в чемоданчике что? — спросил второй солдат, толстощекий, черноглазый. Федор с готовностью раскрыл чемоданчик, вытащил пару белья, носки. Еще там были две банки консервов, мыльце в пластмассовой мыльнице и пачка «Беломора».

— Ладно, закрой, — сказал сержант. — Сам-то откуда, дядя?

— Из Устья, это на Волге, за «Первым маем».

— Знаю. Работаешь там?

— Нет, из госпиталя я, там у меня... Жена там была да ушла, вот теперь я... Свободился теперь! — сказал Федор радостно, и оба солдата улыбнулись.

— Ладно, шагай отсюда, на знаки смотри, — на развилке знак есть.

— Буду смотреть, ребята. Как служба?

— Служба идет, а солдат спит, — сказал сержант и подмигнул.

— Ну, пока вам, ребята, чтоб все в ажуре было, пока, — растроганно говорил Федор. На повороте он обернулся и помахал им. Патрульные смотрели ему вслед.

— Блажной дядька, — сказал солдат.

— С «приветом», — подтвердил сержант.

— А может, охмуряет?

— Не. Я сразу приметил — по глазам. Чуешь? И про жену он так!..

— Да. Ну, пошли — еще сорок второй осмотрим — и амба, — сказал черноглазый солдат. Они сошли с дороги на тропку в густом ивняке, зашуршали прочь. Солнце раз и два вспыхнуло на автомате, на золотой пуговке погона.

А Федор шел и думал. Талым ветром выжимало слезинку под веком, пищали в лозняке синицы, мягко светило небо по прогретым опушкам. Тихо было, и словно вообще никого на свете не осталось: голова тикала-разъясняла безжалостно, что никогда он свою роту не догонит. Но когда он вспоминал лица молодые этих солдат, он голове не верил, и опять начинал улыбаться.

* * *

На развилке действительно к столбу прибиты две таблички со стрелками: на одной ПРОЕЗД И ПРОХОД

ВОСПРЕЩЕН, на другой: г. КАЛИНИН и пониже, помельче: «с. Рождествено 7 км».

Налево нельзя — запретзона, прямо нельзя — военкомат, перекомиссия, вопросы исподтишка: «что сидится?», «кем работали?», назад нельзя — Анисья Павловна, толстенная, мертвоглазая, шепоток за спиной: «в психушке сидел».

За дорогой — заболоченный лужок и ельник — леса до самых голубых озер, где спали с отцом в шалаше, на косачином току...

Федор перепрыгнул канаву и пошел через лужок к лесу. На южной опушке на березках уже зеленели почки, но на еловой просеке было прохладно, сыро, в темном овраге еще серел съеденный снег, зернистый, осыпанный еловыми летучками. Федор снял кепку, холодок пробрал сквозь волосы до корней, он шел куда глаза глядят, перешагивал солнечные полосы, огибал лужи; сорока стрекотала где-то неподалеку, провожала его, перелетая с дерева на дерево. Зимник с версту вился вдоль оврага, потом запетлял по осиновой мелочи меж пней и вывел на лесной прошлогодний покос. Здесь еще не пробилась зелень, но серую, плотно положенную траву и лист уже высушило, нагрело; под обрывчиком булькал ледяной ручей, а посреди поляны бурел неубранный старый стог. В безоблачной синеве над стогом клонилось к западу солнце, крепко пахло прелью земляной, осиновой корой.

Федор уселся под старой осиной в сухом корневище, достал носки, переобулся. Он долго сидел, подставив лицо теплу, опираясь спиной о круглое литое дерево, потом встал, притащил сухую валежину и развел костер. Есть не хотелось, он попил из ручья, примостился у костра поудобнее и опять замер. Лень расползалась по телу, тихонько позванивало в ушах, слипались ресницы.

Вспыхивали соломенные короны, рушились в голубые ямы, девичье лицо, и дерзкое, и невинное, заманивало-играло в глубокое бездумное тепло, лица каких-то ребя-

тишек смотрели с горящей околицы на заиндевелый скошенный луг. Стреляли ласково угольки-выстрелы, околица горела пышными рябинами, из тумана шла песня, хоровая, деревенская, словно солдаты жаловались детскими голосами, все ему открывали, а он — им.

Федор открыл глаза: постепенно смеркалось, зачернели на розоватом еловые макушки, через поляну низко протянул вальдшнеп — лесной кулик. Федор докурил, застегнул куртку и полез на стог. Он сбил макушку, вырыл яму и с головой закопался в прелое теплое сено.

* * *

Все сидели за столом в Михайловой горнице и ели картоху из глиняной миски. Тут были и мамка, и взводный Кадочников, и отец, и Петька Сигов, хотя он их не видел. А сбоку стояли жена Анна и Анисья Павловна. Их он тоже не видел, только городские туфли на толстых ногах, однако, хотя голов у них не было, они смотрели на него, и картошка от этого не проглатывалась, застревала: уж очень скучные были глаза у Анисьи Павловны, как у мертвой щуки. Федор протянул руку, чтобы взять картофелину, рука наткнулась на тот черный ящичек, который считает электричество, — в стеклянном окошечке бегала красная змейка, все подмечала. Он боялся, что она и его заметит, и сидел тихо, как мышь, а Рыжий смеялся и что-то говорил. Щека у него была в седой щетине, а волосы на голове ребячьи, с косицами. «И я такой же», — подумал Федор, хотел пощупать свою голову, но не смог: на ней сидела Анисья Павловна, манерно вытирала рот платочком, не слышала, как он задыхается.

Федор рванулся, оттолкнул гнет руками...

Сквозь сено леденел чистый рассвет, что-то булькало, курлыкало, потом зачуфыркало, захлопали тяжелые крылья: косачи токуют! — понял Федор, и захватило дыхание. Осторожно раздвигая сено, он высунул голову:

по поляне чертил крылом, ходил, взъерошась, черно-синий косач, алела бровь, хвост распушился веером. И другой косач подальше тоже тянул шею, шипел-чуфыркал, а потом забил крылами — взлетел на березу.

Федор поднял воротник, потерся щекой о цигейку и опять заснул беззаботно.

* * *

Он спал в облаке. Нежное тепло обнимало, дышало, а потом бережно отняло его от груди, тихо поднялось, сгустилось, стало медленно отплывать по темноте к льдистому зеленоватому квадрату-просвету. Облако остановилось и стало нагой женщиной, матово-белой в студеном океане рассвета. Во впадинах-лопатках лиловели тени, искрилась кайма откинутых волос, край приподнятого незнакомого лица. Все замерло.

...Бледнели мелкие звезды, прошуршал предутренний ветер, Федор опять закрыл глаза.

Тишь стронулась, откололась, и льдистый квадрат в глубине мира стал наливаться зыбким поющим светом. Это пело облако-женщина. Мудрое солнце насквозь просвечивало раковину ее уха, тонкие веки, ноздри, грудь и порозовевшие пальцы. Было чисто, жутко и прекрасно, словно как если бы все тело безвредно окунули в глубокий нетронутый сугроб...

В далеком провале теней растворялись туманы, малиновый диск подымался над ржавой луговиной; как паутина, сияла нить с неба, и Федор остро почуял запах морозного березняка, зари, сена, потухшего костра. Тишина.

Но в эту тишину вторгнулся близкий разболтанный лязг, урчанье моторов, железный скрежет. «Танки!» Федор бестолково, лихорадочно искал в сене автомат: «Немцы!»

Было утро, сияли стволы берез, негромко булькала вода в корнях ивняка, а за лесом по шоссе несмолкаемо

лязгали равнодушные звери, стальные траки крошили камешки, выхлопы взрывали голубую тишиину березняков. Надо было бежать.

Федор спрыгнул со стога, пошел по зимнику вглубь, прочь от дороги. Голова тикала-говорила, что это свои, и не танки даже, а трактора лес трелюют, тягачи леспромхозные, но душа боялась, уводила все дальше, туда, в тишиину озерную. До озер этих было отсюда по прямой километров десять-двенадцать, но Федор ни об этом, ни о том, что весной туда не пройти, не думал: он шагал, иногда прямо по воде, не замечая даже, что потерял правую калошу. Он остановился только тогда, когда зимник уперся в старую полусгнившую гать-лежиевку. Эту лежневку Федор сразу узнал.

* * *

На эту лежневку вышли они с Анкой, когда ходили за клюквой и заблудились. Было им тогда лет по шестнадцати, и с этого дня все у них и началось. Лежневка выходила на дорогу Хорошово — Рождествеио, и сейчас, опомиясь, Федор решил идти по ней обратно. Он только не зиал, направо или налево, подумал, свернул направо. Теперь перед ним шла Аика, тоненькая, ловкая, легко переступала по сгнившим бревнам-кладям, иногда оборачивалась, и тогда он видел, как мгновенно белеет ее улыбка, теплеют озорные глаза. Так он шел и шел, пока лежневка не ушла под воду: талые болота ее затопили. Федор огляделся: «Обойду слева по высокому», — думал он, рассматривая макушки сосен, — там грива должиа быть, и опять на лежиевку попаду», и он полез сквозь голый подрост березовый, без дороги, на сухую гриву.

Он шел не спеша, обходя тихие лужи в лиственных лунках, подставляя лоб нежаркому теплу. Это было то тепло, которое прикасалось к его щеке там, в облаке, во сне. Он шел и смотрел на него, на это облако, которое то открывалось, то закрывалось сквозными сосиами. Оио

лежало над лесами, небольшое, рыхлое, искристое повесеннему, в мягких тенях чудилось что-то ласковое, далекое, и Федор начал что-то вспоминать накрепко позабытое, кто-то шептал: «облачный голос, облачный», а потом не то плакал радостно, не то пел грустно, и от этого в горле и глубже стала пробиваться, щемить острая талая струйка, сладко студило губы, точно от березового сока из свежей зарубки.

Он шел к облаку и уже будто внутри облака, и чувствовал сквозь ресницы его снеговой холодок, голубую тишину в тенях, чей-то лепет, нежный женский лепет, похожий на шепот лесного ручья. Только раз в жизни слышал он его, а сейчас — вспомнил.

Он шел, проваливаясь в ледяную воду между корней, раздвигая всем телом гибкие прутья, жмурясь, не замечая, что лежневки все нет и нет и что лицо-облако незаметно вечереет, светится по краям золотисто-розовой пряжей; так светились ее распущенные волосы, когда она наклонялась над ним.

* * *

«Здравствуйте, Людмила Дмитриевна!

Пишет вам Вася Семенов, потому как отец мой Михаил Алексеич руку повредил на моторе, сообщает он вам свой привет и что письмо он ваше получил. Пишу вам на запрос ваш о дяде Феде, который из дома скрылся, гадали сначала, что он обратно к вам в Орехово-Зуево подался. А чтоб не были вы в беспокойстве, куда дядя Федя делся, то сообщаем, что убег он в праздник 3 мая, думали, в военкомат поехал, куда был направленный, но он туда не заявился, и тогда стали его разыскивать, все лето не было известности, где он, говорили, может, и утоп в Волге, как некоторые.

Но осенью, когда болота промерзли, пришел лесник с Бортникова в сельсовет и рассказывал, что нашли дядю Федю в Оршинских Мхах, где он блукал, и теперь

проживает он на озере Глубоком в деревне Лисцы у рыбаков в артели и обратно ворочаться не желает.

Очень мы стали им недовольны теперь, потому как двадцать годов не был и обратно ушел утайкой, и с женой своей старой и дочкой встречаться не стал.

А еще велела мамка приписать, что слыхала, будто он жениться там собрался и берет за себя моложе его на пятнадцать лет, но, может, и врут — куда ему такому жениться!

А еще велела мамка написать, что теперь по нашему адресу дядя Федя не проживает и писать ему сюда нечего, а коли хотите, пишите по адресу: Калининская область Озерецкого району, п/о Буланово, дер. Лисцы.

А еще шлет она свои приветы и наказывает сказать, что убиваться по дяде Феде нечего, как был он «без вести пропащий», так и остался, а я думаю, он сюда не воротится, как в песнях поется:

Каким ты был, таким ты и остался,
Зачем, зачем со мной ты повстречался,
Зачем нарушил наш покой!

На этом кончаю письмо, целый вечер писал, с приветом

Вася Семенов.
25 ноября 1960 году».



КНЯЖЕСКИЕ УГОДЬЯ

От школы до дома было километра три. Сначала через райцентр, мимо кино, мимо гастронома в старом ампирном особняке, потом — за городом — через пустырь, где снегом запорошило ржавые груды металлолома и битый кирпич и дальше — через железнодорожное полотно. Отсюда уже видны были крыши их поселка, а за ним — сизая полоса елового леса. Всякий раз, как Пашка видел лес, он ускорял шаг. Особенно, когда получал, как сегодня, двойку по геометрии или алгебре. Маме — все равно, а отец опять будет скорбно качать головой, повторять: «Ну кто из тебя вырастет? Скажи — кто?»

Пашка сопел, отмалчивался и, едва кончал обедать, надевал телогрейку, валенки, вставал на лыжи и катил через овраг к лесу.

В марте снег особенный — по насту чуть припорошило, поляны солнечные слепят, искрятся, размаривает

сонно, небо за розоватыми макушками березняка — темно-синее, чистое, а лыжня все уводит и уводит, и нет ей конца.

На опушке старого леса Пашка постоял, щурясь, вдыхая с наслаждением отмякшую хвойную прель, запах коры и льда. По шершавому стволу лазил поползень, серенький, как мышка, синие тени скрещивались в чаще, горела сосулька на толстом суку. А на прогале — заячий следок, детский, смешной: белячок-малыш путешествовал, старательно выписывал скидки-петельки — запутывал врагов. Но все это прямо на открытом месте, вся его хитрость была как на ладони. Пашка засмеялся и сразу забыл про все двойки, отпотевшей варежкой вытер нос и пошел по следу, сдвинув ушанку со лба.

Всю следующую зиму он копил на берданку. Латунные гильзы заряжал сам, отмеривал черный дымный порох, масляиистый, зернистый, как графит, пачкал ладони, запыживал войлочным пыжом, отставлял патрон, любовался. Отец укоризненно качал головой, но спорить не спорил — держал слово — теперь Пашка учился на одни четверки.

Весной километрах в трех на высоковольтной просеке токовали тетерева. Пашке лишь раз повезло близко увидеть тетерева. Березовый лист был уже с гривенник и токовище разлетелось, но отдельные петухи еще подтоковывали по опушкам. Пашка подходил, глотая дыхание, и увидел рядом, шагах в десяти — тетерев. Атласно-черный, с распущенным хвостом, сидел он меж берез на кочке, шея его раздувалась, булькало, клокотало, нарастало брачное бормотанье, и Пашка не выдержал — бахнул, не целясь. Долго еще стоял он, вслушиваясь в замирающий шум полета. Не везет!

...В мае же приехал из Москвы товарищ — Виталий. Пашка ему завидовал — Виталий уже курил, как знаток, говорил про девочек, знал все новые фильмы.

— Это ружье? — спросил он. — Чье? Отцово?

— Мое, — гордо сказал Пашка. — Хочь — , пройдемся?

Они ходили часа два по дачным перелескам, уже зеленым, свежим, по молодой травке, спустились к речушке в ивняках, но ничего не спугнули, кроме трясогузки и двух сорок. В сорок Пашка стрелять не дал. Виталий плелся все ленивей, неохотней, наконец сказал:

— Передохнем? — и сел на поваленную старую осину. — Это тебе охота, называется? — спросил он презрительно. — Смотри лучше сюда! — И ловко вытянул из кармана четвертинку. Пашка никогда не пил: в доме водки не бывало — отец, счетовод с фабрики канцпринадлежностей, в рот не брал и сторонился всех, кто пьет, с таким страхом и брезгливостью, что и Пашке это передалось.

Но признаться в том было стыдно, и он глотнул из горлышка, посидел, дыша ртом, выпучив глаза, потом сплюнул, замотал головой:

— Гадость!

— Тоже мне! Дай сюда! — Виталий ловко, одним духом выдул четвертинку, сунул пустую бутылочку в карман, долго жевал корку. Глаза его помутнели. Они шли домой, так же светились мелкие листья березок, так же в тени, в прошлогодней прели, попадались бледные нежные фиалки, прохладой талой охватывало в оврагах, но день почему-то для Пашки был испорчен. «Или я объелся чего? — Думал он, шагая впереди. — Вроде бы поташнивает...»

Когда вошли во двор, Виталий увидел воробьев на водосточной трубе и выпалил. На крыльцо выскочила мама, лицо у нее посерело, рот приоткрылся. «Пашка!» — дико крикнула она. Виталий отдал ружье Пашке, засмеялся:

— Готовьте жаркое, Анна Ивановна! — сказал он. А она смотрела на трубу, ажурную от сквозных пробоин, потом перевела взгляд вниз, на пушистый комочек

у крыльца. В комочке, точно драгоценный камушек, алело пятнышко.

Виталий пообедал и сразу ушел на электричку, а Пашка завалился и заснул. Его трясли за плечо, но он не сразу понял, зачем.

— Встань! Вставай, Павел! — повторял незнакомый голос. Он протер глаза и увидел отца. Но голоса его все равно не узнавал.

— Ты что сделал с мамой? — Спросил отец. Его смирное, морщинистое лицо порозовело, в прозрачных глазах застыли удивление, боль. — Ты что сделал, негодяй?

— А что я? Ничего!

— Ты — пьян! Ты стрелял спьяну в родной дом. Ты не увидишь своего ружья больше.

— Ружья? Я — не пил!

— Иди сюда! — сказал отец так, что Пашка вскочил и вышел за ним в переднюю. Отец молча показал: из кармана Пашкиной куртки торчало горлышко четвертинки. Пашка хотел сказать: «Вот сволочь!» но сказал только:

— Это не я пил...

— Ты пил, стрелял и врал, — сказал отец, мучительно вглядываясь в Пашку. — И ты, пока я жив, ружья не увидишь.

— Отдай!

— Нет. Ты трус к тому же...

Пашка обыскал весь дом, но берданки не было. Он не разговаривал с отцом месяц, бросил школу и ушел на завод. Но никогда больше не увидел ни своей берданки, ни своего отца: в это лето началась война. Так он и не объяснил отцу, что пил один Виталий, что четвертинку сунул ему в карман нарочно. Теперь ничего отцу не расскажешь. Никогда.

Четыре года войны. Эти годы лежали в душе совершенно особо, как нечто тяжеленное, ржаво-железное, с

неровными рваными краями, с запахом бензина и крови на утоптанном грязном снегу. Это нечто без нужды Пашка не ворошил и не разгадывал. В этом нечто, казалось ему, враз кончились и детство, и отец, и тетеревиный ток на прозрачной заре за нежными березняками... Безвозвратно.

Только на третьем курсе Пашка купил ижевку-одностволку и впервые за семь лет поехал на охоту. Товарищ по курсу, сын адмирала, достал путевку в закрытое охотохозяйство за Переславлем-Залесским. До Загорска — электричкой, а потом автобусом, и еще восемь километров пешком. Пашка вылез из автобуса в поле — на отворотке, как ему подсказали, на село Никифорково. Он шел вязким проселком через яровое обтаявшее поле, звенело в ушах от голубой тишины, земляным теплом дышала отдохнувшая пашня, а справа тянулись и тянулись еловые леса, то отступая, то наступая мохнатыми хвойными выступами. Вдоль дороги цвела ива, жаворонки взмывали и падали на щетинистую межу, а Пашка все шел и шел, улыбаясь, напевая что-то бессмысленное, радостное: он думал, что там все это безвозвратно отмерло в нем, а оказалось — живо.

Не доходя до села, он увидел заросшее молодым подростом сельское кладбище. Серые кресты прятались в прошлогоднем бурьяне, небо апрельское искрилось, струилось вниз, и казалось, серые прозрачные глаза отца смотрят сквозь сеть осинок, и в них — нет ни гнева, ни боли, лишь смиренное тепло, чуть насмешливое. «Эх ты, пацан, пацан!» — шепчет отец ласково.

На околице стоял столб с доской:

ОХОТОХОЗЯЙСТВО
ОХОТА, НАТАСКА СОБАК
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЗА НАРУШЕНИЕ ШТРАФ

Деревня была послевоенная, точно нежилая — только раз встретилась баба, обернулась через плечо, много изб заколочено, улица-дорога — в непролазной грязи. Только дом охотбазы — новый, высокий, сверкал новым тесом, штакетник свежепокрашен зеленой краской, во дворе — вольер для собак, мотоцикл с коляской.

Егерь, статный, черноволосый, в защитном кителе и хромовых сапогах, вышел на крыльцо, сдвинул прямые брови, глянул светлыми глазами, спросил:

— Путевка есть?

— Есть.

Пашка рассматривал его с радостным удивлением — был егерь моложав, красив, а главное, — свой, военный, фронтовик, наверняка. Егерь кончил читать путевку, еще раз взглянул в лицо:

— Ну заходи...

Когда сели за стол, чистый, тоже новый, как и все в доме, он спросил:

— Как добирался? Мост у Демина снесло, я не ждал никого...

— Пешком. Хорошо у вас тут.

— Меня зовут Артем Алексеевич. Вот так, — сообщил егерь. — Значит, тетерева — две головы, утки — две, то есть, селезня, бекаса — четыре. Так. — Он подумал, прикинул: — Спать будешь здесь, печь истопишь, а тюфяк я дам. А в ту горницу не ходи, не следи: там — для начальства.

Пашка любовался им, плохо слушал. Да, мужик — что надо, девки по таким сохнут: лоб — чистый, волосы чуть вьются, нос — прямой, губы — твердые, а взгляд — светлый, с холодком.

— А на ток когда? — спросил Пашка. — Завтра?

— Не торопись. Завтра к вечеру пойдем шалаши ставить.

— Завтра? А на утку? Где б тут молочка достать?

— Нет тут молочка. Самовар распаялся у меня. Вед-

ро вон в сенцах — принеси воды, на плитке согрей в котелке.

Егерь ушел на свою половину — отдельный вход под навесом, занавески тюлевые; Пашка расстелил матрас да и уснул в одежде, только сапоги скинул, а хотел лишь на полчасика прилечь, отдохнуть.

Он проснулся от холода. Голубел рассвет в окне, в пустой комнате было тихо, чисто, скреблась мышь. «Проспал!» Пашка вскочил, натянул сапоги, но вспомнил, что егерь с ним утром никуда идти не собирался. На луговине за домом инеем прихватило прошлогоднюю осоку, пар слоился в низине у речки, где-то там крякали утки. Хотелось есть, пить, но Пашка не выдержал и пошел туда. Речка несла половодную мутную воду, качало ивняки на повороте, несло лесной мусор. С кряканьем, с плеском взлетела утка, и Пашка, не надеясь, испуганно пальнул навскидку и замер: утка крутанулась и колом пала за камышом. В азарте, не разбирая дороги, он рванулся, добежал и поднял еще теплое рябое тельце; это была его первая в жизни добыча. Он пошел вниз по течению, еще четыре раза стрелял, не попал ни разу, и, когда солнце стало пригревать, повернул к дому. Есть хотелось, чая горячего, каши с молоком. Или картошки жареной...

По болотистой низине бродил егерь Артем, иногда нагибался, точно грибы собирал. Над ним, тревожно крича, кружились крупные кривоносые кулики-кроншнепы — редкий, исчезающий вид.

— Во! — сказал Пашка и гордо поднял руку. Артем глянул равнодушно.

— Иди в дом! — сказал он. — Я счас приду...

В комнате на столе стоял теплый самовар. «Успел когда-то запаять?» Пашка наливал вторую кружку, когда вошел егерь, осторожно положил на лавку шапку, полную крупных рябоватых яиц.

— Сахару-то привез? — спросил он. — А то здесь у нас нету...

— А это — яйца — зачем? — спросил Пашка, доставая сахар.

— У тебя в путевке утка?

— Да, две.

— Нет, не утки две, а селезни. Утка — нарушение это, — строго сказал егерь. — Акт надо составить.

— Да я нечаянно... Навскидку...

— Ладно — повесь ее в сенцах. Повыше, а то кошка достанет. Масла-то не привез?

— Сало есть. Шпиг. Немного...

Артем жевал медленно, думал о чем-то, смотрел в окно.

— У кроншнепов яйца лучше куриных, — сказал он. — Стой-ка!

Он привстал, прислушался и гибко метнулся к двери. — Ружье дай! Заряжено?

Пашка протянул одностволку, достал из кармана патрон. Артем бесшумно скользнул в дверь. Пашка ждал, прильнув к окну, ничего не понимая. С задов с огороду бахнул выстрел, из-за угла вышел Артем. Он нес за ноги белую курицу, курица еще трепыхалась. Артем остановился, свернул ей шею, подул под перья. С проулка к палисаднику бежал раскорякой невысокий мужик в телогрейке, кричал тонко:

— Что ж ты, гад, делаешь, окаянный? Нет на тебя, гада, управы, сироту, последнюю несушку, чтоб тебе, сдохнуть, гад проклятый!

Пашка разглядел, что это не мужик, а баба в стеганых брюках, пожилая уже, растрепанная. По обветренным щекам точились мелкие слезинки, кривился разинутый рот. Артем шел неторопливо, у крыльца приостановился, сказал через плечо:

— Я тебя, Манька, упреждал. Два разу. Распускаешь скотину на казенную территорию. Здесь тебе не свой двор. Ясно?

Баба еще чего-то кричала, но он не слушал, вошел в дом, кинул курицу к печке.

— Вот и обед. Я живу один, в хозяйстве все сгодится. Пойдем на речку — поможешь. Напился чаю?

Пашка ничего не ответил.

Артем оттолкнул легкую сшивную лодочку, сел на кормовое весло. Глинистая вода бурлила у топляков, крутила воронки под берегом; лодку сразу подхватило, вынесло на струю, мелькали по сторонам кусты, мокрые оползни, камыш в протоках. У подмытой рухнувшей осины шумело, как на перекате, пузырилась пена.

— Гляди! — крикнул егерь. — Проскочим — придержись за кусты. Понял?

Пашка держался за кусты, а егерь прощупывал дно багром вокруг, потом сплавились метров на двадцать и опять стал шарить в глубине, зацепил что-то, напрягся, перехватил и вывалил в качнувшуюся лодку облепленный илом тяжеленный рюкзак.

На берегу они сортировали содержимое: размокшие концентраты, макароны, хлебную слизь — налево, консервы, патроны, котелок, топорик, цейсовский бинокль в футляре — направо.

— Сахар-то весь растаял, — говорил Артем. — Говорил им — не суйтесь.

— А кто это так?

— Двое — москвичи тоже — сплавлялись на надувнушке в самое половодье, пропоролись, один чуть сам не утоп, а ружье утопил... Дураку закон не писан!

— Что ж не искали?

— Один-два раза приезжал, искал. Да разве найдут?

Пашка расправил промокшую обертку.

— «Концентрат пшенный», — прочел он. — И у меня такой же.

— В действительной еще им закормили... Пусть рыбы его едят!

— А вы на каком фронте служили? Я — на Первом украинском. Связист.

Егерь встряхнул пустой рюкзак, встал, прищурился сверху.

— Мы — части спецназначения, — сказал он веско. — Рядовой?

— Да... Я с двадцать шестого, два года служил. В Германии был...

— Так... А я — старшина. Сверхсрочник. Значит, ты подчиненный. Так?

— Да...

— Вот и бери багор, весло, пойдем до дому.

«Не всякий стал бы за чужое барахло рисковать, в половодье в реке шарить», — с уважением думал Пашка, шагая за старшиной. — Эти москвичи, наверное, крест поставили на своем добре. А он нашел!»

Артем шел впереди, на одном плече нес мокрый пудовый рюкзак, поплевывал, усмехался.

— Сколь, думаешь, за такой бинокль дадут? — спросил, подходя к дому.

— Кто его знает... Немецкий, дорогой.

— Через часик пойдем шалаши ставить.

Пашка затопил печь с плитой, сварил в котелке концентрат, поел, но егерь все не приходил, и он пошел его поторопить. На половине Артема было тихо, свежепокрашенная дверь отворилась туго. Артем сидел за столом в одних шерстяных носках, в гимнастерке и чистил проржавевшие стволы. Рядом на полу в банке с керосином мокли какие-то детали, на лавке на газете блестел разобранный затвор. А над кроватью на стене висело другое ружье, «Симсон» двенадцатого калибра. Когда стукнула дверь, Артем дернулся, метнул жесткий взгляд, сдвинул прямые брови:

— Ты что шастаешь?

— Пора на ток, Артем Алексеич.

— Я знаю когда пора! Иди, сейчас приду.

К току шли сначала вдоль речки, потом у сломанной березы свернули в лес, шлепали по травяным лужам, прыгали через ручьи в оврагах. Ток был на твердом мо-

ховом болоте, кое-где торчали тонкие березки. Чистое болото далеко уходило меж еловых берегов, мох пружинил под сапогами. Пашка поднял пуховое перышко, понюхал.

Работали дотемна: поставили три шалаша метрах в ста друг от друга, накрыли лапником, убрали щепу свежую и сели покурить.

— Зачем три? — спросил Пашка.

— Голов сорок токует. Ну, пошли.

— Может, в шалаше заночуем?

— Пошли, говорю!

В эту ночь Пашка совсем не спал — боялся проспать. Светало рано, надо было по темноте дойти и залезть в шалаш. Лезли в голову то воронки мутные под берегом в бочаге, то белая курица, то глаза отца, растворяющиеся ласково в сети осинника, то некая тяжелая, неудобная мысль, не мысль, а вроде ощущения притаившейся рядом беды... Он ворочался, зажигал спички — смотрел на часы, в полвторого ночи стал обуваться.

Егерь не выходил на стук, наконец отпер дверь, вышел на крыльцо. В темноте смутно белела нательная рубаха, голос осип со сна:

— Рано еще, иди подремй, я разбужу.

— Не рано: идти сколько, да и не пойдешь быстро. Не пойдете — я сам найду...

Егерь сплюнул через перила, повернулся, ушел в дом, ударив дверью. Пашка зашагал к реке. В темноте идти вдоль реки было трудно, прутья стегали по лицу, проваливались ноги в колдобины. Егерь догнал его, отстранил, пошел впереди. Спина его то закрывала, то открывала мелкие звезды, чуть бледнело и стали проступать черные громады леса, и от движения, ожидания, от предрассветной свежести чаще и радостней постукивало Пашкино сердце. Они поравнялись со сломанной березой, но егерь не свернул вправо, к току, и Пашка тихо его окликнул:

— Нам вправо, Артем Алексеич!

— Иди, я знаю, куда нам надо!

Они шли, казалось Пашке, совсем не туда, еще левее, и он мучился, что опоздают — слетятся тетерева и к шалашам не подойдешь, но боялся спросить. Небо спереди и чуть правее стало наливаться прозрачной розоватостью, и розоватость эта стала чуть звенеть, шептаться все шире и шире, курлыкая, воркуя, и наконец Пашка понял, что это — огромный ток, что это поет косачиное игрище брачное, и что они с егерем — опоздали безнадежно.

Артем остановился, снял шапку и тоже стал слушать ликующий за лесом хор.

— Где ж это сбился я? — сказал он задумчиво. — Теперь не скрадем...

А Пашка был в отчаянии и ничего не понимал: как егерь мог сбиться, когда даже он вышел бы к току правильно?

— Пойдем подойдем потихоньку — поглядим, — сказал Артем, — смотри — не спугни, и стрелять — нельзя — разгоним ток.

Никогда ни до ни потом не видел Пашка такого большого тока. По бурой комковатой болотине, уходящей в лесной туман, шипели, булькали, хлопали, сшибаясь, десятки черно-бронзовых петухов, кипенно белели распущенные подхвостья, розоватая мгла рассвета звенела и бурлила, как огромный лесной орган. Когда солнце тронуло макушки елей и расчистилась в зените голубизна, егерь тихо шагнул назад, к дому. Пашка шел, не разбирая, куда ступает — он весь был полон до краев, а токованье провожало их, гулкая голова и все невесомое тело отзывалось этой весенней лесной музыке. Пашка молчал, стараясь сберечь ее, до самой деревни, и только во дворе вздохнув, сказал:

— Ну, ничего, — завтра я в шалаше переночую, уж тогда...

— Ток закрыт, — жестко сказал Артем и стал чистить подошву о железную скобу на крыльце.

— Как?!

— Так. Одна заря — тебе, другая — другим. К майским, может, и приедет кто.

— Но у меня ж в путевке... А сегодня — не в счет — я ж говорил надо сворачивать было пока не рассвело.... У березы!

— Закрыт, — повторил егерь. — Иди, после обеда тягу покажу. Место хорошее — вальдшнеп тянет часто. — Пашка смотрел на гладкий лоб, на прямой нос и черту бровей — красив был старшина Артем, что-то слишком уж красив. И опять Пашке стало как-то тягостно, неловко дышать, как в недавнем полусне, хотя чисто и нежарко светило апрельское утреннее солнце и над низиной за огородом кружилась пара кроншнепов, кричали протяжно, печально: «Кур-лю! Кур-лю!»

* * *

Они стояли на сухом бугру, на опушке. Прямо тянулось бурое поле со щетиной стерни, слева — дубовая голая роща, переходившая по кругу вдали в смешанный елово-березовый лес. Вечерело, было тихо, тепло, в подлеске щебетали птички, низкий ржаво-золотистый свет высвечивал каждую морщину в коре дубов. Артем стоял, опираясь на ружье, смотрел в лесные дали, бронзовое лицо казалось властным, нелюдимым, а прищуренные глаза точно ослепили, как бельма статуи. Пашка посмотрел на него внимательно, и вдруг его осенило: «Король!»

— А вы, Артемий Алексеич, как король здесь! — сказал он, продолжая наблюдать. — Один хозяин!

У егеря чуть откинулась голова, чуть раздулись ноздри, а уголок рта разрезала едва заметная усмешка. Но он ничего не ответил. И тогда Пашка решился окончательно.

— Ну, пошел я, — сказал он и поправил рюкзак. Артем медленно повернул голову, оглядел его, удивился:

— Куда это? И мешок зачем взял?

— Куда-нибудь... На базу я не вернусь.

— Как так? Корешок путевки у меня. Подпись нужна.

— Пусть остается. На кой она мне...

— А кто тебе путевку-то сюда достал? — вкрадчиво-равнодушно поинтересовался Артем.

— Товарищ. Адмирала одного сын.

— А-аа... Сюда трудно достать. Чего обиделся? Пошли на базу — завтра я тебе другой ток покажу. Поменьше, но тоже играют. — Артем говорил, отвернувшись, опять оглядывая дали, но Пашка чувствовал, как приближается из тени нечто опасное, коварное. И тогда он не выдержал:

— Обиделся? Нет. Та баба, у которой ты курицу застрелил, она ведь вдова, наверно? Здесь они почти все вдовы? А?

Артем глянул мельком — точно на прицел взял, усмехнулся:

— Тихо, тихо, рядовой, как тебя — позабыл. Ну, вдова, ну — курицу. А еще что? — Он говорил спокойно, с ленцой, отставив ногу, поигрывая пальцами по стволу ружья, мирный свет высвечивал его светлый глаз, завиток на виске, но Пашке стало как на фронте — тошнотно, собранно, непримиримо, а потому — не страшно ничего.

— А еще, — сказал он, не отводя взгляда, — яйца кроншнепа незаконно — раз, на ток не вывел нарочно — два, ружье ты в реке выловил, а не отдашь хозяину — три. Еще надо или хватит?

Теперь зрачки Артема застыли, уперлись в глаза Пашки, и потянулись тяжелые секунды.

— Иди, иди! — сказал наконец егерь. — Иди отсюда, сопляк. Иди, пока цел. — Но Пашка только усмехнулся, выждал и пошел было с бугра, но приостановился, сказал через плечо:

— Смотри, холуй, не балуйся с ружьем — я тебе не курица!

Он шел по опушке, ожидая удара ямкой затылка, но

не ускорил шага, как там, когда приходилось идти по открытому, чуя спиной чей-то далекий прицел, но ни бежать, ни оборачиваться было нельзя. Он прошел шагов пятьдесят, свернул в лес и только тогда посмотрел: на бугре на золотистом небе чернела статная четкая статуя. Точно ее отлили из чугуна и забыли здесь зачем-то. «Король!»

* * *

В лесу было темно, сыро, Пашка робел, подкладывал часто в костер: он впервые ночевал один в лесу. За елями разгоралось все выше голубое зарево и наконец всплыл чистый лунный диск. Пятна на диске — это лунные моря, кратеры, там нет ни атмосферы, ни старшины-егеря, никого нет. Пашка лежал на спине и смотрел на луну, пока не заснул.

Весь следующий день он бродил по лесным ручьям и просекам, а к вечеру вышел на поле, за которым серела деревенька. Места были совсем незнакомые. «Попрошусь переночевать».

...Он сидел за столом в тесной избенке в круге желтого керосинового света и ждал, пока поспеет самовар. Хозяин — совсем молодой еще — Вася, жена его — еще моложе, робкая, неулыбчивая, — Люба и дети — все следили внимательно, как он разворачивает пакет с сахаром, вскрывает пачку с чаем, режет сало.

— Молочка бы купить? — спросил Пашка.

— Молока нет, — виновато сказал хозяин. — Хоть и на ферме работаем...

— Что ж так?

— Да так уж... — Вася посмотрел на жену, она покраснела, дернула плечом.

— Ребятишкам — и то... Мяса, вишь, им захотелось! — сказала она громко, зло. — А теперь — век не расплатимся! — Она встала, отошла в полутьму, загремела чугунами.

— Ну, ну, Люба! — сказал Вася. — Ладно тебе!

— Вы ж молодые, здоровые, на ферме работаете, а... Что ж так? — повторил Пашка. Он оглядел всех и заметил, что ребятишки пожирают глазами сахар на столе. — На! — сказал он мальчику. Белобрысый пацан лет четырех взял кусочек, а девочка лет трех испугалась, попятилась.

— Дело, конечно, такое, — глухо заговорил под потолком чей-то голос, и Пашка вздрогнул, обернулся: с печи, вытянув шею, смотрел белоголовый худенький старичок. Весь он был сморщен, но выцветшие глазки моргали с неистребимым детским любопытством. — Дело, конечно, случайное, но вышел грех, не Васькин, но вышел...

Пашка ничего не понимал.

— За лося мы выплачиваем. Вычитают каждый месяц, век за него не выплатим! — плачуще-зло сказала Люба из темноты, засморкалась, ушла за занавеску.

— Слезай, дед, чай пить, — сказал Вася.

— Счас... Лось-то дурной, вишь был, — говорил дед с печки. — Оне с брательником, со старшим, Лександром, беляка пошли тропить. По пороше. Васька стал осинник обходить, а Лександр с того боку тишком стоял, лось-то на его и вышел, рядом, и не чует, у Лександра сердце не стерпело, он и вдарил, да под лопатку аж! Третьим номером, а рядом — как пулей завалил. — Дед крякнул и стал слезать с печки. — Такое вот дело, милый, — сказал он, садясь к столу и подвигая к себе чашку.

— Старший убил, а почему Василию платить? — спросил Пашка.

Мальчик все смотрел на сахар, девочка подошла неслышно, стала карабкаться на лавку у стола.

— У старшего тогда уже трое были, один дитятко совсем, — глуховато говорил дед. — Он еще в сорок третьем вернулся — глаз выбили, инвалид, белобилетник, по чистой вышел... Васька-то на себя вину и взял.

— Ну и дурак! — крикнула Люба из-за печки.

— На, бери, не бойся! — Пашка протянул мальчику кусок сахара. — И ей дай. Как тебя зовут? А?

— Все-то не раздавай! — сказал дед. — Тебе еще охотой ходить, а угодья большие... Барские угодья, княжецкие. В именье, в Демино, три своры держал гончих, костромичей да борзовых тоже... Как выедут в отъезжие поля да как набросят свору! Ты гон-то хоть слышал когда?

— Ну, дед, завелся! — сказал Вася. — Он у нас тридцать лет егерем был, еще до революции начал, разговорится — не удержать!

— Нет, гона я не слыхал, — сказал Пашка. — Вот похожу пару дней — и все: путевка кончилась.

— Что ж ты с путевкой, а не на базе? — спросил дед.

— Был я на базе, не понравился егерь мне... Артем. А путевка — вот она. — И Пашка стал расстегивать карман.

— На кой она нам, — сказал старик. — Пущай Артем путевки энти проверяет.

— Он, Артем-то этот, и засадить нас хотел, — сказала Люба и вышла в свет лампы. — У деда ружье отобрал. Уж как я его просила, как убивалась!..

— Его не умолишь, — задумчиво сказал дед и отхлебнул с блюдца. — Не здешний он, в сорок пятом прибыл, дом через год поставил, женился.

— Двух жен за три года извел! — сказала Люба. — Первая померла родами, Зойка Сычева со Скоморохова. А вторая сбегла от него прошлый год, Нинка Порошина с Никифоркова. Все бросила и сбегла.

— У него глаз темный, — дед перевернул пустую чашку, положил на донышко сахарный огрызок. — А извел ли не извел — бог знает...

— Бабья брехня! — сказал Вася. Все замолчали.

— Ты, сынок, Павлом тебя? Ась? Ты, Павел, ложись поране на сено, завтра я те сам ток укажу, — сказал

дед. Павел встрепенулся. — Энтого тока ни Артем, никто не знает. Мой ток-то.

— Далече, дед, собрался? — спросил Вася. — Не доведешь.

— Сиди уж, дедушка, — сказала Люба. — Куда тебе идти-то с твоими годами?

— Полегоньку добредем. — Дед поскреб лысину, лукаво прищурился. — До ключей доведу, а дальше он сам просекой найдет. Там и заночует в лесу. Пойду, лягу, а ты тоже ложись — подыму рано, охотник! — И он зашаркал валенками к печке.

Пашка лежал, утонув в сене, морщил нос от крепкого настоя трав, улыбался. Завтра он уйдет со старым егерем в свободные леса, услышит токованье, вдохнет заморозок в розовых березняках, завтра — он был уверен в этом — все будет чисто и светло. Худенький белоголовый дед с любопытными глазами, морщинистый, легкий, все стоял перед ним в стоптанных валенках и распоясанной рубахе, деду этому, как лесному духу, не было ни возраста, ни износу... Был он и сам по себе и — со всеми, может, лишь дети его понимали да птицы. Казалось, он все говорит — вспоминает, глуховатый голос уводил куда-то в глубину, в древность, Пашка шел за ним бездумно, послушно, и засыпал мирно, облегченно, крепко.

— Эй, Павел! Долго спишь — пора! — звали откуда-то снизу, из темноты. Внизу под сеновалом стоял дед и будил его. В избе Люба топила печь, булькал самовар. Дед был совсем готов: в старой ушанке, в подпоясанной телогрейке, в руках — еловый отшлифованный мозолями посошок, за спиной — тощая котомка.

— Пей чай-то, вот картохи бери, — сказал он строго. — Да не мешкай, идтить-то далече...

Они шли от деревни через поле по тракторной колее прямо на зарю. Незаметно светлело, сзади в деревне пропели петухи. На взгорье дед остановился, повел рукой на дальние леса.

— Погоди, — отдышимся маленько... Глянь — вот туда путь держим. — Он стоял, маленький, тощий, серьезный и глядел в зарю отрешенным взором. Пашка переминался, кашлянул нетерпеливо. Старик улыбнулся.

— Успеем — день долог. Мне, вишь, пало на сердце и самому поглядеть. Люблю! Остатний разочек...

— А далеко, дедушка? Может, я сам найду, а то вы...

— Сам-то не найдешь. — Он глянул искоса, лукаво — прищурил детский глаз. — Ток-то не косачиный. Глухариный. — У Пашки забилось сердце, зарумянились щеки. — Да ты, сынок, не бойся: это не ихние угодья, не княжецкие — это нашенские, еще отцовы места...



И БЫЛ ВЕЧЕР, И БЫЛО УТРО...

Ночью он проснулся от ровного плещущегося шума. Он не понял, где он, он ли это? Запах старого дерева и сырости, серая глухая теснота и этот вечный шум, точно все навсегда кончилось и начинается неведомое. А потом дробный стук капель о тесины терраски подсказал, что это идет дождь, что непоправимая беда — позади, что начинается избавление, глубокое, радостное, как спокойное дыхание.

Он положил руки (это его ли руки?) на грудь поверх одеяла, дыхание подымало и опускало эти покорные руки, затылок грелся в подушке, а капли пробивали в тумане бесшумные дырочки, и задевали за промокшую листву, и тело было, как теплая глина под яблонями, огромно, и бесформенно, и благодарно, потому что тела не было, не было избы и рамы, и человека — было медленное пробуждение, неуклонное и блаженное,

как рождение древнего доброго титана, который пока еще растворен в журчании, в тучах над скворечником, в сырой древесине, в этом шуме, уплывающем и наплывающем в ушах, как раздумие непостижимого Бога. Только не шевелись, и не думай, и не отгадывай, вспоминай: так рождался титан, слепленный из лесной глины, он лежал на спине, сам еще полуглина и полутуман, и рассвет брезжил в его полузакрытых детских глазах, которые непонятно далеки от мира в час между полночью и первой прозеленью под дождевыми тучами.

За окном черная листва яблонь и шест скворечника выступили, обозначились, и за штакетником заблестела лужа в грязи проселка, а за ней — растрепанная крыша колхозной риги, но все равно этого ничего не было и было одновременно.

Человек — вот как звали того, кто родился, еще не зная про Каина, не зная, что он еще встретится с Каином в себе самом.

* * *

Николай Максимович сидел на тераске за столом, покрытым потертой клеенкой с розовыми цветочками. Было зябко и зелено после недавнего дождя. На лебеде у штакетника матово посверкивала крупная роса.

Хозяйка со стуком поставила на стол полную кринку, молоко плеснулось, и на клеенке осталась толстая белая лужица. Николай Максимович обмакнул в молоко никотинный палец и провел по трещине в кринке: тонкая сухая трещина заполнилась молоком. Снизу кринка была глазурная, темно продымленная, а выше — телесно смуглая. Николай Максимович проглотил слюну и встал: опять навалилось «это». Он не стал пить молоко. Он прошел через тераску, спустился в сад и, промочив колени в кустах смородины, пробрался к плетню, за которым серела дорога. Отсюда просматривалась деревенская улица: колея с грязной водой, угол правле-

ния колхоза, столб, а на столбе кусок ржавой рельсы — «било».

Он стоял, налегая на плетень, и смотрел на ржавое это железо, ожидая, когда пройдет «это», но оно не проходило. Мужик в телогрейке и резиновых сапогах вышел из правления и пошел мимо, косясь на незнакомого дядьку. Все было в дядьке этом городским и потертым: пролысины, очки, нестиранная рубашка с вязаным галстучком. Мужик бросил окурок и сплюнул. Ему стало неудобно от водянистого упорного взгляда этого городского, но Николай Максимович не видел мужика: он видел только гладкий череп Королькова, пробитый за ухом, там, где так аккуратно были подстрижены короткие седые волоски. И с отчаянием ощутил, что опять возвращается, как неизбежный гнет под ложечкой, то решение, которое нельзя изменить. Как будто не было этой шумящей в деревьях ночи, когда под теплым дождем рождался на Земле ее первый невинный человек.

«Если вот я заболею здесь, меня свезут в сельскую больницу, — думал он. — Там я и умру, буду глядеть в живот старой медсестры, когда она будет делать укол, в грязный с желтизной ее халат. И ничего нет, кроме этого мятого халата и шприца в ее опущенной руке. Она, невыспавшаяся, недовольная, будет ждать, когда я умру, чтобы доспать поскорее. Но это никому не интересно... И даже правильно теперь. Для меня...»

Он думал, а за спиной у него стоял мокрый дымящийся под солнцем сад. Там на коротко обкошенной траве желтели круглые падунцы. У яблок был кислый винный вкус с земляным гнилостным привкусом. Вокруг сухого черенка оплелась пленочка паутины. На глянце кожицы медленно просыхали мелкие капли.

По деревенской улице с дребезжаньем бортов и гаек прокатила полуторка с бабами. Бабы ехали в поле копать картошку. Они смотрели насмешливо на Арининого постояльца, который, привалясь к плетню, смешно щурился и жевал бледными губами, точно без зубов

пытался разжевать крепкое яблоко. Бабы не знали, зачем он тут стоит и вообще зачем он приехал в их Столешнево в отпуск. У него тут не было родни, а рыбы он не ловил и вообще ни реки, ни леса не любил. Они смотрели на его жидкие волосы и оттопыренные уши, пока Аринин плетень не закрыло пустым срубом старой риги на выезде из деревни.

«Зачем я сюда сбежал? — думал Николай Максимович. — Вот и бабы эти тоже чувствуют, что я — Каин».

* * *

Он нагнулся и поднял камень. Камень был тяжелый, ладонь Каина ощутила его грубый холод, и тогда он посмотрел на брата, который уже работал. Вот он привел сюда брата своего Авеля, чтобы показать ему, как тяжела работа эта. Так просто Авелю пасти стада свои, волов, и овнов, и тонкорунных овец, сгонять их в загоны, и петь звезде вечерней, и бродить по холмам долины реки Хиддекель. Ведь зима уже прошла, дожди миновали, настало время горлицы, смоковницы распустили свои почки, и ягнята рождаются в чаще нарциссов. Легко брату его, Авелю, жить. А он, Каин, в поте лица своего разрыхлил почву на вершине утучненного холма и обнес оградою, насадил лозы отборные, выкопал точило, ожидая, что принесет виноградник добрые гроздья. Но принес он дикие ягоды. За что же Господь взыскал Авеля, принял дар его, а Каина дар от плодов земли не принял?

Он стоял в тени и смотрел на спину брата своего, на его гибкие руки, взрыхляющие мотыгой свежую борозду. Даже это делал Авель хорошо, и лицо его не возмущалось, а было как у ребенка, которого учит мать, и в уголках губ — радость скрытая, точно чуют его ноздри сырость будущего зерна, которое принесет во сто крат.

Каин стоял в тени, и за спиной его была вся эта их

сторона Куш, орошаемая рекой из Эдема. На четыре реки делилась река, собирая в долинах туманы и росу дождевую. Там цвели сады с гранатовыми яблоками, и ветер осыпал лепестки их, веял шафраном и корицей, и прохладой источников — живых вод в корнях кедров ливанских.

А впереди уже наступал зной: оттуда из-за гор Фаеги, обращенных лицом к пустыне. Над скалами уже сгущалась жаркая мгла, точно пыль тончайшая, в которой нельзя вздохнуть.

Камень тяготил руку Каина, томил суставы его, и, размахнувшись, сделал он шаг и бросил камень в голову брата. Дрогнуло марево отблеском дальним, точно горы беззвучно содрогнулись, а тело брата споткнулось и легло на пашню, вздохнуло только раз и отяжелело навсегда. Так перестал он жить. Кто видел это?

Тело Авеля было смугло и прекрасно, песок пустыни оседал на его круглые плечи, а кровь была, как черные гроздья, и земля отверзала все поры свои, чтобы принять кровь человеческую. Как же буду теперь я возделывать землю эту? Не даст она теперь мне силы своей, изгонит меня вон. Вот я стою, и лицо мое повернуто к смерти, зарастет виноградник мой терновником, колючим кустарником, гиены и шакалы будут выть там, где трудился я от рождения...

Каменным зноем дрожала мгла над меловыми холмами, мгла сгущалась над миром, и наливала сквозь темя свою тяжесть, и пятки ног врастали в песок, а язык разбухал во рту, как гнилое дерево. Во мгле зноя колебались сухие скалы, раскрывались, как пасти, и будто рушились так стены городов незнакомых, а трупы людей были, как помет на улицах... Было так душно, что пот стекал по щекам и крыльям носа, и он ловил языком соленые капли и не мог понять, откуда удушье это: ведь он ждал справедливости.

Так стоял он над братом, опустив бесполезные руки, а над хребтами гор назревали, придвигались нечелове-

ческие слова, которые уже слышал он внутри ушей своих, точно шорох песчинок нависающего самума: ГДЕ АВЕЛЬ, БРАТ ТВОЙ?

* * *

С расстроенным отсутствующим лицом Николай Максимович медленно брел обратно. Но в дом он не вошел, а сел на сырую приступку террасы. Он снял очки, протер их пальцем и забыл надеть.

Сад нагревался, обсыхал после дождя — на мягкой земле посверкивали песчинки, вдавленные каблуком; бестолково квохтала курица на огороде. Но вся эта отпотевающая земля, корешки, семена, вялая картофельная ботва, паутинка на сучке — все это было уже за толстенной мутноватой стеной из броневого оргстекла...

Кончики пальцев деревенеют от промороженной бумаги в скоросшивателе, окно замерзло толстыми пальмовыми ветками, болит горло, в редакционной комнатушке пусто от застарелого мороза. Зима. Пятьдесят первого года. «А сейчас какой?» — пытается он вспомнить как бы со стороны. «Вон курица, грядки, но это же видимость, что я сижу в садике деревенском, это не садик, это не я...» Фанерная перегородка и календарь на ней мелко трясутся — по Каретному проходят тяжелые машины, на задвижке окна пушится иней, матовая белизна стоит в легкой от голода голове, а вкус черной корочки под языком сейчас важнее недочитанного Цвейга, и почему-то это хорошо. «Неужели нет времени никакого? Нигде?» — со страхом спрашивает его тело, которое стало будто сухая картофелина, сморщенно, ничтожно, и нет совсем воздуха — только пустота, и где-то за броневым стеклом совсем оглохшие немые куры и яблоньки, а здесь — календарь дрожит на фанерной перегородке, а потом на миг: зарево, надолбы, беспощадное лицо и буквы: «Смерть немецким оккупантам!»

Дверь толкнули, она впустила темноту коридора, из темноты в редакцию вошел полноватый, коротковатый Корольков — новый зав. отделом. (Вместо Бабаева-пьяницы, которого в прошлую среду вызвали на партком.) Корольков Василий Михайлович. Он стоял и смотрел, а рядом, держась за его руку, стояла и смотрела девочка, Марусенька, его дочка. Из-под теплого платка торчал курносый нос и шарили любопытные серые глазищи.

— Здравствуйте, товарищи! — спокойно сказал Корольков и, обходя столы, пожал всем руку. Был он чем-то похож на пожилого завкадрами. А Маруся вертела головой, спешила все узнать, даже кончик языка высунула от старательности. Николай Максимович с непонятной болью где-то под ложечкой смотрел на ее веснушчатую переносицу, на клок белобрысый над бровками, и крутил пуговицу на пиджаке.

— Это что? — спросила девочка про рисунок на столе. На рисунке толстая зайчиха в пенсне катила детскую коляску: Николай Максимович молча, улыбаясь неудержимо, протянул ей рисунок.

— Скажи «спасибо», Маруся, — сказал Корольков. Все в отделе заулыбались, а Николай Максимович впервые почувствовал себя на службе совсем живым; он удивлялся этому и кивал девочке. Она постояла совсем рядом, а потом отошла, и опять стало холодно и кисло запахло табачным дымом, отсыревшей штукатуркой. «У меня нет девочки такой, а у него есть почему-то...» — бормочет он, обводя чернильное пятно, въевшееся в суконку стола.

— Идите чай пить! — зовет Василий Михайлович Корольков из своего кабинетика из-за перегородки. Густой обжигающий чай в эмалированной кружке, о которую греются ладони. Пар размягчает веки, все лицо, от привкуса сахара губы благодарно морщатся. Николай Максимович дует в кружку, сейчас он не боится, а ведь всегда боялся, даже не женился, вот и детей нет,

дочки, как Марусенька, никого. Сейчас не надо бояться, а недавно — зима стояла над миром, огромная, матовая, люди, как куколки промерзшие, валялись на дорогах, он их видал, никто из них не спасся, не ожил... Да, сейчас — пей чай, грейся, ты жив, ты — здесь и будешь жить... и это — нормально. Но тогда, в 44-м он скрытно стыдился, что побывал там такое малое время, и никому не объяснишь, почему он здесь в комнате, а не в окопе, разве можно объяснить такое постыдное дело? Засмеют и не поверят. Кому расскажешь, что его ранило, едва прибыли в эшелоне, осколком авиабомбы в копчик. Да! Ведь не будешь снимать штаны и показывать, не будешь объяснять, что смещен позвонок копчика. (Название-то какое!) А как ранило, завалило землей, он не помнил. Очнулся в медсанбате, и сестра сказала: «Ну и везучий ты — по обмотке заметили ребята. А то б и не раскопали! Прошли мимо. Засыпало тебя всего. А обмотка — сверху — размоталась и торчит!» Он только помнил — как встал их эшелон с боеприпасами, как он и другие из роты охраны прыгали с тормозных площадок в сугробы, под насыпь. Обмотка размоталась — это он точно помнил. Некогда было ее, проклятую, заматывать. Он только пригнулся от стального вопля из серенького неба, и все. Это было 12 января 1944 года.

Итак, он стал белобилетником и давно уже сидит в редакции и пишет. Когда очень больно, примащивается и сидит на одной ягодице. Но он хоть немного, да испытал всеобщей этой погибели. А почему Корольков не был на фронте? Броня? Покрыватели? Возраст? Но для комсостава не так уж и стар...»

«Прошло полгода», — написано на промокашке. Бессмысленные слова — полгода, год, месяц. Их можно только писать. Ничего не прошло. Он звонит на полутемной площадке в квартиру 4. Он перекладывает портфель, в котором гранки для Королькова, из руки в руку. Шаги и «здравствуйте, принесли?» И столовая, где

тепло, Маруся в синем бумазейном платье стоит голыми коленками на стуле и рисует под абажуром. Длинный чулок сполз, отстегнулась подвязка, а стриженная машинкой голова смешно блестит ежиком, сквозь волосы просвечивает кожа.

— Скарлатину перенесла, — говорит сзади Корольков. — Чаю попьете? Шубу-то снимите. — И потом негромко, странно: — Эх, дети-детишки!

Николай Максимович глотает какие-то слова, мнет шапку. Над верхней губой у Маруси прилипла хлебная крошка, она слизывает ее, улыбается ему, хитро щурится:

— А вы еще нарисовали мне? Зайцев?

...Николай Максимович сидит на деревенской терраске, уставившись в пустоту, он не чует своих коленей, лица, сцепленных пальцев, и незаметно редакционная комнатенка рассыпается, как гнилая клетчатка, исчезают промокашка с кляксой, календарь на перегородке, окурок в пепельнице, и стылый московский мороз вытесняется азиатским зноем пустыни. Этот равнодушный зной давит под затылок угрюмой духотой, в корнях мозга шевелятся лохматые полумысли, в нем (или не в нем? в двойнике?) на дне дышащего провала, там, в незнакомой долине, где меловые холмы дрожат в мареве полдня, началось это. Среди лезвий выжженной добела травы, среди слюдяных блесток гранита, где проскользнула ящерка. У нее был умный роговой глазок. На что он смотрел? Пустая улица расколота зноем, все плоско, без теней, и трупы, как скорлупки жучков, и на них наплевать: один труп или тысячи, если ты прав?

«Вот, может быть, когда все это началось...». Николай Максимович все сидит на приступке терраски, глаза его сдваиваются на песчинке, втоптанной каблуком в землю, глаза размываются, а зрачки заостряются, как дырочки в небытие: всей кожей ощущает он сейчас, что

и эта смоленская деревенька Столешнево стоит не на огородах и травах, а на жестоких песках Мезозойской эры. А пески помнят все.

* * *

Было написано в настольном календаре: «Это началось в 1951 году». А на самом деле не в году, а в ту одну-единственную секунду началось. Секунда не имеет времени, ее нет в календаре, она всегда здесь.

Письменный стол в пятнах клея и чернил стоял сбоку у двери. Корольков подошел и положил на стол скоросшиватель. «Переписка. Корреспонденция. №№ 1245—7654» — было написано на скоросшивателе рукой Королькова.

— Вы опять забыли про Харьков, — сказал Корольков неторопливо. — Я Зою Владимировну спрашивал, она сказала — им не ответили. Про стеклозавод.

— Я ответил, но... — сказал Николай Максимович и снял очки.

— Спорить здесь не нужно, — деловито спокойно прервал Корольков.

Все замолчали в комнате. Вот именно тогда. Неожиданно Николай Максимович впервые почувствовал запах Королькова: запах земляничного мыла и холодной толстой кожи его промытых коротких пальцев. В одну единственную секунду открылся весь этот запах. Николай Максимович надел очки и посмотрел на Королькова, хотя видел его уже два года подряд: его аккуратный седой ежик, и серенькие строгие глазки, и чисто пробритые складки мягкогубого рта, и изюминку-родинку над правой бровью. Серенькие глазки стали чуть строже, а потом отвернулись медленно...

— Выполняйте, Николай Максимович, — негромко сказал Корольков и повернулся спиной — толстый пиджак с плечами и складка кожи над заглаженным до желтизны воротничком мягкой рубашки. И вместе с за-

пахом подкатила тошнота, от которой нельзя было избавиться. Чтобы от нее избавиться, наверное, надо было только одно: чтобы Корольков перестал существовать. И никогда и нигде не воскрес.

А он жил и ежедневно в восемь пятнадцать проходил в свой кабинетик замредактора, и ежедневно, пожимая его толстые пальцы, надо было глотать запах земляничного мыла и прятать непроизвольную спазму. От этого постепенно деревенели и отмирали внутри Николая Максимовича какие-то жилки в сердце, теплые и беспомощные, от этого он томился, начинал тупо смотреть в стол, ожидая, что вот Корольков не придет, задавит его автобусом, или он схватит пневмонию, или его оклевещут и сошлют... «Может быть, я сам дойду до этого?» — с тоской подумал Николай Максимович, отодвигая пачку машинописных листов. В сукно стола намертво въелось пятно, он обвел его пальцем, постарался обдумать все четко. «Почему я его ненавижу так? Ну, его «производственный стаж» (тыловой!), его «седины заслуженные», его «так, значит» на собраниях, его подпись кудреватая (я работаю, а он подписывает), его демагогия снисходительная — все это я и раньше знал. И это и другое, а чай у него пил. До той секундочки — знал и пил. А теперь — не могу. Нет, он не человек, он — хитрая болвашка, аккуратная такая и себя любящая очень, очень. Ведь он доведет — я и доносик сочиню... Хотя оклеветать — гнусно. Может быть, лучше — убить?..»

На бесцветных щеках Николая Максимовича выступили два красных пятнышка, он впился зрачками в стол.

«...Он меня заставит, заставит это сделать. Доносчиком стать. Не могу им стать. Не могу им стать. Но и так жить невозможно. Спокойнее. Надо не дрожать. Не дрожи, коленка! Надо уничтожить? Что? Доносик. На Королькова. Причину уничтожить — запах мыла этого... У него и кожа-то мертвая, в пупырышках!..»

Николай Максимович тихонько сплюнул под стол.

«Раз Каин мог убить Авеля, то тем более Авель мог убить Каина. Ведь Каин был завистник, он мстил всем за свою серость, он был мелкий начальничек, он был Корольков. Не Каин должен был убить Авеля, а наоборот. И тогда не было бы на земле потомков Каина, а была бы свобода совести, собраний и всего...»

В полумраке подсознания увидел он, как благопристойное седовласое и выбритое лицо Королькова искажается от ужаса: над ним подият меч. Меч, или камень, или тяжелый стеклянный шар — пресс-папье, которое стояло на домашнем столе Николая Максимовича в его комнате на Молчановке. Пресс-папье, которым прижимал он листочки записочек и конверты, а также квитанции на свет, газ и воду.

* * *

В автобусе по дороге на работу, в буфете, в редакции — везде теперь видел Николай Максимович искаженное, но истинное лицо Королькова. Он теперь знал — какое оно на самом деле. А обыденное будничио-снисходительное лицо — это ложь, весь он — ложъ, его идейки — ложь, его рот толстогубый — ложь, лапа его пятипалая, промытая — ложь, голос его медленный «принципиальный» — ложь и ложь... Я эту ложь сорву, как тряпку гнилую... Я только возьму и скажу: «Вы сейчас сдохнете, дорогой Василий Михайлович. Посмотрите-ка на меня пристально!» Я не сзади его ударю, а только после этого... Господи, что же это со мной такое?!»

Николай Максимович отер лоб и сел на постели. В квартире было тихо и как-то затхло, Галина Петровна — соседка старая — спала, наверное, все спали, изредка по Молчановке проезжал грузовик, дождик колотил по ржавому карнизу. Только в дождике была какая-то глубокая отрешенность от всего: от Николая Максимовича, от Королькова, от редакции. Дождик па-

дал из пустоты, из туч, которых ночью не видно, оттуда, из иной страны. Он обмывал булыжники, чердаки, голые липы на Гоголевском бульваре, он сеял на алебастровые искрошенные лица двух кариатид, которые поддерживали особнячок напротив. Лица кариатид были темны от многих дождей, немы, отрешенны, суровы. Николай Максимович старался понять их и не мог. Он не пытался заснуть. Он только хотел ни о чем не думать и слушать дождь, который сеял и сеял из серого и непостижимого небытия, где Каин спорил с Богом.

«Оклеветать гнуснее, чем убить». Дождь пошел ровнее, шире, словно совсем отрешился от людей. Полосы его туманно проступали за стеклом, словно духи качались там, заглядывая равнодушно. «Разве я не прав? От ненависти ко лжи я убиваю тебя. Я очищаю землю. Я хочу свободно засыпать под шум дождя. А сейчас не могу спать. Но, может быть, это только потому, что я боюсь самого себя? Но я ведь не виноват. Я не виноват, что мне так тошно. Это он виноват во всем. Весь я стал плоским, как жесть. А он цветет своей розовой плотью и моет эту плоть земляничным мылом, отмывает свою честность, свою «идейность». И надо кровь отворить, чтобы наваждение разрушить. Чтобы король стал гол, надо, чтобы он завизжал от страха!»

Николай Максимович опять сел в отсыревшей постели: ему почудилось, что он понял главную тайну: только отворенная кровь никогда не лжет. Он почувствовал, что он не жалкий технический редактор, а некто с орлиными беспощадными глазами, мускулистый, молодой, густоволосый, как античный воин — сын Зевса и слабой глупой женщины, заблудившийся в железобетонном городе смертных, которому все дозволено будет однажды. В один определенный миг. Миг этот сверкнул на секунду, точно в темной комнате открылся и закрылся желтый кошачий глаз. Потом все пропало. Или это просто мигнули фары проехавшей по переулку машины?

* * *

Николай Максимович жил в шестиэтажном доходном доме восьмидесятых годов на углу Молчановки и Трубниковского переулка. Дом был массивный, облупленный и грязный. 18 августа Николай Максимович стоял у окна своей комнатки и смотрел во двор. Двор был безлюден и накален солнцем. Во рту было сухо от ангины, в голове гудела тишина: квартира пустовала, Игнатьев был в командировке, Сыраевичи на даче, а дряхлая Галина Петровна из комнаты вообще не вылезала. Николай Максимович только что вернулся из Снегиревской поликлиники, что на Собачьей площадке (а потом — площади Композиторов), где ему дали больничный лист на три дня и посоветовали полоскать горло содой. Он стоял и смотрел на пыльный асфальт двора и тупо, все тупее перекатывал во рту странное липкое ожидание. Так прошло с полчаса. Через двор пробежала кошка, и Николай Максимович вздрогнул. Он почувствовал, что его зазнобило, а из ушей словно вынули пробки: даже поскрипывание подтяжек при вдохе стало слышно. Глаза словно охолодели, обострились, пальцы на ногах поджались, кожа под волосами на голове пошла пупырышками. «Вот оно!» — прошептало что-то.

Николай Максимович подошел к письменному столу и взглянул на часы: было ровно четыре тридцать две. Рядом с часами лежал этот тяжелый стеклянный шар — пресс-папье. Он взял шар, опустил его в старый, но еще прочный носок и спрятал в портфель. Бумажки и квитанции на столе он придавил часами. Потом он разделся, натянул пижаму и в тапочках вышел в коридор. У двери Галины Петровны он затаил дыхание, постучал. Постучал еще раз. «Кто там?» — высоким голоском прокричала она. «Галина Петровна, я заболел, на бюллетене, не зовите к телефону — я лягу». Сквозь щель двери она неодобрительно оглядела его пижаму и тапочки, кивнула, сказала: «Хорошо, да мне все равно,

я к нему и не подхожу!..» — и закрыла дверь. Николай Максимович прошел к себе, лихорадочно оделся, взял портфель и на цыпочках прокрался в переднюю. Он долго осторожно поворачивал замок, вышел, неслышно притворил за собой дверь и стал спускаться по лестнице сначала тоже на цыпочках, а потом, усмехнувшись, во всю ногу. «Так же и вернусь, не заметит!» — подумал он отчетливо и опять усмехнулся.

Утром в редакции Корольков сказал Зое Владимировне: «А Марусенька уже почти месяц на даче. В Калистове. Это по Ярославской». «А кто ж вам готовит?» — «А я привык по-холостяцки», — сказал он и показал ровные и очень чистые зубы. Даже зубы он сберег лучше, чем другие люди.

Николай Максимович продумал все в пять-шесть секунд: пока кошка пересекала двор, это пришло и продумалось, точно в машине счетной. Он берет на Смоленской такси и едет до Колхозной площади, 10—15 минут — и там. С пяти Корольков дома всегда. Так вот в пять тридцать он позвонит у его двери в Котельском переулке. Отдельная квартирка. Из старых, но удобных, Котельский, 26, квартира 4. Второй этаж. Площадка полутемная. Он ее помнит — он приносил сюда рукописи раза три. Для того чтобы, прочитав все отзывы, Корольков написал: «Недоработанно». Так с двумя Н и надписывал. Он и десятилетки, может быть, не кончал? Но не в том дело... И не в том, что Корольков во лжи дышит и ложь кушает, и не в его принципиальности обездушенной, и не в биографии отполированной. Дело просто в том, что нечто давит и растет с каждым днем от запаха веснушчатой кожи, чисто промытой земляничным мылом. Надо избавиться от этого. Сегодня, в этот жаркий неживой асфальтовый день, машина провернула первую шестеренку, и теперь все будет раскручиваться, как в часах, которые тикают сейчас на тумбочке около портретика А. П. Чехова в стеклянной рамочке... «При чем Чехов тут?» От этой мысли он пропустил

одно такси, но взял следующее. Пестрые и ленивые от жары прохожие мелькали мимо, а Николай Максимович протирал двумя пальцами листок бумаги во внутреннем кармане пиджака. Там было написано: «И сказал Каин Господу: «Наказание мое больше, нежели снести можно».

Но и это уже было все равно: осталось только тупое равномерное движение машины, которая жужжала в каменной духоте все ближе и ближе к Котельскому переулку. Уже нельзя было ее остановить.

* * *

Красный свет светофора зажегся в мозгу, даже руки, сложенные на коленях, порозовели до самых ногтей, и он хотел выплюнуть ком, чтобы сказать шефу: «Не надо!», но все горло завалило ангиной. В зеркальце перед шофером уносился назад проспект, шлифованные полосы на асфальте, площадь Маяковского, потом сутулые домишки из грязного кирпича, старуха с портфельчиком, коляска, аптека, грузовик, и одновременно он уже стоял в глухоте полутемной лестничной площадки и принюхивался к известковой пыли. Он вспоминал, где еще так пахло каменной пылью, где-то очень давно на известковых холмах с пятнами выцветшей зелени, в полдень, когда нигде нет тени от зноя... Звоночек задребезжал в квартире, и он посмотрел на чью-то неживую руку с розовыми ногтями, и прогнал какую-то мысль (самое опасное сейчас — это думать!), и почувствовал полное спокойствие, потому что и руки и ноги двигались на смазанных шарнирах, это был не он, а робот, прилично одетый робот с вязаным галстучком. Серые глазки Королькова смотрели вопросительно, глупо, а за мясистым ухом серебрилась щетинка — место, в которое надо деловито ударить, чтобы прекратить ангинный комок в дыхании и запах земляничного мыла.

Машина жужжала по Садовому кольцу и несла его

к этой вмятине за ухом мимо выдуманных прохожих и декораций домов. Машина все рассчитала, продумала, а он ни при чем, машина дает Королькову листочек с какой-нибудь выпиской и выпускает его из пальцев, Корольков нагибается, открывая затылок, и тогда машинная рука бьет его шаром, а потом аккуратно прячет шар в портфель...

Такси тряхнуло, в лицо дохнуло каменной и бензиновой пылью, и он вспомнил, что забыл поднять с пола выписку из Библии, написанную его рукой (машина его предала!), и так сжал зубы, что заломило в ушах и глаза открылись: таксист тормозил около универмага на Колхозной площади. «Здесь?» — «Да, спасибо, я вылезу...» Небо за ветровым стеклом было пыльным, нездорово розовым, таксист рассматривал мятую трешку, Николай Максимович вылез, зацепившись, и пошел к переходу: на той стороне за больницей Склифосовского был поворот в переулок Королькова. И туда его тянуло, засасывало отвратительно мощным безгубым ртом, а сам он весь был пуст, и ноги уже совсем будто отдельно от него шагали по нагретому асфальту, оставляя ломаные следы стоптанных каблуков.

* * *

Корольков открыл дверь и посторонился. «А вы ж болеете», — сказал он, когда Николай Максимович проходил мимо. Корольков был без пиджака, белая мятая рубашка закатана на толстоватых руках и расстегнута, а глаза будто заспаны, недовольны, отвлечены.

— Я на минутку, — сказал Николай Максимович, как всегда.

— Так пройдемте.

И они прошли в кабинетик с портретом Горького и красными переплетами классиков. В квартире было пусто и пыльно; семья еще была на даче.

Они стояли у стола, и Корольков выдержанно, со скукой ждал.

Николай Максимович открыл портфель и вытянул нитяной носок с шаром-кистенем. Нижняя челюсть лица у него стала деревенеть, и поэтому он не сразу выговорил: «Вот».

— Что это? — спросил Корольков.

— Это... Это для вас. Этим я вас убить хочу, — сказал голос настолько незнакомый, что у них у обоих сжало затылок.

— За что же? — не волнуясь, спросил Корольков. Он даже не шелохнулся, серые глазки его не изменились.

— Так. Просто так, — сказал Николай Максимович.

Они помолчали пять-десять секунд. Потом Корольков нагнулся, выдвинул ящик письменного стола и стал в нем шарить. Теперь была видна только складка шеи и седоватые короткие волоски.

Николая Максимовича всего обдало ознобом: «Вот — дозволено все — бей!» Носок с кистенем оттягивал руку до самого пола, рука стискивалась, наливалась, наливалась, держалась на волоске... Но тут наступил провал: он не помнил, что он сделал, он только видел размытый розовый круг.

— Прочтите вот это, — устало сказал голос Королькова, и рука протянула незапечатанный конверт со штампом издательства. На конверте стояло:

«Следственным органам.»

А в конверте был листок, исписанный его аккуратным округлым почерком.

«При разборе моего дела прошу учесть нижеследующее: с семьей у меня нормальные семейные отношения, на работе пользуюсь уважением руководства и сослуживцев, здоров, особых запросов не имею. Однако в 37-м году столкнулся с противоречием, которое считаю неразрешимым. В виду этого и чувствуя постоянную скуку, принял решение самоликвидироваться. Поэтому про-

шу в смерти моей никого не винить, а имущество разделить согласно закону. Письмо это прошу не разглашать, чтобы не оказать вредного влияния на подрастающее поколение. Из этих же целей не оглашаю характер противоречия.

В. М. Корольков».

«...Особых запросов не имею...» — шепотом повторял Николай Максимович. «За что же его? — Просто так. Убить просто так...» Он поднял голову: Корольков стоял близко и спокойно, сквозь ворот рубашки была видна пухлая грудь, она дышала.

— Вот, возьмите это, — сказал Корольков тихо. — И употребите, если надо. Это вас оправдает. — Он поправил подсученный на голой руке рукав и добавил: — И мне полегче. Когда не сам...

Николай Максимович хотел что-то сказать, но губы не слушались. Он выпустил носок, шар стукнул о паркет, ноги сами попятились, сами вывели его на площадку. Там, в темном углу, где в носу першило от известковой пыли, он обвел пальцем алое пятно, расплывающееся на штукатурке. «...Убить. Просто так. Вот она правда — не за вину, а просто так убить. Василия Михайловича. Да, дважды: в такси и здесь, и больше — сотни раз убивал — в комнате, в туалете, в автобусе... Просто так. Не надо никакой вины — хотя она и есть, — просто так ударь его, чтобы ненависть сожрала, сглотнула свой кусок и отвалилась — просто так, — отвалилась и лениво задремала. Тогда она перестанет давить...»

Он еще раз обвел алое пятно. Но оно осталось и на ступеньках, и на песке дворика (где еще этот жесткий песок? во рту?), и на столбе у ворот. Только в переулке он почувствовал, что держит в руках конверт с завещанием Королькова. Он сложил его и спрятал во внутренний карман. Комок конверта надавливал изнутри на дыхание, как булыжник. Но он не мог его выкинуть.

«Всякому, кто убьет Каина, — вспомнил он, — отмстится всемеро». Николай Максимович остановился. «Но почему? Почему не Каину, а тому, кто убьет Каина?» Нет, с этим нельзя согласиться...

* * *

Дождь стал стихать, но набухшие тучи только над самыми деревьями пропускали слабый рассвет в низкую бревенчатую комнату. Туман, как длинное безглазое лицо, лепился к отпотевшему стеклу, сырая покорность стекала беззвучными полосами, обволакивала веки и похолодевшие серьезные глаза. Еще немного, и можно понять, и можно забыть нечто, не забыть, но успокоить, принять и успокоить, потому что идет стихающий дождь, а духи лесов смотрят на мои смирные руки, сложенные поверх ватного одеяла, а в избе пахнет печным дымком, мочалкой, вареной картошкой и еще чем-то деревянным, самодельным, наивным. За дорогой прокричал петух, второй, в темной яблоне завозилась, пискнула птичка, и мокрые толстые листья чуть заголубели по краям. Меж двух листьев стало видно промытую маленькую звезду. Еще немного...

Николай Максимович сел на постели, и ноги нащупали тапочки на сыром полу.

«Авель, убивающий Каина, может быть, сам становится Каином? — прошептал он в раздумье. — Всякий убивающий без суда — убийца, и самосуду никогда нет оправдания. Поэтому: «Всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро».

Изба, и тучи, и затаившийся сад — все молчало.

«Зачем же так со мной было? Кто ж это влез в меня? Я лучше выйду, да, лучше мне выйти отсюда, из себя...»

Он натянул брюки, прошел тусклую теплоту избы и, нащупав дверь, вышел в холод спящего сада.

Уже была видна короткая скошенная трава между яблонь; на их сучьях, на сером от воды кустарнике смородины лежала розоватая дымка, и капли редко и ясно срывались и шлепали по листьям внизу.

Он стоял, осенняя роса леденила ноги, студеное молчание охватывало грудь, голову, словно все копошащееся нутряное отпало, и он стал совершенно пуст, насторожен и одинок, точно тонкий стакан, забытый на краю пустыни.

Дохнуло, качнулись еще темные листья, защекотало висок телесным слабым дыханием: в самое ухо Марусины губы детские шептали, дрожа от смеха: «Папе не говорите: я эту тетю на уроке срисовывала!» Ее тонкие пальчики держались за его рукав, она стояла на коленках на стуле, под абажуром искрилась стриженая голова, а на полу рядом будто лежало на животе полное тело, серые брюки обтягивали толстый зад и... «А-ах!» — беззвучно выкрикнулось у него изнутри, тонкий стакан через край наполнило горячим ветром, все звенело, расширялось, мелькнули дальние лиловые холмы туч, полоса курящихся на восходе песков, обломок гранита в слюдяных крапинах, и Николай Максимович почувствовал мелкую непреодолимую дрожь облегчения, бьющуюся в коленях и середине груди.

«Василий Михайлович! — сказал он и поднял подбородок, — как же я это так?! Это не я, не я! Василий Михайлович, не надо убивать, никогда, никого, и себя, себя, я все понял, поверьте мне! Мы же не знаем, что делаем, поверьте, ради Бога, а ведь они, дети, детишки, Маруся, Марусенька ваша!..»

Свет уже пробивался под ушедшей тучей, и четко чернели низкие сучки старой яблони, которая росла в углу у плетня. Ее уже пожелтевшие кое-где листья и кривой ствол еще не проснулись, на мягкой земле круглились мелкие светлые в полутьме яблочки-падунцы. Винный запах чистого могучего тела испарялся оттуда, словно это было на рассвете в Долине Тигра и Ефрата

когда новорожденный Титан медленно подымал влажные веки навстречу шестому дню творенья.

Он лежал, опираясь на руку, смутно светился его обнаженный торс, и дыхание — ровное и бездумное — подымалось и спадало в тумане. Он точно слышал, как удалялся, успокаивался шум дождя, шум всех дождей, шелест и стук капель, которые уже наливались крохотными гранями зари. Он ничего еще не видел и ни о чем не думал, он все понимал.

Он знал, что Николай Максимович плачет, не снимая очков и не замечая промоченных ног и незастегнутой рубашки. Плачет беззвучно и облегченно от изнеможения и благодарности.



КАПИТАН СКОТТ

Они стоят рядом, и вагон метро качает их. Они никуда не смотрят. Все смотрят на их модные куртки.

— Ты сдал сопромат?

— Тимоха, говорят, сыплет...

Они долговолосы, они оба без шапок, хотя декабрь на исходе.

— Скукота у Тимошенки...

— Начетчик...

Черноватый смотрит в никель. В никеле качается его красный шарф. Тетка напротив воззрилась на этого женоподобного парня, ее глаза и нос деревенеют. Она в цигейковой шубе.

— Ты у Лины в среду будешь?

Блондин смотрит в тоннель, воронка ветра глотает темноту.

— Все одно — можно...

— Есть новое, побалдеем...

Воронка бессмысленно сосет и глотает скорость.

— В пятницу зачет по истории...

— Плюнь! Кировская? Моя. Пока!

— Привет!

Черноватый вываливается, толпа гасит его красный шарф. Блондин совсем в одиночестве. Он смотрит мимо чужих зрачков, которые щупают, ползают и решают. У него вспотела шея. Тогда он открывает книгу на 324-й странице.

...Около семи часов подул ветер с глетчера. Многие из нас временно ослепли от снега...

Вагон качается, и бежит темнота, и слепые лица в стеклах темноты, и слепые лампочки, и провода, провода, и опять гром и эхо бетонной темноты.

...Мы увязли в снегу, и, как ни бились, сани тащились будто свинцовые...

«Комсомольская!» Грохот и свет, лица, шубы, новые глаза, рты. «Наплевать на них. Но сколько их все-таки... И я... Не так просто все. Вот Севе действительно наплевать на них».

...Вторник, 16 января. Минус 31°. Норвежцы первыми достигли полюса. Никто из нас после полученного удара не смог заснуть, и мы вышли обратно в 7 час. 30 мин.

Сева сказал бы: «Чего они там потеряли на полюсе?» Сева... Он говорит: «Все — дерьмо». Он старший брат. «Плюнь на все навсегда», — говорит он. Но ведь он — сильный... Глаза у него сильные и голубые... Он не хныкал от той его первой жены... Плюнь на все. На все?..»

...Перед нами 800 миль пешего хождения с грузом... Больше всего беспокоит нас Эванс... Я первый подошел к нему. Эванс стоял на коленях. Одежда его была в беспорядке, руки обнажены, глаза дикие, на вопрос, что с ним, Эванс ответил, что не знает...

«Плюнул бы Сева на Эванса? Он был великан, лейтенант королевского флота. Умер и все. Странно. Сейчас над ним, наверное, метров десять снега. Белого и сухого».

— Вы выходите?

Плечи задевали за плечи, эскалатор пропускал через сотни встречных глаз. «Эванс умер в белом мираже»... Белый мираж заслонял вокзал, через него пробивался репродуктор: «Поезд до Загорска, первая остановка... далее везде...»

В вагоне капало со стекла, дышали, кашляли, шуршали газетой, смотрели исподтишка. Он не смотрел, он все знал: все день в день одно: сквозь немытые вагонные стекла, сквозь палисадник пригорода, сквозь вранье и зачеты, и столовку, и кино, и авоську, и ларьки, и пиво, и чертежи... Туда и обратно и туда...

...Положение наше очень опасное... Поверхность пути покрыта тонким слоем шершавых кристаллов...

...Помоги нам, Провидение! Людской помощи мы ожидать больше не можем...

Дернуло, поплыло, откачнуло, на платформе раздавленная станиоль от мороженого, и плевки, и окурки, и мокрый асфальт, доски, а потом масляные стрелки, и шлак, и черные лужи...

«Все одно...» Это стало тошнотой, в сером вагоне на секунду не хватило дыхания, но духота была промозглой, как грязный лед.

...Никто из нас не ожидал таких страшных холодов.

Друг другу мы помочь не в состоянии.

«Да, не в состоянии. **И мы тоже не в состоянии.** Никому и себе. Тошнота стала плотной, как вялая мертвая серость. Вечер у Лины — тоже тошнота. И водка — тоже. На черта это нам?»

...Светит солнце, а ветра нет. Бедный Отс не в состоянии идти. Он сидит на санях...

Кто-то сел напротив, седоватый и небритый, устало посмотрел. Кто-то сел рядом, и студент не понимал слов: «Я говорю ей, вы культурный человек, а переставили...» Он не хотел слышать и уходить к Отсу. Огромный, заледеневший, он сидел на санях. У него были добрые, холодные глаза.

> ...Температура минус 43°. Отс просил оставить его. Этого мы сделать не можем.

«И я бы не смог, наверное, хотя все это — сантименты. Так сказал Сева, «все живут для себя», — сказал он, и ударил по стакану, и порезал руку. Он был пьян, но сказал: «Что я буду о них думать?»

> ...Последние мысли Отса были о его матери, но перед тем он с гордостью выразил надежду, что его полк будет доволен мужеством, с каким он встретил смерть...

«Сева сказал бы: «При чем здесь полк?» Но ведь он и сам был когда-то солдатом?»

> ...Это было вчера. Была пурга. Он сказал: «Пойду пройдусь! Может быть, не вернусь скоро». Он вышел в метель, и мы его больше не видели...
>
> Мы знали, что Отс идет на смерть, но что он поступает, как благородный человек...

«Сева бы плюнул на Отса? Если да, то он сам подонок. И «благородный человек» — здесь не смешно, — они это говорили, потому что делали так. А мы? Кто мы? Кто я?»

Он поднял голову. Ответа не было. Он стал подходить к ответу и не смог. Поезд подходил к станции. На окне лежал лед. Отс ушел в пургу, чтобы остальные дошли до базы на Ледяном Барьере. Матовая стена над миром — Великий Ледяной Барьер. Сквозь него пробегали шлаковые пути Лосиноостровской, дачки-теремки, закопченные прутья в сугробах. Люди без глаз и без имен заполняли вагон. Сквозь них светились льды.

«Кто из них знает про Отса? Они не верят ни во что.

Но ведь он был. Это не роман — это дневник. Документ. Отс был. Холодно здесь».

Сумерки неслись назад без конца. Поезд спешил к ночи, между телом и ночью дрожало тонкое стекло, и лампы неслись и дрожали в нем.

...В походной печке последний керосин — вот и все, что стоит между нами и смертью. С 21-го свирепствовал неистовый шторм. До склада всего 11 миль, но нет возможности идти, так несет и крутит снег. Жаль, но не думаю, чтобы я был в состоянии еще писать. Р. Скотт...

Последняя запись: РАДИ БОГА, НЕ ОСТАВЬТЕ НАШИХ БЛИЗКИХ. Колеса стучали: Ради Бога, ради Бога не оставьте, ради Бога... Несет и крутит снег. Снег, снег... «Папа умер в снегу в войну под Волоколамском. Говорят — так надо».

Колеса стучали: Так надо. Зачем? Так надо. Зачем?

Он открыл глаза. Поезд несся во всю мочь, и сумерки гудели от скорости. Он прижался к окну: через тьму бежал снег. Он вспомнил его крепкий запах. Снег чист. Это хорошо. «Сева что-то напутал. Он боится сознаться, что напутал, и плюет на все. Снег чист. Это важно. На это нельзя плевать. Нельзя плевать на снег».

Он не следил сейчас за своим лицом, что-то первый раз так задело остро и прямо, как лед, как лезвие. Он забыл о своем лице, и о модном презрении, и о чужих и смотрел, как мальчишка в опере, на огромную безмолвную равнину. Она белела незыблемо, как мрамор. Бесконечно.

«Что сказали бы об этом у Лины? Поль сказал бы... Он умно и сонно улыбнулся бы вот так... И я дал бы ему в морду вот так... Хоть он и сильный, и умный, и он прав. Прав?»

Пол и потолок качало. Стало мучительно от потери равновесия. Вагон с мыслями качало и швыряло к чертям. «Надо одно, что-нибудь одно...»

...Этот крест, девяти футов в вышину из австралий-

ского красного дерева стоит ныне на вершине наблюдательного холма. Он обращен к Великому Ледяному Барьеру, и его отлично видно с места зимовки «Дискавери».

Строка из Теннисоновского «Уллиса» написана на кресте: «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

«Вот что значат эти слова. А я где-то читал их. Так вот что они значат».

Он закрыл книгу. Колеса стучали: — Этот крест, этот крест...

У соседа напротив — седая щетина, глубокие поры, усталые глаза. Не чужие, а просто очень усталые. Может быть, они что-то знают об этом? Но что? Колеса стучали: но что? но что?

Вагон разрывал сумерки, махающие деревья. Лица и лица качались в стеклах. Их уносило в поля, в отблески электрических городов.

«Кто из них знает, ради чего умер капитан Скотт?»



С ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА

Из дневника Кости Карташева

В коридоре я задел за корзинку Коптяевых, громыхнул тазом. Пощелкивал счетчик, пованивало дустом. В кухне в темноте над газовой горелкой голубели чьи-то пальцы, в согнутой черной спине поджидало робкое напряжение.

— Здравствуйте! — сказал я и включил свет.

— Здравствуйте, — не оборачиваясь ответил Чарноцкий. Его дряблый затылок совсем застыл.

Я поставил чайник, покосился на его суставчатые пальцы, на глазунью из одного яйца. «Маловато на ужин!»

— Адам Николаевич, — сказал я громко, — сосисок не хотите?

Водянистые тоскливые зрачки повернулись ко мне, и стало неловко.

— Спасибо, что вы, — сказал он и боком вышел из кухни, балансируя сковородкой. Было совсем тихо. Только булькал мой чайник, и я, не двигаясь, смотрел в паутинный угол за раковиной. На плакате с противогазом и пожаром сидели два твердых шоколадных таракана, фиолетовые формулы ползли через их хитиновые спинки, а потом заулыбалась круглая мордашка Юльки и пропал запах сырого кирпича. «Дурачок ты!» — сказала она у киоска, и ее маленькие пальцы ласково пожали мою ладонь через шерстяную рукавичку. Уже зажигались фонари в снеговом затишье. Юлька уходила к Никитской, меховая шубка покачивалась над тонкими лодыжками.

— Кемаришь, студент? — спросили хрипло. Привалившись к косяку, стоял Геня Коптяев. Белая грязная рубашка была расстегнута до пупа, и я видел его пухлую потную грудь. Он был сильно на взводе.

— Чайника жду...

— Чайники-начальники!.. — кивала горящая сигарета, приклеенная к мокрой губе. — Дай трояк!

— В стипендию дам...

Его отекшее удалое лицо стало некрасивым от мелкой злости. Он выплюнул сигарету мне под ноги и вывалился в коридор. Чайник вскипел, и затряслась крышечка. Я выключил газ. В коридоре грохнул удар, второй удар. Я затоптал Генькину сигарету и пошел к себе.

Геня Коптяев бил кулаком в дверь Чарноцкого.

— Эй, псих! — крикнул он. — Открой! Дай трешку, псих!

— Дай-ка пройти, — сказал я.

— Эй, Адам! — Геня лизнул кулак и еще стукнул. — Открой — убью! — Он улыбался, у него багровели маленькие уши.

— Не обварись, Геня, — сказал я.

— Вались отсюда... Эй, псих!

Я поставил чайник на пол. Тогда Геня обернулся. Он был выше меня, плотнее и старше. Говорят, он был снайпером на фронте, был контужен. Он неплохо рисовал плакаты для домоуправления.

— Проходи, чего встал, — сказал он почти трезво. Но я взял его за запястье, резко развернул и втолкнул в ванную. Пока он поднимался с пола, я включил свет. Он бросился на меня, но я опять сбил его с ног и включил душ. На его лицо неприятно было смотреть, когда я сжимал его под душем. Вода хлестала по рубашке, по глазам. Потом он стал всхлипывать и обмяк.

— Раздевайся теперь, — сказал я. — Сам. Ну? Лезь и умойся. А потом — спать. Ну?

Сидя на краю ванной, он стаскивал мокрые туфли и ругался шепотом. Я пошел к себе и заварил свежего чая. В квартире было тихо, как в гробу. Даже к телефону в коридоре никто не подходил.

«Пора и на боковую», — сказал я себе. По вторникам я ходил на тренировки и вставал рано. Я лежал и с удовольствием думал о большом трамплине. Это здорово помогло. «Делаем — раз! (под простыней сами поджимались ноги) — толчок! (ноги выпрямлялись) — отрыв! — (задерживался вдох). Внимание — равновесие, — полет, равновесие, — приземление, внимание! — выпад! — пошел!»

Снег мелькал в глазах. Эстакада разгона пружинила под лыжами, отрыв был незаметен, как переход в невесомость, не тело, а птица парила над макушками берез и пятнами лиц.

В комнату с улицы светило белесое от фонарей небо. Я стал проваливаться в тиканье будильника, вкус пива горчил, как вкус оттепели.

* * *

После тренировки я поехал к Юльке и домой вернулся поздно. Когда я пошел ставить чайник, то опять уви-

дел в темноте голубые пальцы над газовой горелкой и боязливую спину Адама.

— Чего вы свет экономите, — сказал я, — так и лоб расшибить можно.

— Ничего, мне видно, — тихо сказал он.

Я поставил чайник и достал сигарету. Спина Адама горбилась над сковородкой.

— Вот вы так прыгаете, — сказал он, — ведь это ужасно! Пожалуйста, проверяйте крепления, прошу вас!

Я онемел. Вчера перед стартом наверху эстакады я не застегнул «лягушку» левого крепления. Это редко бывает, а если бывает, то кончается у Склифосовского. Но я заметил эту неисправность до отмашки «давай», застегнул и скользнул к трамплину. Никому я этого не мог рассказать. Откуда же Адам?.. Даже ребята не знают... Откуда же?

— Вот вы, — сказал Адам по-прежнему не оборачиваясь, — толкуете с товарищами о космосе, о йогах... Вам это так важно! А для меня только одно важно — вот эту яичницу дожарить, пока никого нет. Да. Пока не заметили. Пока Геннадия нет. Это очень важно, очень!

Он глянул, и в его водянистых глазках мелькнули две точки острого смысла. Столько он никогда не говорил. «Йоги? Да мне только Юлька о них рассказала раз...»

Адам обошел меня, маленькая сковородка скворчала уже в коридоре.

Я подул на сигарету и посмотрел на пепельный ее огонек.

«Ясно? — спросил я ее. — Нет. И мне. Может, он правда — «псих»?

Крепление заметил! Из своей каморки заметил! Он же по месяцам дальше продмага не выходит. С ума сойти можно!»

Я так задумался, что наступил в коридоре на кошку Коптяевых. Она крякнула и бросилась за шкаф. В длинном коридоре тускло поблескивали облупленные двери

жильцов. Около каждой висел свой счетчик. Это была старая коммунальная квартира в старом доме на Молчановке.

Когда я вышел побродить перед сном по переулку, теплый снежок сеялся в полосе света, обметал гипсовые кариатиды на фасаде. На углах маячили зябкие спины собачников, тощий доберман так долго обнюхивал решетку подвала, что хотелось его ткнуть под хвост. Надо было бы выпить хоть разочек пива перед сном, но даже трешки не было. Всего восемнадцать копеек. А надо бы сегодня... Я боялся скуки.

* * *

У мамаши Коптяевой был вкрадчивый голос и жирный халат с маками. Ее боялся весь двор. Десять лет она работала здесь в домовом комитете. Говорят, в тридцать втором она получила две комнаты, в которых жил какой-то не то врач, не то биолог, а Адама переселили тогда же в его «склеп» около уборной. Мне не было до этого дела, конечно, но вчера я это вспомнил, когда она сказала мне:

— Вы, Костя, зачем избили Геню? Вы ведь знаете, что он больной человек. Он инвалид.

Я смотрел на ее просаленный живот. В глаза ей было бесполезно смотреть.

— Он у Чарноцкого дверь высаживал, — сказал я неторопливо.

— Странно: все дома были, а никто не слыхал.

— Да, странно, — сказал я. — А может, хватит?

— Что хватит?

Но она все поняла.

— Смотрите — убежит, — показала она на чайник.

Я потушил газ.

— А этого человека — где надо — знают, — сказала она про Адама. — Это неясный человек, Костя. Неясный. — Она облизала это слово и проглотила с удоволь-

ствием. — Он уже третий день не выходит в магазин. Я слушала: не дышит. Я думала — может, удар?

— Он вчера яичницу жарил, — сказал я зачем-то, и она ухмыльнулась.

В комнату Адама — бывшую каморку прислуги (дом наш — бывший купеческий особняк) — вела толстая дубовая дверь. Я постучал раз и два.

— У меня грипп, Костя! — откликнулся он издалека.

— Я котлет вам принес.

Дверь щелкнула. Адам стоял на пороге в мешковатой пижаме и стоптанных шлепанцах. На его иссохшей шее двигался кадык. Секунду он только смотрел недоверчиво, потом прошелестел: «Входите!»

Никто никогда не был в его комнате. Она была забита мебелью. Справа, из-за платяного шкафа, выглядывала кровать. Слева — стеллаж с пыльными книгами. У окна — два ящика под брезентом, а между ними теснилось старое кресло. На столике стоял вроде бы огромный вскрытый приемник. На кресле и на подоконнике лежали радиолампы, проволока, инструменты и тряпки.

Адам лег на кровать и натянул одеяло до подбородка.

— Садитесь, — сказал он. Из-под ватного одеяла глядели его внимательные воробьиные глазки. На голове у него торчала смешная лыжная шапочка.

— Ешьте, — сказал я. Он ел котлеты руками, без хлеба; иногда давился, переводил дух.

— Вот чай, — сказал я.

Он обжигался, дул, прикрывая веки, на худом лбу выступила детская испарина. Потом он откинулся и улыбнулся беззубым ртом.

— С утра не ел.

— Завтра и суп сварим, — обещал я. — Купить чего-нибудь?

— Нет, нет...

Он как-то странно меня разглядывал. Я встал.

— Ну, я пошел... Загляну завтра.

Он ничего не ответил: все смотрели, как я ухожу.

В час ночи я проснулся и увидел свое окно. Так часто бывает с тех пор, как мне сказали, что родители мои в послеблокадных списках не числятся. После детдома я их разыскивал два года. Ведь у других ленинградцев нашлись. Но — стоп. Я об этом не думал, когда просыпался в час ночи. Я ни о чем не думал. О чем, собственно, думать в час ночи? Все вроде на месте, а если и не на месте, то это не моего ума дело. Мне всего хватает: двадцать один, и спортивная форма, и второй курс, и все другое прочее, что у всех, не хуже и не лучше. Так я себе говорил, но скука сидела и мигала на меня серыми глазами, и на щеке был неудобный порез после бритья, которого днем я не заметил. Только глухой ночью было время заметить эту скучную царапину — ровный надрезик, сквозь который видна подкожная сукровица в клетчатке.

Почему я не спросил у Адама: «А как вы узнали про крепление?» Нет, не надо ничего спрашивать. Когда я выходил, я заметил над его кроватью фото какой-то женщины. Красивая женщина, хотя лицо неправильное. Неудобно просто так спросить: «А это — кто?»

ЧЕТВЕРГ. ЗЕЛЕНЫЙ РОМБ

— Так, вам, значит, все ясно в жизни, — сказал Адам, выскребывая тарелку с супом. (Он ел лежа в постели, хотя ему сегодня, кажется, было лучше.) — А мне — нет. — Он вытер рот простыней и задумался.

— Это — радиоприемник? — спросил я.

— Приемник? Нет, да, — ответил Адам, очнувшись. — У меня вообще много изобретений, восемь или семь, не помню...

Его водянистые глазки что-то решали во мне.

— Я вам скажу... Уже скоро меня... Хотите?

— Что?

— Я изобретал сорок один год. Я на пенсии. У меня нет детей, — добавил он задумчиво. — Вы не верите в душу?

«Дошел!» — подумал я и ухмыльнулся неуверенно.

— Да, я вижу — не верите. Но это неважно, это даже интереснее...

Он уставился в потолок, помпон шапочки качался над подушкой.

Я закурил и составил грязные тарелки.

— Свет погасить? — спросил я Адама, но он не слышал.

— Налейте полстакана воды. Теплой. Вон там, — сказал он и резко сел, сбросив одеяло. Его востроносое дряблое лицо было теперь сосредоточенно, он щупал ногами шлепанцы под кроватью.

— Куда вы? — спросил я. Адам встал и подошел к окну. Мягко упала черная штора. Адам обернулся ко мне.

— Молодой человек! — сказал он, шепелявя от волнения. — Вы ничего не хотите знать. Вы не любопытны, но вы будете любопытны. Только любопытство спасает от отчаяния. Хотите?

Я хотел уйти, но спросил все-таки:

— Что «хотите»?

— Хотите увидеть неизвестное?

— Какое неизвестное?

— Всякое. Совсем неизвестное. Хорошее и ужасное. Всякое!

Он немного задыхался. От жары, наверное. Надо было его уложить. И самому идти спать. Или не спать, а смотреть на грязное окно, на пиджак на стуле, совсем мертвый после часа ночи. Может быть, поэтому я и ответил:

— Ну что ж...

* * *

Я сидел в кресле между двумя жужжащими, как мошкара, аппаратами Адама. Мой лоб обжимала металлическая дуга, виски холодили голые клеммы. Мне было неловко, и я злился. Передо мной в стакане с водой таяла толстая желтая таблетка.

— Выпейте и считайте до трехсот, — сказал Адам врачебным голосом. — Не волнуйтесь. Не думайте. Не шевелитесь. Закройте глаза.

Я слышал, как он потушил свет. Под веками плавали искристые сороконожки, во рту был привкус йода. Потом что-то сорвалось в голове, и нутро мозга налилось теплым гудением, далеким, как бормотанье огромного стадиона. Я сел поудобнее. Последнее, о чем я подумал, что на моем лице до сих пор торчит эта дурацкая усмешка. Потом я вздрогнул и стиснул челюсти: я увидел вершины деревьев.

* * *

Я смотрел поверх чьей-то головы в кожаном летном шлеме. С огромной высоты мои глаза спускались к земле, покрытой влажными лесами. Горизонт колебался жаркими испарениями болот. Я никогда не видел столько зелени — мясистой и душной; серо-голубые листья, узкие, как спинки ящериц, заполняли все внизу. А в центре этих чужих лесов медленно пульсировал ядовито-зеленый ромб. Точно прищуренный допотопный глаз.

Мне стало страшно, я вцепился в поручни, тяжелая дрожь моторов через потные ладони сотрясала мою голову.

Вертолет висел над вершинами полузатопленных пальм. Ветер винтов комкал их жестяные перья; два оранжевых попугая боком нырнули в мокрую темень; гроздья рыхлых цветов качались, гнулись под самой кабиной. Пахло бензином и летним болотом.

Кто-то коротко вздохнул... Теперь вертолет висел над самым ромбом, и я видел, как воронка вихря прижимает к трясине бледную мертвую траву. Люди в кабине молчали. У толстого доктора было смущенное и озлобленное лицо, механик жадно затягивался сигаретой — оба смотрели из двери кабины на коренастого голого человека, который ждал их на краю поляны. Он стоял совершенно неподвижно, сцепив руки под животом. На красноватом животе, на круглых плечах плясали зеленоватые блики. Из-под надбровных дуг маленькие глаза слепо и равнодушно разглядывали вертолет, а между полукружий грудных мышц медленно опадал ядовитый ромб. Точно рана, затянутая кожицей. «Душа леса», — сказали сбоку, и меня прохватило ознобом, хотя солнце жестоко палило в затылок.

— Два тридцать! — сказал механик. — Трап! — И все стало просто.

Доктор с шумом выдохнул воздух. Красный голыш оказался каменным болванчиком, индейским идолом, затерянным в лесу, в малярийном пекле. До дюраля кабины нельзя было дотронуться.

Механик спрыгнул с трапа, его каблуки вязли в гнилой почве. Он подошел к идолу, похлопал его по плечу и хихикнул.

— Не таруми. И не мавайяны, — сказал доктор. Отдуваясь, он стоял за спиной механика. Я чувствовал, как он с усилием унимает дрожь толстых коленок. — Ну и жара!

— Пивка бы! — сказал механик. — А я-то думал!.. — Он сплюнул сигарету на круглый живот идола. Слепые глазницы смотрели мимо них в гущину листьев и лиан. Доктор опять вытер пот.

— Постой-ка, — сказал он. — Не надо: это вроде культуры майя. Но откуда это здесь?

Механик почесал поясницу. Пилот что-то кричал им через рев винтов: — ...Двести... До Тараны... Не копайтесь! Эй!

Но они не слышали.

Высокое дерево, серо-гладкое, как колонна, с мелкой листвой, усеянной муравьями, дрогнуло до самой макушки. Только я один чувствовал, как оно изменило вертикали, сначала на волос, потом на сантиметр.

— Ну, что, парень: где тут торгуют пивом? — спросил механик у идола и захохотал.

Дерево стронулось еще на сантиметр. Только я видел, как глазницы идола отражают его движение. Еще чуть-чуть. Еще. Черная дуга ускорялась неумолимо.

«Берегись!» — крикнул я доктору, и он отшатнулся. Мелькнули ветви, хлестнули листья, что-то скрипуче простонало, рвануло, точно гнилой холст, и лязгающий удар потряс болотистый грунт.

Все было засыпано сучками и соцветиями. Бензиновый костер коптил искореженные дюралевые листы, из травы мертво торчали ботинки неподвижного механика.

Только толстый доктор все стоял на поляне, вытирая пот с шеи. Его пухлое тело мелко дрожало под мятой белой рубашкой.

— Бог мой, мадонна миа, — сказал он. — Что делать мне? Двести миль. Сельва и двести миль?!

Еще секунду сквозь хлопья летящей сажи я видел красноватую голову идола, оживающий влажный ромб его души. Желтоватое лицо доктора бледнело все сильнее, а губы растягивала растерянная покорная улыбка. Потому что (будь я проклят, если вру) индеец тоже теперь улыбался — жестоко и великодушно — каменной щелью грубого рта. И доктор теперь видел это так же ясно, как и я.

* * *

Мои руки и ноги задергались, и я с трудом понял, что сижу, вцепившись в подлокотники рваного кресла, в какой-то темной каморке. Было душно, как в фотолабо-

ратории, ломило виски под металлическим обручем. Щелкнул выключатель, загорелась лампа, и ко мне наклонилось озабоченное лицо Адама.

— Уберите эту штуку! — сказал я и выругался.

— Сейчас, сейчас! Зачем вы вмешивались, Костя? Я ж говорил, я ж предупреждал!

— И эту уберите к черту! — сказал я. Мне хотелось встать и поскорее выйти в наш двор. Мне хотелось увидеть сугроб около помойки, или вывеску роддома на Молчановке, или хотя бы корзину и велосипед в коридоре.

— Ну вот — готово! — сказал Адам.

Я еще посидел секунду, закрыв глаза. В ноги и ладони точно налили газировку, зудела кожа.

— Нельзя вмешиваться, — повторил Адам.

— Я их не трогал...

— Нет, вы крикнули: «Берегись!» Кому это? Нельзя так. Что вы видели? — робко добавил он.

— Лес какой-то. Не пойму... Я после расскажу...

Мне только хотелось выйти и подышать морозцем около этого сугроба со следами собак. С Арбата вечером ясно доносится жужжанье троллейбуса. Шаги слышны издали, а смех — еще дальше, особенно если смеется девушка.

Я встал, как паралитик, и потащился к двери.

— Ну все-таки — как? — с надеждой спросил Адам.

— Ничего. Почище кино, — сказал я. Я даже не попрощался. Выходя, я слышал, как он прикрывает брезентом свои проклятые ящики.

ПЯТНИЦА. ДЕВОЧКА, ВЫРЕЗАЮЩАЯ СОБАКУ

Была пятница: лекция по математическому анализу, собрание комсоргов, чертежи. А сзади этого все время дышало душно тропическим болотом со шпиками серых

ящериц. Плесень цвела на узловатых пальцах идола, который обо всем знал.

«Нет, больше меня не заманишь. Нет, и точка — не пойду. А то и сам психом станешь!» Да, лучше было долбить сопромат или давиться пшенкой в столовке, чем висеть над дымом джунглей и втягиваться в этот пульсирующий мудрый ромб. И почему именно ромб?

Я шагал по Ленинскому проспекту и старался вспомнить название этого ромба, но не мог. Навстречу из дверей метро валила в клубах пара московская толпа. Я видел привычные рожи — молодые, старые, насупленные, косые, равнодушные, гриппозные и просто плоские. Такие же, как всегда — по тысяче штук в день на эскалаторе метро. Сегодня я с особым удовольствием на них глазел — всех их я знал, как облупленных, все здесь было просто. Все на один лад, вроде вот этого парня в ушанке и красном шарфе. Или этой тетки с бульдожьими щеками. А потом что-то хлопнуло в ушах, как шарик, и показалось, что только головы плывут навстречу, а я стою, хотя я тоже шел. И каждая голова стала совершенно непонятной, единственной, особой. Сложной, сложнее всякой электроники. Мне стало жутко от этого ощущения, я растерялся: в каждой голове мерцала, как нераскрытое ядро, зеленоватая мощная энергия. Ее хватило бы на то, чтобы взорвать всю землю. Или спасти? Никто не знал об этом, кроме меня, да и я не знал, а почувствовал только, какая нераскрытая и ценная сила под всеми этими озябшими рожами.

Меня толкнули промеж лопаток, я ругнулся, и все пропало. Я шагал и пытался понять, что это на меня нашло — люди толпились везде, как люди, обычные, усталые, ехали с работы, не глазели по сторонам, думали о своей зарплате или о киношке. Ничего особенного в них не замечалось.

Так-то оно так, но минуту назад ведь было совсем не так?

«Что-то ты задумался, брат, — сказал я себе. —

Адамовского телевизора насмотрелся». Я чуть не проехал остановку — «Библиотеку Ленина».

«Хватит с меня этой мистики», — сказал я, пересекая свой дворик.

Около помойки сидела кошка Коптяевых. Я швырнул в нее окурком. Около тесового забора в грязном снегу лежали пустые рогожные кули из-под угля. Мочалку втоптали в снег.

«После бани — холодного пивка!» — сказал я с удовольствием, и кошка прижала уши.

* * *

Я лежал на спине, задрав ноги на спинку кровати. Как американец. Я рассматривал оконную гнилую раму, натеки льда, марлевую занавеску на бечевке. Около гвоздя бечевка намокла. На гвозде висело мое вафельное полотенце.

«Надо бы постирать его. И зеленые носки — тоже... В понедельник схожу в прачечную. Жены нет — сам ходи. Дураки — женатики. Не на Юльке же жениться... Хотя она и миленькая... А в понедельник прачечная закрыта? Ну, во вторник. Во вторник? Военное дело и сопромат. Завтра — суббота. Послезавтра — воскресенье».

Все это было очевидно, но мне хотелось проговорить это словами, даже по складам. Чтобы не думать. Я не думал секунд десять ни о чем и с интересом прислушивался, как тупеют складка лица и немигающие глаза.

«Нет, что-то надо же делать...»

Было начало первого ночи. Спать я не мог. Скука давно уже сидела под абажурчиком шестидесятисвечовой лампочки, но я не хотел ее замечать.

«Дважды два — четыре, — сказал я. — И все ясно. Есть вопросы, товарищи? Нет».

Но вопросы были. Они лежали во мне, как котята в чемодане. Один проснулся и чихнул, и все сразу заше-

велились, так что ходуном заходила крышка. Пушистое нетерпение защекотало в горле.

Я сел и натянул туфли. На столе стоял пакет с пончиками. Я выложил пару, а остальное в пакете взял с собой. Коридор спал. Адам открыл на мой тихий стук и молча пропустил в комнату. Он ничего не спросил, и я даже разозлился.

— Чайник горячий, — сказал он. Я посмотрел на его дурацкую шапочку, на два поджидающих приемника у окна и положил пончики на столик.

— Я пил, спасибо, — сказал я. — Это — вам. Спокойной ночи.

Он стоял, держа на весу масляный пакет с пончиками и смотрел на меня обиженными водянистыми зрачками. Если б он усмехнулся, я бы его стукнул по шее. Но он поверил.

— Ну же?.. — начал он, шепелявя, и в его морщинах появился старческий страх.

— Ну, ладно, — сказал я. — Но это — в последний раз! — и сел в скрипучее кресло между немыми ящиками.

* * *

Комната была обставлена пластмассовыми полукреслами и керамикой. Как на зарубежной выставке. У столика стояла женщина в узком платье в мелкую зеленую клетку. Ее почти заслоняла костюмная спина плотного брюнета. Я посмотрел ему в жирноватый затылок, и он нервно передернул ватными плечами. «Пижоны какие-то», — хотел сказать я вслух, но язык разбух и не ворочался. «Почему?» Но от вопроса меня сжало изнутри, и я понял, что лучше не вмешиваться и выключить себя. Я выключил и увидел девочку. Она сидела на полу и вырезала из журнала рыжую собаку.

Комната была продушена одеколоном и сигаретным

дымом. Даже в прическе женщины слоился сигаретный дымок. Даже в ее пустых серых глазах.

— Не кричи и не бесись: больше ты меня не увидишь, — ровно сказала она, чуть шевеля бледно-малиновыми губами. Мужчина махнул короткой рукой и закричал. Я не разбирал слов, его невидимое, но мясистое лицо фальшиво кричало что-то благородное и трагическое.

А девочка сидела между ними на полу и вырезала из журнала рыжую собаку.

Женщина взяла со стола сумочку и вытащила бумажку.

— Вот квитанция за газ и за свет. За телефон уплачено в феврале, — сказала она. — Дай мне пройти.

Руки мужчины поднимались, спрашивали, отвечали, притягивали, отталкивали. Я хотел отодвинуть его темно-синюю круглую спину, чтобы разглядеть, кто это лежит у стола. Потом он отошел сам, и я наконец разглядел: у ног женщины на паркете лежала точно такая же женщина в платье в мелкую зеленоватую клетку и замшевых туфлях. Только лицо у нее было гипсовое, а посреди лба было аккуратное пулевое отверстие. Одна стояла, поправляя прическу, а другая лежала. Мне казалось, что убитая даже более, как это сказать? — материальна, что-ли, чем живая. Ее убил, конечно, этот делец. Но когда?

А девочка все вырезала свою собаку. Теперь она перешла к хвосту и наклонила голову набок от усердия, потому что хвост был пушистый и его было трудно вырезать.

— Пропусти-ка меня, — сказала женщина, и мужчина отодвинулся. У него не было лица — гладкое место вроде живота, ни глаз, ни носа, только мокрый рот.

— А деньги? — спросил рот. — На что ж ты жить будешь, истеричка?

Но женщина не ответила. Она шла к двери прямо на меня. С каждым шагом ее тусклые серые глаза ста-

новились прозрачнее и больше от граненой светлой решимости. Она прошла сквозь меня, через дверь и ушла совсем.

Девочка кончила вырезать собаку и положила ножницы на паркет.

— Красивая, правда? — спросила она. — Ее зовут Чарли. Чарли, лежать!

Ей никто не ответил. В комнате никого не было. Потом я заметил мужчину. Он сидел на том месте, где лежало тело, и пил прямо из горлышка коньячной бутылки. Бульканье переходило в рыданье и опять в бульканье, а лицо его непонятно менялось: прорезались и западали глазки, щеки и лоб то тупели, то морщились от нежности и страдания, а потом опять вместо лица блестел голый живот, и сквозь кожу пробивался плач, и мне хотелось то ударить его, то догнать ту женщину...

— А теперь вырежем кота, — сказала девочка. — Его зовут Пик. Да?

Но ей никто не отвечал.

* * *

— Ну, сегодня вы вели себя тихо, — сказал Адам, когда я, потягиваясь, поднялся с кресла. — Интересно?

— Не очень... А вы не видели?

— Я? Нет, это невозможно — вместе видеть. А что там было?

— Пижоны какие-то, бросили ребенка, обычная история, — сказал я. — Но что-то было... Черт-те что... Как это — две женщины? Двойники?

Рука с чайником застыла над стаканом, водянистые глазки прокалывали меня неистребимым любопытством.

— Двойники? — повторил Адам.

— Похожи очень. Даже каблук на туфле одинаково сбит. Одна живая, другая — мертвая.

Адам поставил чайник на стул.

— Одна из них — это мысли. Представление.

— Кого?

— Того, кто там был, — сказал Адам. — Не ваши. Понимаете?

Но я не хотел ничего понимать.

— Там, — Адам кивнул на аппараты, — мысли материализуются в образы. Понимаете?

Я опять кивнул. Я подставил стакан.

— И мне налейте...

От кипятка выступили слезы. Я раздавил сахар языком и пососал сладкий сироп. Мне хотелось все забыть поскорее. Адам пил чай мелкими глоточками, иногда с беспокойством поглядывал поверх стакана. Но больше он ничего не спрашивал.

* * *

Было уже больше двух часов, когда я ложился спать. В желтом свете моя конура казалась совсем ободранной, бессонной.

«Спать! Спать! — сказал я. — И хватит этой муры! Спать!»

Но проклятый сон не опускался в комнату. Я лежал и старался думать о новой системе носкового крепления на финских прыжковых лыжах, потом о Юльке, потом о сопромате, но что-то «думало» во мне против воли совсем о другом.

«Оно» думало:

«Почему ее глаза светлели, когда она уходила? А девочка?»

«Почему его лицо могло быть и нежным?»

«Почему мертвая была «живее» живой?»

На сумрачном потолке светились пепельные измученные глаза женщины. Они были знакомы и чужды. Я боролся с ними, но они оставались и рассказывали, не навязывая ничего. Тогда я покорился. Я лежал на спине и смотрел в них, как в осенние окна. Я ничего не думал, но все понимал, и все смотрел, пока побе-

левший рассвет не стер последние искры этих говорящих глаз.

В переулке пронесся первый грузовик. Но это не обрадовало меня: слишком нагло он прогрохотал по тишине своими бортами и гайками.

СУББОТА. БОМБОУБЕЖИЩЕ В КЛЕВЕРЕ

Жидкий кофе обжигал небо. Я пил стоя, я опаздывал.

Утро вставало серединьким, мягким; сегодня я был в форме, сделал зарядку и обтерся под душем. А главное, сегодня я поставил окончательную точку на адамовском «телевизоре». Не для меня эти эксперименты с двойниками, я не Достоевский, ну их к...

В переулке на сереньком льду подтаивал снежок; по такому льду и неточеные коньки хорошо режут. Во рту был привкус кофе и оттепели, ботинки дружно давили метры, я расстегнул пальто.

В химической лаборатории у вытяжного шкафа хохотала с кем-то Юлька. Она была совсем тоненькая в этом синем спецхалатике.

— Привет, Костик! — сказала она первая. А я-то думал, что она будет ругаться, что я вчера ей не позвонил.

— Привет, — сказал я и тряхнул ее ладошку. Она улыбалась, а я разглядывал ее рот: великоватый несколько для нее.

— Новый детектив в «Стреле» идет и на Арбатской, — сказала Юлька. — Ну, как — сходим?

— Смотаемся, можно, — ответил я. Но о каком фильме она трещала? Правда, это и не важно. Я отошел к своему месту и включил газовую горелку. Название фильма не вспоминалось, я плюнул на него и стал отвешивать пять миллиграммов окиси натрия. Это

было скучное занятие — делать опыт с заранее известным результатом, но тысячи таких же, как я, это делали до меня. Я смотрел на электролампочку и представлял, как их запаивают на конвейере — 1999, 2000, 2001, и так до одурения. Или вот Борькин пуловер — я везде такие вижу, одинаковые пуловеры, скучные. Я курил у стенгазеты, когда Борька подошел и спросил, когда собирается НСО.

— Во вторник, — сказал я.

— Во вторник — детали машин.

— Ну, в среду...

— Секретарь, а не знаешь, — сказал Борька и поправил пуловер у шеи.

«А тебе что за дело? Ты, что — каждой дыре затычка», — хотел я ему сказать.

На лекции я читал газету и слушал Павлова, вернее звуки его сиплого голоса. Он нудно объяснял, что функция А — это не функция С, хотя об этом мы еще в школе слышали. Я нарисовал на газете волосатого Павлова и приделал к нему хвост. Он был похож на черта и на Адама. «Вот бы Адаму послушать этот лепет. А ну его, Адама...» Я ненавидел Адама: сидит в своем чулане и подглядывает в дырочки за всей Вселенной. Ничего сам не знает, а только подглядывает. Как сводня.

После обеда я сидел в читалке и глазел на чертеж в учебнике по механике. Борька как-то сказал, что я хорошо читаю чертежи. Но, по-моему, я их совсем не умею читать. Только у себя во дворе я вспомнил, что договорился с Юлькой идти в кино, но звонить ей было уже поздно. На кухне торчала мамаша Коптяева в своем рязанском халате.

— Здравствуйте, Костя, — сказала она вежливым голосом и кивнула тюрбаном из полотенца, накрученным на голове. Она мешала лапшу суповой ложкой. — Такая мигрень! — Она облизала ложку. — И опять давление!

«Плевал я на твою мигрень! — подумал я. — И на давление тоже. К чему это она подбирается?»

— У вас нет пирамидона, Костя?

— Этого не держим! — сказал я и грохнул чайник на плиту.

— Я стучалась к Адаму Николаевичу, но он не ответил. Вы, — она попробовала лапшу, закрыв глаза, — вы не знаете — он дома?

— Нет. Я только что из читалки...

— Вы стали теперь друзьями! — сказала она нараспев, и ее темные гляделки обежали меня. Я посмотрел на ее тюрбан и приготовился. Но она ничего не прибавила.

— Нет у него пирамидона, — сказал я. — У него и хлеба-то нет, наверное.

Я не мог оторваться от ее тюрбана.

— Трудно жить одинокому человеку! — сказала Коптяева и шумно вздохнула над лапшой. — Не дай бог! Ужасно!

В коридоре я встретил Адама. Он выходил из уборной, одергивая свою пижаму. Может быть, свет в коридоре был тусклый, но показалось, что он совсем позеленел, морщины были как в муке.

— Костя? — спросил он робко. — Это вы? Я включал... Я заболел... Нет, вы должны это узнать, должны...

Он шепелявил и не давал мне пройти.

— У меня зачеты начались. Надо зубрить идти, — сказал я грубо.

— Нет, вы должны это услышать...

Я отстранил его, как тряпичный манекен, и прошагал к себе. Но через минуту помпон его жалкой шапочки уже маячил в дверях. Адам со страхом и надеждой смотрел на меня с порога.

— Входите, — сказал я. — Ну, что там еще стряслось? — Я скинул с одеяла книги и сел, упираясь затылком в стену. — Ну?

* * *

Адам зябко прятал руки в рукава пижамы. На его безбровом лице блуждала неестественная улыбка.

— Ну? — повторил я громко.

— Извините, Костя... Я испугался сегодня. Я... — Он закрыл веки и секунду сидел неподвижно. — Я видел их! — сказал он, открывая глаза. Мне стало не по себе.

— Кого «их»?

— Я уничтожу аппарат... Я их уничтожу, — говорил Адам быстрым шепотом. Его глазки бессмысленно вперялись в обои за моей головой. — ...Я включил в четыре, чтобы проверить обратный контур... У меня был озноб, я выпил две таблетки бимитрола... Эти люди... — Он махнул рукой, останавливая мое раздражение... — Хорошо, хорошо! Я не буду, это неинтересно... Но их увидеть вы должны!

Он опять уставился в одну точку и пожевал беззубым ртом.

— Это было в каком-то подвале. Но там были ковры. Их было четверо... Это хуже Майданека. Трупы заслоняли все, до потолка, как бревна!..

«Спятил!» — подумал я и хотел встать.

— Погодите! Этот штаб хотел пропускать сквозь нас и всех излучение микрочастиц, которые еще не открыты, я думал... Чтобы все стали муравьями... Под предлогом флюроскопии... Я уничтожу его! — крикнул Адам и порозовел.

Я встал.

— Вот и хорошо, Адам Николаевич, — сказал я спокойно. — Давно пора. Или вы свихнетесь. И я с вами.

Адам тоже встал. Его глазки стали осмысленными от страдания.

— Но, Костя, — сказал он тихо, — это же правда!

— Что?

— Эти люди. Все, что вы видели там. Это не галлю-

цинации. Это просто техника. Открытие физики мысли. Особого поля...

Я махнул рукой. Надо было кончать все это раз и навсегда.

— Сядьте, — сказал я. — Что — техника? Эти двойники или джунгли? Бросьте вы сами себе голову морочить.

Адам застегнул пижаму и выпрямился.

— Вы... Вы не выдадите меня? — спросил он серьезно. — У меня нет времени... У меня был сын, как вы... Это открытие страшнее водородной бомбы, Костя.

— Вот вы и разберите свой аппаратик, — сказал я. — А по утрам гулять ходите, в сквер, на Никитский. Или вы свихнетесь с этими «фантомами».

— Это новое поле! — сказал Адам, словно прыгая в воду. Его лицо стало восторженным и умным. — Я искал его пятнадцать лет. Это новая волновая теория. Вы — мозг-приемник. Люди и предметы и мысли-предметы — все излучает жизнь, и вы принимаете ее, если... Нет ничего иррационального, Костя. Просто есть неизвестное. Икс. И я его нашел. Один икс из миллиардов иксов.

Я смотрел на него спокойно и терпеливо.

— Я только не нашел управление. Настройка вслепую. Куда попадет пучок — волновой конус. Ошибка опасна — нельзя направлять на себя, нельзя смотреть в себя. Это может быть смертельно...

Он остановился и, сморщившись, потер переносицу.

— Может, сядем? — спросил я.

— Вы видели и вещи, и мысли-вещи до поступка людей. Вы видели, что нельзя вмешиваться. Но сегодня я хотел вмешаться... Эти люди — преступники!

— А кто они — эти фашисты? — спросил я.

— Кто они? Не знаю. Они хотят кастрировать душу, Костя. У всех. Не только психику, но и душу. Ведь она есть. — Адам посмотрел мне в глаза. — Это просто центр всего. Неизвестный науке. Но он — есть. Они

хотят оставить только рефлексы! — с отчаянием воскликнул Адам. Мне стало его жалко.

— А где они? — спросил я.

— Не знаю. Я не понял. Я хочу, чтобы вы посмотрели: их надо найти!

— Как найти? Ведь настройка — вслепую, вы сказали.

В лице Адама пробежало слабое торжество.

— Молодой человек! — сказал он гордо. — Я открою вам все... Я на пороге второго открытия: сегодня я дважды настроился на ту же точку земли. Я навещал их дважды! Хотите?

В дверь постучали, и я застыл.

— Костя! Вас к телефону! — позвала мамаша Коптяева.

Я вышел и прикрыл дверь перед любопытным тюрбаном.

— Адам Николаевич не у вас? — спросила она материнским голосом.

— Нет, это студент один, товарищ, — сказал я и взял трубку.

— Костя! — почти кричала Юлька. — Это такое свинство! Я просидела как дура...

— У меня зуб болит, — сказал я.

Упала пауза.

— Зуб?

— Даже два, — сказал я серьезно.

Опять пауза.

— Ты все врешь, — тихо сказала Юлька.

Я молчал.

— Я приеду к тебе, — сказала она.

— Не надо. Все ерунда. Не надо. — Я старался говорить спокойнее. — Не приезжай. Спасибо. Пока. — Я повесил трубку. Черная мембрана покачивалась по стенке, исцарапанной цифрами и рожами.

Когда я вошел в свою комнату, Адама уже не бы-

ло. На одеяле осталось углубление, где я сидел только что. Сборник задач по химии валялся на полу. Носком ботинка я подфутболил его под кровать.

* * *

Я мысленно считал до трехсот, но вкус желтоватой таблетки еще секунду мешал мне рассмотреть полукруглый подвал, похожий на комфортабельное бомбоубежище. Четверо мужчин сидели за круглым белым столом. На столе стояли два телефонных аппарата и селектор. Мужчины были немолодые, в темных заграничных костюмах. Один курил папиросу с длинным мундштуком. Я не верил, что это тот же подвал, который видел Адам. Только чтобы успокоить его, я согласился на эксперимент. Я разглядывал одного из них — усталого блондина с бесцветными бровями, который курил. Остальные сидели ко мне спиной. Три спины слушали вялый голос блондина:

— Нет, не нравится мне все это...

«На каком языке он говорит? Не по-русски, но я понимаю...»

Три затылка выжидающе напряглись. Крайний справа поправил шеей тесный воротничок и ответил:

— Но все решено. Это займет два года. Препарат 333 пущен в серийное производство.

— Результаты блестящие, — добавил кто-то.

— Вы говорите о колонии «Два июля»? — спросил бесцветный блондин и стряхнул пепел.

— Нет. Я имею в виду приморскую колонию.

Они сидели уже не в комфортабельном подвале, а в каком-то светлом застекленном цехе. У стены стояла шеренга людей в суконной униформе. Все лица были одинаковые и желтые, как бляхи, у всех было выражение безразличной готовности и еще чего-то, вроде солидной бездушности. Но мои мысли мешали, разрушали, и я запретил себе думать.

— Номер 83, — сказал седоватый человек за столом, — вам ясно задание?

— Ясно.

— Повторите.

— Установить облучатель в клинике, вмонтировать и ждать приказа о проверке населения на ТБС.

— Кто вы?

— Врач-рентгенолог.

— А вы, сто седьмой?

— Тоже.

— Не тоже, а врач-рентгенолог.

Сто седьмой повторил ответ скучным голосом, и мне стало жутко.

— Сто седьмой, скажите, какова цель секретного облучения?

— Установить и закрепить «норму счастья».

— У кого?

— У людей.

— Не у людей, а у проверяющихся на ТБС по форме 24-5.

Седоватый сказал что-то соседу за столом, и тот кивнул.

— Сто седьмой! Пройдите в четвертый сектор, комната восемнадцать, и подождите там вызова.

Я видел, как сто седьмой вышел из строя и скованно пошел вдоль шеренги роботов к белой больничной двери. В его сутулой спине был страх. Шеренга следила за ним. Теперь я вспомнил, у кого я видел это выражение на лицах: у санитаров в морге. Сто седьмой взялся за ручку двери и открыл ее настежь. Он вышел, но еще секунду казалось, что седоватый за столом стоит на коленях и просит его вернуться безумно расширенным ртом. Может быть, это показалось, потому что сто седьмой обернулся и глянул на него через плечо на пороге?

Опять был подвал, и четверо опять сидели за круглым столом, белым, под слоновую кость. Мускулистые

пальцы седоватого постукивали по столу, точно готовились кого-то схватить.

— Нет, так не пойдет, — повторил вялый голос, и все посмотрели на блондина с бесцветными бровями. Что-то изменилось в самом воздухе этого комфортабельного бункера, что-то изменилось в некрасивом носе блондина и его невидимых зрачках.

— Что — «нет»? — осторожно спросил седовласый.

— Нет, — повторил блондин и встал. Он поправил галстук и посмотрел на них сверху вниз. — Я давно хотел вам сказать, — он повел над ними бледной рукой, — что мне не нужна такая власть. Это — сверхвласть.

— Вы больны? — спросил седовласый вкрадчиво.

— Я здоров.

Все молчали.

— Я здоров. Органы внутренней охраны подчиняются пока мне, — продолжал блондин неторопливо. — И если вы введете в силу приказ о «проверке населения» (он усмехнулся устало), я арестую вас и обнародую суть этого приказа. Одновременно.

Они молчали. Мне казалось, что худенький блондин сейчас упадет от их чугунного выжидания. Но он только покусал губу и рассеянно посмотрел поверх их пригнутых лысин. В стене бункера от взгляда его подслеповатых обыденных глаз раздвинулся двухметровый железобетон. Как щель в дзоте. Сквозь щель было хорошо видно кусок клеверного летнего луга и обочину пыльного проселка. Низкое солнце просвечивало обсахаренную пчелу в бледно-розовом соцветии, пронеслись стрижи, и закат озолотил белую грудь крайнего, а потом я услышал медленные глухие колокольцы бредущего к деревне стада. На краю луга, как далекие добрые горы, лежали вечерние облака.

— Это двурушник, — сказал деловито седовласый. Я видел, как на аккуратный галстук блондина ложится тень от железной клешни, как его сминает в комок,

выворачивает, оплевывает и изжевывает механическая челюсть, но я помнил, что все это были пока только мысли, от которых сгущалось дыхание. И больше ничего. А вот щель в бетоне все не закрывалась, и даже здесь чувствовался росистый запах клевера.

«Нет, не надо убивать его!» — подумал я ожесточенно.

— Мы вас будем судить, — медленно сказал седовласый. — Сядьте. Уберите от него телефон. Вызовите внутреннюю охрану. Нет, вызовите роту парашютистов.

Худощавый блондин опять усмехнулся. Он не спеша отодвинул стул и прошел через щель в стене, и я прошел за ним из этого гнусного бункера. Он пересек проселок, пыля модными туфлями, и пошел прямо по клеверу, разрывая коленями сочные плети вики. На ходу он сорвал метелку полыни, растер ее и поднес к лицу. Он казался здесь анемичным десятиклассником, отличником, который удрал наконец-то из школы.

Деревенское солнце туманилось в сиреневых уснувших тучах. Оно коснулось вспаханного горизонта, еще раз перед самым лицом пронеслась пара позолоченных стрижей. Я видел пестрые спины коров и маленькую фигуру подпаска. Его голова белела в полях, как одуванчик. Слабый щелчок кнута донесся через шорох наших шагов.

— Ну вот, — сказал я блондину, — ты дождался наконец. Ты свободен.

— Я свободен? — удивленно повторил он и оглянулся. У него было растерянное лицо, губы морщились от улыбки. Но он не знал, что ему делать теперь.

— Совершенно свободен, — повторил он и остановился. Я тоже встал. Я увидел заставленную комнату, лампочку на шнуре, обои. У меня все сильнее дрожали колени, а сердце стучало, как в звонком чреве старинного рояля. Я тоже был свободен. Но я тоже совершенно

не знал, с чего мне теперь начинать. Мне хотелось пойти за блондином, спросить, досмотреть... Почему все обрывается на самом главном?

* * *

— Сейчас надо выпить чаю, — сказал Адам. Он хлопотал около меня, как вокруг дорогого гостя. Когда мы пили крепкий, почти черный чай, он ничего не спрашивал, хотя жалобно поглядывал и ерзал от любопытства. Но мне почему-то не хотелось рассказывать. Я просто пил чай и отдыхал.

— Вам патент надо взять, — сказал я наконец и пожалел — так он заволновался.

— Никогда! — Адам даже поставил чашку. — Вы не думаете, что говорите!

Мне стало смешно.

— Почему?

— Потому что мое открытие противоречит... Да, да!

— Чему противоречит?

— Теориям. Да, Костя, не смейтесь! — У него смешно подпрыгивал помпон на шапочке. — Есть теория и теории, Костя. Люди не любят новых теорий, они их ненавидят, я знаю!

— Ерунда, — сказал я. — Налейте еще... Какие теории? Ведь это — факт. — Я кивнул на аппарат. Адам посмотрел на меня с бессильным негодованием.

— А если это... — он поднял брови, — попадет к какому-нибудь... Гитлеру? А?

Я задумался. Адам встал, подошел к двери и снял с крючка свой драный пиджак. Под пиджаком на стене был вмонтирован обычный выключатель.

— Вы думаете, это что? — спросил Адам. — Это аварийный выключатель. Если его повернуть дважды, то аппарат, лампы — все сгорит. Все уничтожено! Да! — Он шепелявил это почти с восторгом. — Если вы меня выдадите, я все уничтожу! Все!

Я махнул на него и отхлебнул с блюдца.

— Как хотите, — сказал я. — Не мое дело. Могли бы вторым Эйнштейном стать. — Адам сел и помешал чай.

— Молодой человек! — сказал он устало. — Разве это имеет значение?

Я пожал плечами.

— А что имеет?

— Знать и видеть. Только это. Искать. И все...

Он как-то обмяк и стал совсем усталым и старым. «Будешь много знать — скоро состаришься», — вспомнил я поговорку и удивился, какой у нее жуткий смысл. А я и не замечал раньше.

— Ну, как хотите, — сказал я, поднимаясь со стула. — Спасибо за чай.

Адам смотрел на меня вопросительно.

— Не бойтесь, не скажу. Какое мне дело. Спокойной ночи.

Но он все смотрел. Уже у двери я сказал:

— А там они ничего не сделают. Точно.

— Вы уверены? — спросил он тревожно.

— Уверен, — ответил я и вышел в наш вонючий коридор. В уборной журчала труба, кто-то у соседей бубнил через стенку. Я был уверен, хотя не мог сказать, почему. Но это было ясное спокойное убеждение.

* * *

«Поменьше вопросов, старина», — сказал я сам себе, стаскивая ботинки. — Смотреть — еще куда ни шло. Да и то в меру. Но с вопросами — поосторожней, друг». Я похлопал себя по груди, сидя на койке. Линолеум холодил босые пятки, будильник потикивал на стуле. Я нырнул под одеяло и погасил свет. Мне казалось, что я сегодня сделал, чего не собирался, но оказалось, это было правильно.

— Собрание закрыто — вопросов нет, — сказал я громко. — Неплохой все-таки парень этот Костя, — сказал я, зарываясь в подушку.

И действительно — я так чувствовал: доброжелательную снисходительность, немного издевки, немножко терпимости и гладкую кожу предплечья у самого носа. «Ну, спи, парень, хватит», — сказал я ему и он кивнул сонной головой.

Во дворе отмякала оттепель, постукивала капель по карнизу, кто-то кашлял, беседовал пьяными голосами у ворот.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. МОЛИТВА

Большой трамплин на Воробьевых горах видно за две троллейбусные остановки. Когда я вылез, соревнования уже начались. Но сегодня я не собирался выступать.

Воздух здесь был деревенский, на липах лежал снег, в сером морозце цвели желтые, голубые флаги спортобществ.

Я полез к трибунам, но тренер наш по прозвищу Горшок меня все-таки заметил, стерва.

— Карташев! — крикнул он. — Почему без лыж? Почему на жеребьевке не был? — На нас оборачивались. — Иди в раздевалку, сейчас же!

Но я никуда не пошел. Я прислонился к перилам и с удовольствием стал смотреть, как на судейской вышке мелькнул флажок отмашки, как маленький прыгун, согнувшись, понесся по горе разгона и, отчаянно взмахнув руками, сорвался в пустоту прыжка. Он висел над пепельной панорамой Москвы, и я висел вместе с ним, ощущая секущие ледышки встречного воздуха, радостно щурясь скорости полета.

— Юровский, «Динамо», 69 и 8, — объявил мегафон.

Мимо меня поднимался на старт Колька Минаев. Он поправил на плече лыжи и ухмыльнулся мне.

— Сачкуешь? — крикнул Минаев.

— Горло простыло...

Кирпичная рожа подмигнула хитровато:

— Выпей сто и лезь!

Я улыбнулся на его дубленую и веселую «вывеску». За глаза его так и прозвали — Интеллект.

— Рви на крайнюю! — крикнул я. — Лобовой поднялся.

Действительно, поднялся легкий лобовой ветер, и, опираясь на него, прыгун мог вытянуть лишних пару метров до крайней отметки. Колька кивнул. Я видел, как высоко вверх он поднял руку, спрашивая старта.

Он оторвался и парил так долго, что толпа замолчала, а потом ахнула — гулко хлопнули лыжи и зеленый свитер нырнул на спуске.

— Минаев, «Буревестник», 71 и 2! — объявило радио.

Я обрадовался больше не этому, а тому, что забыл на время о себе самом. Но до конца я все же не остался: меня все время тянуло куда-то, а куда — я не понимал. Так иногда тянет выпить, а начнешь пить — и в горло не лезет.

* * *

В воскресенье всегда много народу в хороших пальто и цветных шарфах. Тянет водочкой, и у многих в метро румяные значительные лица. Все это давно известно, и непонятно, какая это меня муха укусила сегодня. Девушку в пушистом платке толкнул какой-то тип. Она сказала:

— Потише, гражданин!

— Стой, где приземлилась! — нахально ответил тип и еще надавил плечом.

Раньше я бы ни за что не ввязался. Но то ли я был

злой, то ли у девушки лицо стало такое детское и гордое от обиды, но я сказал:

— Силенку пробуешь?

Он сразу повернул ко мне свое опухшее мурло и открыл рот. Я знал, что он сейчас вывалит, и обогнал его:

— Закрой отдушину, а то разит, — сказал я и приготовился. Но он растерял все слова и только выдавил:

— Ах ты, пижон!

Это было неудачно — я на пижона не похож. Он не успел ударить — открылись двери на «Спортивной», толпа поднаперла и вытолкнула его на платформу. Только там он разразился, но поезд тронулся, и он так и остался там со своими кулаками.

Публика сразу загудела одобрительно и неодобрительно, а я чувствовал себя дураком. Это всегда так: как сыграешь в благородство — остаешься в дураках.

Я глянул на девушку, и она порозовела. У нее было совсем простенькое лицо, но глаза очень серьезные и какие-то изумленные или счастливые — я не разобрал. Она тихонько поправила волосы на виске, вздохнула, и меня словно что-то тронуло за горло, и я забыл о народе в вагоне, о том типе — обо всем. Будто мы с ней встретились где-то на берегу, среди водяной пустоты и молчания. Бывает же такое!

Девушка стала пробираться к выходу на «Кропоткинской». Она медлила, и ее толкали со всех сторон. Я чуть не вылез за ней; но потом вцепился в поручни и только вытер лоб. Когда двери закрылись, она повернулась и прямо в глаза посмотрела через стекло и опять медленно покраснела. У нее было смущенное и почему-то грустное лицо под пушистым серым платком из кроличьего пуха. Белые лотосы колонн, подсвеченные изнутри, равнодушно двинулись назад, закрывая ее от меня. Побежали лампочки в тоннеле, я считал их и дивился на себя. Вообще я не умею заниматься самоанализом, это занятие для слабаков, но тут подумал:

«А что это она во мне увидела?» Я по глазам понял, что что-то интересное во мне она открыла. Но что? Я никак этого не мог представить. «На меня бы Адамову машину навести», — подумал я, и мне стало стыдно, словно я стоял голый, а публика в метро рассматривает меня и качает головами.

Провода бежали по стенам тоннелей, качались меховые шапки в стеклянных отражениях, а я все думал об этом. До самой «Арбатской».

* * *

В «полуфабрикатах» я купил готовых котлет и рисовый пудинг: я решил накормить Адама. Пока я обжаривал котлеты, в кухню втащился Геннадий. Он поставил на газ кастрюлю с какой-то бурдой и отвернулся к окну, хотя, кроме глухой стенки, там ничего нельзя было увидеть. Со мной он не поздоровался. Переворачивая котлеты, я видел сероглазую грустную девушку и совсем о нем забыл.

— Опять котлеты? — спросил Геннадий сипло.

— Опять.

— Собачьи котлеты!..

— Собачьи.

— И не надоело?

— Вот со стипендии буду икру жрать, — сказал я.

Он угодливо хмыкнул. «Сейчас трешку попросит», — решил я. Но Геннадий ничего не попросил.

— Что ж, и котлеты — еда, — сказал он неожиданно. — В сорок втором и не то трескали...

Я опять вспомнил, что он был сначала школьником, потом снайпером, что был женат, говорят, и что, самое главное, и ему, как и мне, было когда-то 20—18—12—10 лет. Недавно было. Это появилось не как цифры, а как ощущение, что за спиной стоит белобрысый паренек, и ковыряет спичкой в зубах, и смотрит с любо-

пытством и опаской. Он ведь не знал тогда, что станет алкоголиком...

Адам был опять в постели. Он смешно обрадовался мне и котлетам.

— Сейчас я встану, встану, — заторопился он, высовывая худые ноги.

— Лежите. Зачем? Сейчас и чаю сообразим.

Мы молча жевали минут пять.

— Гуляли? — спросил Адам.

— На трамплине был.

— Прыгали? — спросил он тревожно.

— Нет, «болел»...

Сегодня он что-то не предлагал смотреть, а я как раз захотел еще почему-то. Хотя по заказу ничего увидеть нельзя, но кто знает?..

— Включали? — спросил я равнодушно.

— Нет. Что-то сердце пошаливает... А хотите?

— Да вы ж больны, — сказал я неуверенно, но он сразу сел.

— Ничего, всего пять минут, ничего! — Адам даже порозовел от радости.

Я поломался, а потом решил, что пять минут — не беда, и уселся в кресло между аппаратами. Адам, шлепая тапочками, уже стягивал с них брезент. «Почему на самом интересном обрывается?» — хотел я спросить его, но не спросил.

* * *

До последнего момента, уже проваливаясь в бормочущий вакуум, я надеялся, что увижу эту девушку из метро. Но вместо девушки я увидел заснеженный мелкий осинник и худую серую собаку. Она стояла совсем близко, так что я отчетливо видел свалявшуюся шерсть на загривке, а потом собака развернулась боком, не поворачивая шеи, и я понял, что это не собака, а старая волчица. Она ждала чего-то в серых сумерках, чуть

двигались ноздри, желтый глаз с жестоким зрачком был неподвижен, внимателен. Я с удовольствием ее разглядывал, мне хотелось ее позвать. Но она поджала уши, чуть приподняла губу, и я понял, что старая волчица вся напряжена от необоримого темного ужаса. Что-то хрустнуло во мне, волчица отпрянула, скакнула, и сквозь стволики осин мелькнула ее грязная шкура. Тогда я услышал шаги, медленные и усталые, редкое дыхание, плевок и простуженный голос:

— Где ж мы?

Два парашютиста в мятых маскхалатах лезли сквозь осинник по сугробам. У первого, высокого, висел автомат с инфракрасным прицелом для ночной стрельбы. Он был плохо выбрит и нездоров.

— Километрах в двух от границы. Как ее — эту деревню? — ответил второй, низенький, останавливаясь. У него были крепкие щеки и серьезные глаза. Они были «не наши», но их разговор я понимал.

Они закурили и долго стояли, прислушиваясь к лесу. Следы волчицы уходили через осинник к еловому бугру, но они не заметили следов. А метрах в двухстах от них под еловым навесом непримиримым страхом светились зрачки окаменевшей волчицы. Она боялась не их, не людей. Что же она почуяла?

— Это будет сегодня? Ночью? — спросил небритый верзила.

— Не знаю, — ответил низенький и затоптал сигарету. Он сел прямо и спустил с плеч лямки рюкзака с рацией.

— Ночью, — повторил высокий. Он запрокинул вверх небритое голодное лицо, и я услышал прерывистое сверло высотного ракетоносца. Пасмурное небо было пустынно и сонно. Нестерпимая вспышка сожгла все тени в лесу, снег вспыхнул, как сера, небо почернело, а потом порозовело в зените, и за сотни километров от нас из-за леса стал расти в тучи огненно-грязный капюшон

космической кобры. Даже здесь, в еловой тишине, было слышно, как кричат дети...

— Вот так это и будет, — сказал небритый. — Только так. — Он сказал это в себе самом.

— Ну, я налажу рацию. А ты бы вскипятил кофе. Сухой спирт в правом кармане рюкзака, — сказал низенький радист, сидя в снегу.

— Спят и ничего не знают, — громко сказал высокий, не слушая его. — Спят, и все. Это хорошо. — Он бросил сигарету и посмотрел на радиста. — Меня мутит что-то. С чего бы это?

Но толстенький радист ничего не отвечал. Он сидел в сугробе и медленно вертел в пальцах дешевую пластмассовую куклу. На ней было голубое платьице. Такие куклы продают в магазинах сувениров. У нее был маленький рот, льняные волосы, она была теплая, как ребенок, и голубые яблоки ее глаз медленно поворачивались, рассматривая толстое лицо радиста и снежные елки за его головой.

— Тебе не холодно, милая? — спросил радист шепотом.

— Мутит, нет, и кофе не надо, не надо, — говорил высокий, тоскливо переминаясь. — Уж лучше я...

Радист отшвырнул куклу в снег и встал. Он мельком глянул, как тает снег на ее голых ручках, и вытащил пистолет.

— Слушай, — сказал он высокому разбитым негромким голосом, — если ты не перестанешь ныть, я тебя пристрелю!

— Но ты понимаешь, что делается! — закричал высокий, тыча кулаком в небо, — ты понимаешь, черт тебя дери, понимаешь, что там будет? Что будет там, идиот толстый, идиот, идиот!

Толстенький радист усмехнулся и спрятал пистолет.

— А я и не собираюсь, — сказал он. — Что я — пророк? Помоги-ка мне повесить антенну.

— Хорошо, — сказал небритый. Его длинные руки

упали, он, сгорбившись, тупо смотрел, как радист поднял из снега куклу, подышал на нее и спрятал за пазуху. Там в тепле между штормовкой и свитером шевелились ее ручки и ножки.

Радист вытащил антенну и стал веткой обметать с рации снег. Небритый верзила все так же понуро топтался на месте. Слезы скатывались по его впалым щекам и застревали в щетине.

— Никогда никто ничего не мог понять, друг, — сказал ему радист устало, надевая наушники.

— Застрели меня, прошу тебя, — сморщившись, сказал высокий. — Очень прошу!

Шорох и писк морзянки ворвались в тишину, как дальний циклон. Круглое лицо радиста сосредоточенно слушало.

— Кончи меня до этого, — просил высокий. — Прошу тебя, кончи!

Но радист не отвечал: он молился. Он стоял на коленях в снегу перед рацией, в наушниках шелестел межпланетный циклон, а он молился.

Я не мог понять — кому он молился. Я только чувствовал это очень сильно, хотя не слышал слов. Ожившая кукла шевелилась у него за пазухой, устраиваясь поудобнее, точно ребенок в постельке. Может быть, это была кукла его дочки, которая умерла?

Опухшее круглое лицо радиста было угрюмым от сосредоточенной надежды. Он закрыл глаза; на обветренном лице выделялись светлые веки.

Высокий перестал хныкать и уставился на товарища. Радист поднялся из сугроба. Его движения стали сдержанны и закончены. Он отряхнул снег с колен, вытер губы перчаткой и внимательно посмотрел в мутные пятна вечернего неба за сетью голых осин.

— Пойдем, — сказал он. — Пойдем отсюда. — Высокий не двигался. — Сегодня ночью ничего не случится, — сказал радист.

— А завтра? — глупо спросил высокий.

— И завтра. — Радист взглянул на него и медленно пошел прочь, вытаскивая ноги из глубокого снега.

— А рация? Ты забыл рацию, — растерянно крикнул высокий, но радист только махнул рукой.

Он шел, не останавливаясь, на юго-запад, придерживая за пазухой теплую спящую куклу. Или не куклу? Я боялся думать об этом.

Надо пойти за ними, чтобы узнать все до конца, но я не мог. Я видел, как ветви, качаясь, сомкнулись за спиной десантников, как сыплется с них стеклянный снежок, как темнеет в сугробе брезентовый ящик брошенной рации. Я чуть не заплакал от бессилия понять этого маленького круглого радиста. И — очнулся...

ПОНЕДЕЛЬНИК. ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ ТЕХНИКА ВАСИ

В понедельник мы получали стипендию. Деньги я уважаю, но получать их не люблю: сразу половину отдаешь за долги, что-то все рассчитываешь, карман щупаешь в автобусе.

У кассы ребята маялись в очереди, трепались, Сысоев — лохматый такой с физхима — читал стоя, а Барановский «жал масло».

— Кончай, — сказал Сысоев, — и так хоть топор вешай!

Барановский — красивый парень, только глазки у него близко посажены друг к другу. Но девчата этого изъяна не замечают. Впрочем, что с них взять... Я был должен ему трояк, хотя он может и подождать — вон какие костюмы даже на лекциях таскает. Пижон законченный. Впрочем, кто его там знает. Сегодня под утро мне опять померещился тот деятель белобрысый из бомбоубежища, который никого не боялся. Странный все-таки тип. В книгах я о таких не читал. Трояк Барановского я, однако, попридержал: надо же размочить стипендию хоть раз в месяц.

Когда я на углу Афанасьевского брал поллитра, я увидел нашего декана. Он поправил свои золоченые очки и сделал вид, что меня не видит. И я тоже. «Влип!» — подумал я, но свой чек все-таки отоварил и пролез к выходу. На улице я плюнул на тротуар и пошел, не оглядываясь, к себе.

Сначала я хотел позвонить кое-кому из ребят, но потом раздумал: все они стали бы спрашивать всякую ерунду про Юльку и прочее. Не люблю, когда лезут в мою личную жизнь. «Угощу-ка я Адама!» — решил я внезапно, засунул бутылку под рубашку и пошел к нему. И конечно, как раз в эту минуту в коридор выперлась мадам Коптяева.

— Вы знаете, Костя, — запела она с ходу, — ужасно, такое безобразие: кто-то очистки картофельные высыпал в кухне прямо на пол! Я вхожу в кухню, там темно, и я прямо посклизнулась на них! Я вывихнула на этом ногу! — Она приподняла халат и показала свою немытую лодыжку. Я стоял как дурак и не мог пройти, а поллитра все глубже врезалась мне под ребра.

— Да, безобразие, — сказал я.

— И это уже второй раз! — пожаловалась Коптяева, запахивая свои алые маки. — Вторично! — Она вперилась в меня, как следователь.

— Да, черт-те что, — сказал я сочувственно и пожал плечами. От этого бутылка переместилась и выпирала теперь под рубашкой, как грыжа. Коптяева уставилась на мой живот.

— Вы на кухню? — спросила она.

— Нет...

— ...Осторожнее — я не стала их убирать: пусть все полюбуются!

— Это не я! — сказал я. «Чтоб ты на них шею сломала!» — хотелось мне сказать. Рубашка на спине вспотела, и очень зачесалась шея, но я не смел чесаться.

— Вы к Адаму? — спросила она ласково.

— Нет. Я в уборную иду! — сказал я с яростью и шагнул прямо на нее. — У меня аппендицит! — добавил я, твердо глядя ей в глаза.

Мне пришлось из-за нее зайти в уборную, и я стоял там и ждал, когда она наконец уберется в свою комнату. Потом я проскользнул к двери Адама, но она, как всегда, была заперта, и конечно, все слышали, как я в нее барабанил полчаса.

— На кой вы так запираетесь? — спросил я у него, освободившись наконец от проклятой бутылки. — Не унесут вас, не бойтесь!

— Что вы, Костя. Как можно не запираться? Все у всех заперто, Костя, — странно ответил Адам. Он сегодня вообще был какой-то сонный, глазки помутнели, а шею обернул каким-то дрянным шарфом. Я бы таким и пыль вытирать не стал. Он сидел у столика в своей вечной пижаме и валенках на босу ногу.

— Как дела? — спросил я.

— Плохо, Костя, плохо...

Я не стал расспрашивать — почему. Не люблю я слушать о разных болезнях — и своих забот хватает. Но он сам разъяснил:

— Я опять попал на что-то ужасное...

Адам сморщился, точно откусил лимона.

— Про войну?

— Нет, хуже... — Он стал тереть руки, как от мороза. По-моему, он и не заметил, что я принес водку.

— Ладно, плюньте, — сказал я. — Это ведь все кино. Лучше выпьем по маленькой...

Но тут Адам впервые рассердился.

— Кино? — повторил он высоким голосом. — Кино? И вы до сих пор сравниваете это с кино?!

Я даже оторопел немного, так он на меня вытаращился. Но прежде чем ответить, я налил по полстакана, вытянул свою порцию и закусил корочкой.

— А что? Так же не бывает. В жизни, — сказал. — Там непонятное все как-то.

— Не бывает! А что вы знаете о жизни, молодой человек? — спросил Адам сердито. Его вялость как рукой сняло. Он брезгливо понюхал свой стакан и поставил обратно.

— Ну, кое-что и мы соображаем, — ответил я: меня заел его тон. — Мерекаем кое-что, — повторил я спокойно. — И что почем разбираемся не хуже других. Двадцатый век все-таки, Адам Николаевич. Выпейте-ка лучше!

Он не понял, по-моему, что я хотел сказать, но послушался и выпил. Секунд пять он сидел, закрыв глаза, как птица на насесте, потом пожевал губами и сказал:

— Скоро меня не будет. Да, скоро. Если б я мог написать, что я там увидел... — Он кивнул на аппарат.

Это было бы действительно здорово, но я промолчал.

— Ведь все состоит из однородных атомов? Так? — спросил Адам и встал.

— Да.

Адам начал расхаживать по комнате. От водки у него вспотел лоб и заблестел кончик носа.

— А мысль тоже? — спросил он, останавливаясь.

— Мысль?

— Да! Мысль тоже состоит из атомов. Из атамов особой структуры! — Он поднял палец и покачнулся. — Это и есть суть жизни!

«Ну, окосел уже!» — подумал я и налил себе еще.

— И ее видели только двое — вы и я! Вы и я! Во всем мире, молодой человек, во все времена... Это не кино!

— Сядьте, Адам Николаевич...

Он плюхнулся на стул и осел, как мешок с тряпьем. Его старые руки мелко дрожали.

— Ладно, — сказал я, — верю. Только к чему это? И так путаницы много... А все просто. Живи и все. Пей да закусывай. Чего уж тут интегрировать...

Адам вроде бы и не слушал, но ответил:

— Нет, не просто. Совсем не просто. Но если уж и вы не поверили после всего... После нее...

Он опять кивнул на аппарат, у него мутнели, слезились зрачки. Он не первый раз говорил о своей машине, как о животном. Как об умной собаке, что ли.

— Но все равно я не прекращу... Мысль рождает открытие, а оно — еще мысль. Придут умные и обобщат все... А я только Адам, только техник-самоучка, только жилец, да жилец коммуналки...

Он дрожащей рукой налил себе и мне, поднял стакан:

— Пью за вашу невесту, за ваших родных, не за технику, не за прогресс, за невесту...

Я смотрел на его худой кадык. Родных у меня нет и невесты тоже, но я не стал его поправлять. Чудное какое-то слово — «невеста». Как у Пушкина!

— Ложитесь, Адам Николаевич. У вас видик что-то не того...

— Нет. Надо проверить, — сказал Адам.

— Что еще?

— Влияние мыслей приемника — моих, ваших, на мысли передатчика.

— Ложитесь лучше.

Он глянул трезво и быстро.

— А вы... не будете?

Мне совсем не улыбалось быть кроликом, но почему-то стыдно было отказаться. Как и вчера, я еще надеялся увидеть что-нибудь хорошее.

«Не все же про войну», — подумал я. Наверное, это еще и водка играла, а то бы я не сел в это подопытное кресло. У кресла были просаленные и продранные подлокотники. Из дыры торчал слежавшийся волос. «Лучше уж я, а то он сам того и гляди загнется», — подумал я.

Адам Николаевич наклонился и робко похлопал меня по плечу.

— Я вас очень полюбил, Костя, — сказал он смущенно.

* * *

В прокуренной комнатке под потолком висела голая лампочка. Пахло сырыми обоями, известкой. Это была комната в новом блочном доме. Мебели почти не было: стул, корзинка ивовая и койка. На койке под лампочкой лежал какой-то дядя лет сорока в майке-безрукавке и мятых брюках. Он лежал на спине и, не мигая, смотрел в потолок, хотя лампочка светила прямо в его измученное лицо. Это был рабочий или техник, который, верно, пришел со смены и прилег отдохнуть. Я смотрел на злые желваки под скулами, на его потрескавшиеся губы, и мне становилось все скучнее. На линолеумном полу около койки стояла жестянка, утыканная окурками. «Ну, попал!» — сказал я с тоской, и угрюмое лицо техника расплылось загорелым пятном. Я почувствовал свои потные пальцы, сжимавшие подлокотники, а затем что-то мощно загудело в голове, и я опять провалился в эту голую комнату. Теперь я видел даже красноватость у ноздрей и прокуренные пальцы, сцепленные на тощем животе. Женский голос сказал через дверь:

— Иди, что ль! Чего разлегся. Вась?

Он не ответил.

— Иди, борщ простынет. Васька, слышь!

В голосе было усталое озлобление, сипловатость.

— Не буду я, — равнодушно сказал техник, не шевелясь.

— Что ж, на пол его выливать?

— Сама съешь, — сказал техник.

Я опять хотел проснуться, но не смог. Наоборот — еще ближе, как под линзой, увидел я его замкнувшееся испитое лицо, почувствовал сырую вонь окурков. Я даже подумать ничего не смог — я был не я.

«Ну и вот, отчаливай», — сказал техник (я хорошо слышал его грубый удовлетворенный шепот), и стена комнаты стала морем. Да, теплым полуденным прибоем, медленно омывающим босые ноги. Раздавленная рако-

вина белела в шиферной гальке. Я видел, как от набегающей воды истончается песчаный гребень около босых пальцев.

Острый запах йодистой гнили прохватывал тяжелую голову. Голый по пояс техник оттолкнул облезлую шлюпку, вскочил в нее, сел на мокрую скамью и разобрал весла. Шлюпку подымало и опускало, в грязной воде на дне болталась крабья клешня.

На носу шлюпки сидела женщина в выгоревшем купальнике. Ее смуглое лицо лениво хмурилось, в косматых волосах застряли мелкие брызги.

— Ты взяла канистру с водой? — спросил техник, и она кивнула.

Весла стучали в уключинах, было жарко и свежо, океанская зыбь приподнимала отраженное небо и уходила к берегу. Я никогда не видел моря, я не думал, что оно такое гигантское и одушевленное. Зеленоватый отсвет растворял мысли и волю, влажное марево монотонно качало облака, людей, мусор, — ничто здесь, казалось, не имело ни имени, ни значения.

Техник греб, а женщина напевала, не разжимая губ, хрипловато и однообразно, вроде грустной румбы, и вода хлопала о борт, и горизонт отступал все дальше сонным полукругом.

Я заметил на шоколадной шее женщины ожерелье из рыбьих зубов и белых кораллов, в ушах у нее были пластмассовые клипсы. Она смотрела на техника лениво и хмуро.

— Больше пить я не буду, — сказал техник и перестал грести. У него твердо выпятились губы. Она кивнула.

— Если б ты знала, как мне там обрыдло все, — сказал он и посмотрел на море. — Я бы не стал в него стрелять, если б не эта жара...

Он опять сильно греб в открытый океан, откидываясь назад, сжав челюсти. Теперь он смотрел немного повы-

ше ее головы на серебристое очертание скалистой вершины, которое висело над маревом, как туча.

— Фату — Хива, — сказала женщина, не оборачиваясь. Она смотрела на отражения острова в глазах техника. «Фату — Хива», — повторили его глаза.

— Я бы их всех... — сказал техник, — с души воротит. Лучше не мараться...

Она кивнула опять, хотя ей было все равно. Она любила плыть, улыбаться, петь. Она умела только чувствовать.

— Лучше не думать, — сказал техник и прищурился на отражение морского света, дробящегося под лопастью весла. Море отдыхало в себе и в нем — везде.

Но моря больше не было. Была какая-то больничная палата в длинном сквозном сарае. Стены, сплетенные из зеленого бамбука, пропускали шум дождя, на окнах надувалась белая марля. На земляном полу стояло эмалированное ведро. Из этого ведра техник зачерпнул черпаком какой-то розовый сироп и налил в эмалированную кружку. Он нагнулся над черной толстой девочкой и стал ее поить. Его огрубевшие пальцы с обломанными ногтями нежно поддерживали барашковый затылок девочки.

Светило солнце, и шуршал дождь.

На технике был грязноватый халат и парусиновые тапочки. Девочка пила с закрытыми глазами. На других койках тоже лежали дети. Одни спали, а другие глазели. Все они тоже были черные или бронзовые, у всех были карие влажные глаза и очень тонкая кожа. Некоторые улыбались.

В углу у бамбуковой стены техник остановился. Там лежал мальчик лет четырех с удивительно серьезным толстогубым лицом. Он не спал, но его глаза ничего не видели вокруг — он смотрел только в себя. Он не смог пить сироп.

— Ничего, пацан, ничего, — сказал техник, и я за-

метил, как ходят желваки его небритых скул, а желтые глаза становятся жесткими от жалости.

— Ничего, ночью будет прохладней. — Техник поставил ведро и поправил простыню. — Еще два укола, и ты оживешь! — Он почти крикнул это, но мальчик не пошевелился. Только в углублениях по бокам широкого носа вздрогнула кожа, точно он хотел услышать. Но глаза его видели не техника, а красное шерстяное покрывало с черным узором. Черные воины на тонких ножках танцевали вокруг черных слонов, а под ними колебались по красной реке черные бесконечные змеи. Мальчик задышал тревожно, он просил, чтобы ему помогли плыть, но не знал — куда, он не мог выбрать между ритмом воинов и глухой жалостью техника, он плакал, молча и не закрывая глаз. — Ничего, — сказал техник, — это пройдет, я знаю, пацан, я это тоже видел, у нас тоже это есть, все есть, потерпи...

Рука техника потянулась к ребенку, грубая ладонь легла на влажный лоб, и тихие ритмы зашептали и жалуясь, и негодуя, громче зашумел дождь по стенам, по оранжевой реке заскользили черные лодки — вверх, вниз, и тогда грусть перелилась совсем вглубь и затосковала, как мудрая прародительница всех племен. Прокуренный техник, стиснув челюсти, слушал ее, закрыв глаза.

Странно, что я понял эту музыку — я, кроме джаза, ничего не признаю. Да еще старые песни. Но эта музыка пробирала до костей, точно пели сами рогатые лодки с черными гребцами, пели о том, что видел мальчик во сне, в технике, во всех людях, которые блуждали среди мудрых слонов и бесконечных змей по красному закату времени. Никогда больше и нигде я не слышал этого...

Техник по-прежнему, не меняя положения, лежал на спине в своей комнатенке, сцепив пальцы на впалом животе. Лампочка высвечивала все плоско, без теней; на его виске отсвечивала мелкая испарина.

— Иди, идол, жри, — сказал женский голос со злым

отчаянием. — Иди, а то уйду я. К Нюрке мне надо. Иди, а то загнешься ты, идол, пьяница ты несчастный!

Но он так и не открыл глаз. По-моему, он сейчас даже и не слышал этого голоса.

* * *

Когда я встал с кресла, Адам сидел на полу у стены. Я ничего не мог сообразить и уставился на него.

— Ничего, — слабо сказал он, — это бывает. Пройдет.

Тогда я сообразил и стал его поднимать. Уже в кровати он попросил:

— Накапайте мне лекарства. На полочке справа. Желтый пузырек.

— Что это вы?

— Склероз, наверное... Интересно было?

— Ага... Сколько капель?

— Восемь. Интересно?

— Непонятно опять. Хотя, впрочем...

Адам подтянул одеяло к подбородку. Он дышал так редко, что я спросил:

— Может, врача?

— Нет, нет! Ни в коем случае, нет... — Он помолчал. — Одна просьба, Костя: обязательно зайдите завтра. Вечером.

— Конечно. Еда-то у вас есть?

— Есть, есть... Прогоните только эту собаку.

— Какую собаку?

— Ту, что возле ускорителя... В углу, за трансформатором...

«Надо врача», — подумал я.

— Прогнал, все в порядке, спите, — сказал я Адаму. Меня самого покачивало, как на лодке. — Может, свет потушить? — спросил я. Но он не ответил — уже спал. Во сне дыхание его опять почти пропало. Я тихонько прикрыл дверь. В ночном коридоре осторожно щелкнул

язычок замка. Никто не видел, как я стоял один и старался услышать музыку в ровном сухом шорохе, похожем на дождь за стеной.

ВТОРНИК. ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ

На лекциях я ни о чем особенно не думал, писал и поглядывал на потолок. Теоретическая физика пространчивала меня формулами, как промокашку, согнутые спины не давали простору, припечатывали к цифрам. Но на сопромате я сидел и слушал, о чем говорит профорг Михель Барановскому и ставил палочки на тетради — как соврет, так палочка. Я уже семнадцать палочек поставил Михелю, когда он наконец сказал:

— Спать хочется... — Тогда я поставил крестик, и зазвенел звонок.

Со второго часа я смылся — что-то злобное подкатывало и подкатывало, и хотелось душ принять или положить подушку на голову и так лежать год или два. Это у меня бывает.

В раздевалке Барановский ждал, когда Людка оденется — они тоже смывались. На ней была нейлоповая шубка и плетеная бронзовая косынка. Красиво, по-моему.

Мы втроем пошли к метро. Людка и Барановский шли впереди и трепались об Элке, а я курил и разглядывал Людкину спину, как вещь. На стальной с проседью ворс шубки смотреть было приятно.

— Подумаешь, — лениво сказал Барановский. — Элка два раза разводилась...

— Ну и что — у нее и сейчас «комплект», — говорила Людка. Они говорили серьезно. Я поставил ей плюс и подумал: удивительно, но такие вот, как она, часто говорят правду.

— Живи и другим давай, — сказал Барановский свое излюбленное и обернулся. — Кость, тебе куда?

— В метро.

— Пока, мальчики!

Барановский посмотрел на Людку своими глазками-близнецами, тряхнул небрежно ее ладонь и пошел за мной.

— Нормальная девочка, — сказал он авторитетно. — Видел ножки?

Я не умею об этом разговаривать, хотя не хуже других все вижу. Фрейда я не читал, но, думаю, он перегибает с этим. Правда, по Барановскому этого не скажешь: всех девчат на курсе охмурил. Но вообще нечего об этом рассусоливать: все ясно, по-моему: базис — первобытный, а надстройка — социальная. И еще — кто во что горазд. О чем тут толковать?

— Мне еще пельменей купить надо, — сказал я.

— Ну покедова... — равнодушно кивнул Барановский.

В гастрономе было полно народу. Через сырые пальто я протиснулся к прилавку, с трудом поймал глазом табличку: ПЕЛЬМЕНИ 50 коп. У кассы какой-то дядя в старой кожанке никак не мог отыскать в кармане мелочь. У него была бурая с мороза шея и хрящеватые уши. Очередь хмуро сверлила его серую кепку. У меня бурчало в животе, и хотелось стукнуть его по загорбку — поторопить, но когда он отвалился от кассы, я обомлел: это был тот самый техник, который мечтал на койке. Он ничуть не изменился с прошлой ночи — и желваки, и лоб, светлый у корней волос, и угрюмые глаза под толстыми надбровьями. Я даже про пельмени забыл.

У прилавка он стоял через два человека впереди меня, я разглядывал его хрящеватые уши и размышлял: «Подойти или нет?» Это было бы глупо, конечно, — что бы я его спросил? Но меня так и подмывало тронуть его за локоть. Два раза он тревожно обернулся, лоб его морщился вопросом, зрачки обегали магазин. Я слышал, как он буркнул продавщице:

— Пачку масла, двести колбасы...

Не двигаясь, он смотрел мимо белобрысой продавщицы куда-то за стеллажи с консервами всех цветов. Красные, черные этикетки плясали в африканском орнаменте, шарканье подошв отдавалось под потолком. Продавщица выкинула на прилавок пергаментный пакетик, он взял и машинально опустил в авоську. Его серая кепка равнодушно ныряла на выходе. Больше я его не видел.

— Проходите, чего ждете! — заворчали сзади, и я оглянулся на одинаково недовольные рожи. Неужели и они могли бы стать музыкантами или моряками? «Размечтался ты, брат! — сказал я себе. — Какие там из них музыканты — это, брат «массы»!»

Но что-то было не так. Точно я соврал сам себе по привычке. Однако дальше мне трудно стало разбираться: не привык я разбираться до конца, не научили. Да и к чему? «Пойду-ка я рубану пельменей. С уксусом», — почти вслух сказал я на улице. Все куда-то шли, уткнувшись носами в собственный пупок, все что-то имели — мечты там, или науку, или жену. Только у меня ни черта не было, кроме этой пачки пельменей. Но если прикинуть, то это тоже кое-что. Особенно когда с утра ничего во рту не было. А пельмени — это вещь. Особенно горячие, прямо из кастрюльки. Я проглотил слюну и прибавил ходу. «Только бы они в метро от тепла не склеились», — думал я, спускаясь по эскалатору.

* * *

Я почти прикончил пельмени, когда вспомнил про Адама. Остался всего пяток, но это тоже ужин, если взять еще полбатона и витамин С, который я покупал вместо конфет, чтобы сосать на тренировках.

Адам меня ждал. На столе стоял горячий чайник. Сегодня Адам был в черном старом костюме и пожелтевшей рубашке. От пельменей он отказался.

— Спасибо, не могу, — сказал он. — Я очень вол-

пуюсь: сегодня мы последний раз посмотрим это, тот мир...

— Почему последний?

— Надо переоборудовать кое-что, — неохотно ответил он. — Испытать...

— И надолго?

— Не знаю... Но я вас ждал.

Он весь был торжественный сегодня. Он сидел прямо и смотрел на сахарницу своими водянистыми глазками. Потом спросил:

— Вы помните, я говорил, что на себя смотреть там опасно?

— Помню.

— Очень опасно. Если такое случиться — бегите.

— Как «бегите»?

— Уходите от этого...

Я не стал вникать.

— Ладно. Договорились, — сказал я.

— И еще, Костя. Обещайте повернуть тот выключатель там вон — истребить, если меня не будет.

— А где вы будете?

— Не знаю. Но мало ли что... Обещайте?

— Истребить? Это тот выключатель — под пиджаком? Слева от двери?

— Да.

— Нет, не могу, — сказал я и рассердился. — Разве можно такую штуку сжечь? Нет.

У Адама сразу стал расстроенный и возбужденный вид. Все так же уставившись на сахарницу, он пожевал губами.

— Тогда я сам, — сказал он шепеляво.

— Ладно, — сказал я и проглотил пельменину, — начнем сеанс. Билеты проданы, места заняты!

— Вы не шутите этим, Костя, — сказал Адам обиженно и посмотрел на меня. — Это ведь плохо, Костя, так шутить. Не надо.

— Ну, ну, ие буду, Адам Николаевич. Правда, давайте посмотрим. Вам что — хуже сегодня?

— Хорошо, — сказал Адам. — Подождем. Пусть будет так.

Он встал и начал стаскивать брезеит с аппарата. Я слушал, как зажжужал траисформатор; в темиых ячейках медлеиио иакалялись нити электроиных ламп.

— Садитесь, — сказал он строго, как зубной врач. Я сел и сам приладил иа лбу холодный металлический обруч.

«...Десять, одииiадцать, ...сорок, сорок одии, сорок два», — считал я в уме, закрыв глаза и посасывая таблетку. Когда я дошел до двухсот девяносто семи, пропало ощущеиие стисиутых пальцев, осталась только тьма, а в ией — крохотная световая точка, которая двигалась куда-то параллельио земле. Точка притягивала меня все ближе, и иакоиец я разобрал, что это освещеииое окно спального купе в вагоие южиого экспресса. Только это одио окио притягивало меия во всей иочиой степи с проталинами иа лысых буграх. Потому что у окна кто-то стоял и смотрел мие прямо в глаза.

* * *

Это была оиа. Так пристально смотрела она иа бегущий грязиый сиег с кустиками травы. Серая косынка была спущеиа на худой шее, а лицо было такое же, как тогда в метро: грустиое и простое, домашиее.

У нее были большие робкие глаза и малеиькие руки, я удивился, какие у иее пушистые волосы и мелкие веснушки иа переносице, а ресницы совсем темные и зрачок в светло-сером — тоже темиый. Я видел ее совсем близко, вплотную, каждую клеточку детской кожи, каждую шерстинку иа кроличьей косынке. Но она меня не видела.

В купе иа нижней скамейке сидела женщина в теплом платье с яитарными бусами. Оиа озабочеиио смотрела в затылок девушки.

— Поди, сядь ко мне, — сказала женщина.

— Что?

— Поди ко мне.

Девушка полуобернулась, но не села. Ее худые руки висели вдоль бедер, а лицо не могло оторваться от темного окна, за которым, отражаясь в зрачках, неслось что-то грозное, угловатое, немыслимое. Или просто ночные кусты?

— Что с тобой?

— Ничего, мама...

— Нет — что?

Кусты расступались, как испуганные звери, они шарахались, ломая руки, оттаявшим черноземом, горькой водой дохнули сквозняки черного окна.

Девушка подняла брови, в ее круглом лице задрожало удивление, страх.

— Я кажется, заболела мама, — сказала она еле слышно.

В купе стемнело, еле мерцал накал лампочек: казалось, вагон, поезд — все растворяется в несущихся испарениях ночи. Только ее глаза отсвечивали в темноте, но я не узнал их: это были не наивные, а тревожные озера, откровенные и мудрые. Только детский лоб был прежним да слабое движение губ. Мне казалось, что это меня, а не ее душат острые слезы.

— Я его полюбила, полюбила! — сказала она с отчаянием и вызовом, сжимая кулачки, шагнула к окну.

— Кого? Ну, что ты, кого?

Но девушка все смотрела в ночное окно, и я тоже видел, как кто-то несется там, неясный и настойчивый, какое-то перекати-поле из сломанных крыльев и угловатых локтей.

Еще белела занавеска в купе, они молчали, а под полом бешено бились железные копыта, шарахались, сшибались. Зарница высветлила морщинку на лбу и ее удивительно теплый висок, а в степи на секунду мелькнули лохматые гривы, безумные тени, раскрытые рты

оврагов. Там неслась безжалостная погоня, и что-то все усмехалось во мне, хотя я тоже ждал, боялся и вздрагивал от жалости, озноба и кремневых осколков, секущих голую грудь.

— Кого, ты слышишь? Кого?

Ветер нарастал. Неслись мимо просторы, разрытые курганники, где рябь арабских монеток поблескивала как серебро на нижнем веке между ресницами и глазным яблоком.

— Я не знаю... Его, да его! — сказала она.

От грудного нового голоса лунная дорога упала через всю степь, и катящееся перекати-поле замелькало перед самой душой. А в центре ночного хаоса каменно летел, вырастал все ближе сквозь кричащие кусты белый мучительный всадник. Был он страшно знакомый, но непостижимый, весь в лунном свете, как в рыбьей чешуе, из которой он стремился родиться, чтобы все стало понятно. Но я не хотел, чтобы он родился — я боялся этого. Потому что одновременно я чувствовал и всадника, и тонкий бежевый свитер, натянутый на ее слабых плечах, на груди, ее запачканный чернилами сустав бледного пальца. Она коротко вздохнула, и тогда что-то стукнуло в стекло, точно с разлета ударилась птица, и что-то лопнуло во мне, как кольчуга или жесткая чешуя. Но я не спал: грохнули стыки, звякнула ложечка в стакане. Чье-то лицо, прижатое к окну, из ночи смотрело в купе. Знакомое чье-то лицо, толстогубое и немного нахальное, с маленькими твердыми глазами. Лоб морщился под ежиком короткой стрижки.

— Вот он! — сказала она.

Это было мое лицо и совсем не мое. Впервые я пристально взглянул себе в лицо. Я никогда не видел его таким неподвижным среди перьев катящегося перекатиполя, на границе бегущей ночи.

Да, оно было там, а я — здесь, оно неслось само — голова без тела, голова, коротко подстриженная под прическу «молодежная». Столбы, степь, будки, овраги —

все свистело сквозь мою голову. Мне казалось, что я становлюсь нечеловеком: я стал понимать это свое лицо, еще не словами, но грозным предчувствием. И от этого предчувствия мне стянуло горло детским ужасом, и, борясь с ним, я закричал ей:

— Да, да, я здесь!

Она нагнулась и прижалась теплыми губами к холодному стеклу прямо напротив моего лица. На стекле остался ровный отпотевший кружок. Я разжал пальцы и сорвался вниз.

* * *

Гудело чрево аппарата, мигали лампы, в пустом стакане ползала сонная тень.

— Убежали? Сами? — спросил Адам. — Это хорошо, иногда это получается.

Я сидел, не поворачивая головы. «Хорошо!» Я никуда не хотел уходить с этого кресла. Еще неслась через меня талая степь, чтобы я родился заново и услышал, как стучит ее сердце, когда она нагибается и говорит: «Вот он!» Ничего мне не нужно было — только сидеть вот так, закрыв глаза. Да, а я — убежал. Я не хотел, но спрыгнул вниз.

— Еще раз можно? — спросил я.

— Нельзя, — ответил Адам. — Нельзя. Да это и бесполезно — ничто не возвращается к нам никогда. — Он помолчал, потом осторожно спросил: — Что-нибудь хорошее?

— Да. Прекрасное! — ответил я. Раньше я презирал это старинное слово.

— Вы мне расскажете? — робко спросил он.

— Нет. — Я встал и пошел к двери. — Нет.

Он шел за мной. Его старческое лицо маячило грустным пятном.

— Нет, — повторил я и вышел.

* * *

Я не спал до пяти утра. Я не думал ни о чем — просто лежал и смотрел. Все время ее русая голова со спущенной косынкой стояла где-то между полусветом занавесок и вафельным полотенцем. На стене белело расписание лекций. На стуле лежала пачка сигарет. Около стула стояли мои грязные туфли. Но все это я видел как через воду ручья, на дне комнаты, и у меня горели веки, и от напряженной тишины толстый словарь на подоконнике становился серым стеклянным ящиком, и через желе переплета проступали стиснутые цифры страниц. Муха сидела на занавеске, спичка лежала на пепельнице. Я понимал строение мушиного крыла и кристаллические решетки обугленной головки. Все я видел и понимал, потому что не шевелился и не спал до самого утра.

СРЕДА. ДНО

Я проспал лекции, но это теперь не имело значения. Весь город был сегодня ночью вымыт снеговым ветром, и стекла блестели голубым небом через мокрые прутья тополей. Тени на тротуаре имели ритм набегающего предчувствия, мне хотелось свистеть и прыгать через них — вот-вот все рухнет со слабым звоном, и я провалюсь в решетчатый куб неоткрытого измерения. Даже горелая фасоль в столовке не могла убить этого «состояния невесомости». Мне было странно смотреть на жующие челюсти, я поминутно отвлекался: то блик на вилке, то скрытый намек шелкового шуршания за спиной — все имело сегодня иной смысл, иную цель. Вот именно — цель. Я не думал — чья это цель и что будет в следующую секунду, я просто чувствовал какое-то задумчивое лицо, вроде потонувшего в океане облака, под деревянной или масляной поверхностью всех предметов.

На лекции волосатый доцент Павлов открывал и закрывал рот, расхаживая перед аудиторией. Наши глаза встретились, и он осекся. Я не знаю, что он понял, но он стал медленно краснеть, мохнатые брови поползли вверх, он переступил с ноги на ногу. Только напряжением всего лица он взял себя в руки, но его глаза за очками были мутными, когда он отсутствующе сказал:

— Итак... Простите, я потерял нить... Итак...

Мне захотелось уйти. И я встал и вышел из аудитории, не обращая внимания на шепот и гул по сторонам.

Я сел в троллейбус и поехал на базу. Горшок заполнял ведомость на инвентарь и сделал вид, что меня не заметил. Минаев шнуровал ботинки.

— Если болел — давай больничный, — сказал мне Горшок. — Он сердито захлопнул свой гроссбух и вышел, стуча копытами.

— «Крылышкам» продули, — сообщил Минаев и подмигнул.

— Исправимся, ничего, — сказал я.

На горе приземления ребята отрабатывали стойку спуска. Горшок крикнул в мегафон: «Начинаем прыжки! Освободите горку!» И я стал подниматься на старт вслед за Васькой Чередовым.

Под ногами была вся Москва, вся планета — сизая дымка провала, неизвестность. Сегодня я все чувствовал и понимал очень четко, как после стакана чистого спирта. Пустота сквозила в лицо ленивым ветерком, я натянул поглубже шапочку и поднял руку, прося старта.

— Не твоя очередь! — крикнул Васька, но из судейской уже дали старт, и я разбежался вниз, сгруппировался, вошел в свистящее мельканье, рванулся с обрыва и лег на воздух всей грудью. Медленно приближался город, деревья, утоптанный склон, но я все лежал. Еще, еще — рискованные секунды перед самым склоном, предчувствие удачи, приземление, удар — хорошо! Еще на спуске я понял, что вышел за свою границу.

«Карташев — 73 и 9!» — крикнул мегафон. И потом после паузы: «Рекорд трамплина! Карташев! Поднимитесь в судейскую!»

Ребята что-то кричали мне, но я не слышал: я с испугом и радостью прислушивался к тому ощущению, которое появилось во мне с утра, а сейчас перешло в навязчивый голос внутри меня. Но слов я не мог разобрать: мне казалось, что голос говорит на иностранном языке что-то очень важное.

В судейской Горшок воззрился на меня с изумленной ухмылкой.

— Ты что это? — спросил он. — Рекорд трамплина! Ах, ты, сачок!

— Не зафиксируют — коллегии не было, — сказал кто-то из судей.

— Хрен с ней. Он повторит!

— Приходи в пятницу — финские дам. Получили, — сказал Горшок. — Но тренировки теперь не пропускать! Ни одной! Понял?

— Понял, — сказал я, рассматривая кирпичную рожу Горшка. Он не знал, сколько было в ней сурового электрического солнца. «Такие и солдаты, наверное, — подумал я. — От опасности — беззаботные». Я почувствовал, как ознобило вспотевшую спину: свет и блеск стали тускнеть, на гору набежала тень от облака.

— Иди, а то простынешь, — сказал Горшок.

Я не мог дождаться, когда будет моя остановка. В метро все смотрели мимо меня и я мимо всех, но все равно я чувствовал, что мои глаза стали как два микроскопа, что стоит мне навести их вот на эту, например, женщину, как я увижу ее мысли — фиолетовые, и асфальтовые, и студенистые, а некоторые — багряные и ломкие, как багряное стекло, разбитое на неровные осколки. И если второй раз посмотреть, то эти пятна, осколки, нити и капли станут оформляться в картины и восклицания, и я пойму то, что никому не

положено понимать. Самое странное было в том, что я был совершенно здоров. Но я стал не я.

Уже отпирая дверь, я знал, что что-то случилось. Под своей дверью в коридоре я увидел конверт. В конверте был ключ и записка:

«Это ключ от моей комнаты. Если я до 11 вечера не зайду к вам, то откройте мою дверь, войдите и сделайте то, о чем я вас однажды просил: поверните выключатель слева от двери. Два раза! Под пиджаком. В этом пиджаке во внутреннем кармане вам письмо.

А. Чарноцкий.

Если я не приду — прощайте на всякий случай».

Я маялся в своей комнате весь вечер. Угол полупустого чемодана все время попадался на глаза. На полу валялись грязные носки. Я двигал по столу бутылочку из-под чернил, зевал, поворачивал стул, вскакивал, взбивал подушку и все время курил. Я был как в незнакомом лесу — всякое дерево знало, зачем оно здесь, а я не знал.

Мне казалось, что под кроватью в пыли лежит, как чемодан, этот лощеный тип без глаз, от которого ушла жена, и вежливо улыбается все время своим темным мыслишкам. А потом я вспомнил, что он ослеп от слез, но улыбается от надежды. Зачем он здесь? Что я забыл такое важное — почему я почти был свободен в своем измерении, но только почти — я сам виноват, что не могу сделать дальше ни шагу. «Может быть, это невестка Коптяевой — та женщина, что ушла от Генки?» — неожиданно подумалось мне. «А девочка, вырезающая сеттера, — это внучка Коптяевой?» Но это были нелепые мысли, и я опять сидел и томился. Мне казалось, что кто-то совсем чужой забрел в эту комнату и поселился здесь и лучше всего мне самому уйти... Куда же? Я знал это, но забыл. Вот в чем дело — сегодня я вообще что-то самое главное забыл, какой-то ключ, который несколько раз за день попадался мне на глаза, но я не обращал на него внимания. «Может быть, этот

ключ от Адамовой двери?» — подумал я, и мне стало стыдно — это была примитивная, как газетный заголовок, мысль.

В двери кто-то поскребся по-собачьи. Я встал и открыл. Мамаша Коптяева стояла, склонив голову набок.

— У вас нет гуталина, Костя?

— Гуталина?

— Черного. Гене завтра на работу, — сказала она с гордостью. — Он ведь устроился оператором или вроде этого, я так рада, но его обувь... Вы не спали?

Она так вытягивала шею, что могла ее вывихнуть: ей все чудилось, что я прячу в комнате девчонку. Под кроватью, что-ли?

— Тут вам девушка звонила, — сказала она.

— Какая?

— Не знаю. Они же не говорят!

Мадам захихикала. Ее тараканьи гляделки все щупали мои книги, носки на полу. Мне хотелось не видеть ее круглого лица. Я спросил:

— Как вашу невестку звали? Генину жену. Которая ушла.

Она округлила глаза.

— Невестку? Ольга.

— Она совсем ушла?

Коптяева смотрела испуганно.

— Ушла, — ответила она тихо. — Откуда вы знаете?

— А внучка есть?

— Ниночка? Ниночку забрала. Откуда вы слышали?

Я не ответил. Ее хитрость исчезла в двух глубоких морщинах у рта. Я заметил, что у нее дряблая шея и совсем седые корни крашеных волос. У нее была желтуха, но раньше я об этом не думал.

— Завтра врач обещал еще заехать, — сказала она вдруг без всякого подвоха.

— Врач? К кому?

— Как? Вы не знаете? — Секунду она не верила,

потом поверила. — К Чарноцкому. Он утром упал в уборной. — Она поморгала и словно стерла все с лица, закончила привычным голосом:

— Он утром упал в уборной. Такой стук! Я так и вздрогнула, знаете ли. Такой грохот.

— Что с ним?

— Обморок. Хорошо, Гена был дома. Он такой тяжелый!

Я хотел бежать к Адаму, но удержался.

— Что ж с ним?

— Не знаю. Он ото всех запирается. Ото всех. Кроме вас, — добавила она ехидно.

— Гуталин я не держу, — сказал я и лег на койку. — И жениться мне рановато. — Я задрал ноги на спинку кровати и открыл «Химию». Но строчки были перевернуты.

Как только она ушла, я вскочил и в носках побежал по коридору. Ключ от комнаты Адама прилипал к потной ладони.

* * *

На постели за шкафом Адама не было. Комната была пуста.

— Адам Николаевич! — позвал я. Никакого ответа. Я посмотрел на пол, на стены. Аппараты были выключены, но обнажены. Мелькнуло, что, может быть, он «там»? По ту сторону? Сегодня ничто не могло меня удивить. Но тут я заметил помпон шапочки над спинкой кресла. Адам сидел, как сломанный паяц. Он весь утонул в кресле, уткнувшись носом в грудь, он сидел, как неживой. Я потряс его за плечо, голова замоталась на тонкой шее. Правый глаз Адама смотрел на меня по-птичьи кругло и бессмысленно. Он был жив.

Я легко поднял его под мышки и перенес на кровать. Потом намочил из чайника его рваный шарф и положил

на лоб. Постепенно в его лице стало проступать соображение.

— Закройте... аппарат.., — первое, что прошелестели его губы. Я натянул чехлы, убрал все со стола в ящик. Потом разыскал лекарство, накапал Адаму двойную дозу и стал ждать. У него порозовели уши, он мигал, жевал беззубым ртом, иногда морщился. Все время с его лица не сходил испуг. Наконец он спросил:

— Письмо взяли? В пиджаке?

— Нет.

— Достаньте и дайте его.

Из кармана пиджака, который висел на «выключателе истребления», я достал конверт.

«Константину Павловичу Карташеву, Молчановка, 24, кв. 8», — было написано рукой Адама.

— Дайте, — слабо попросил он и засунул письмо под подушку.

— Что это с вами? — спросил я.

— Его надо уничтожить! — сказал Адам, округляя глаза на аппарат. — Скорее!

— Зачем?

— На себя нельзя смотреть, — сказал Адам с дрожащей угрозой в голосе. — Нельзя. Но ночью я посмотрел. На себя. Эксперимент!

В комнате стало тихо, как в сейфе.

— Ну, и что? — спросил я.

— А то, что теперь мне незачем жить...

Я видел, как его желтоватая кожа стала мучнистой, морщинистой, глазки помутнели водянистым ужасом. Меня подмывало спросить, что он такого там увидел, но я чувствовал, что про это нельзя спрашивать.

— Сначала растворилась кожа лица, — заговорил Адам, глядя в потолок, — потом подкожные мышцы, потом череп стал прозрачен, и только глаза... Да глаза — они смотрели так... Не по-человечески смотрели! — Он попытался приподняться. — Там, во мне, Костя, сидел

не я и не человек и смотрел на меня. Он насмехался надо мной!

— Не надо, — попросил я. — Не надо!

— Да, да, про это нельзя говорить, — сказал Адам хрипло. — Я запрещаю это вам, Костя!

— Ладно, — сказал я, проглатывая комки отвращения и непонятного страха. Что-то присутствовало в комнате и точно поджидало, когда Адам скажет еще что-нибудь, самое запретное. — Ладно, Адам Николаевич, забудем про это. — Я вытащил сигарету, стараясь не оглядываться, пошарил на столе спички и стал прикуривать.

— Сколько времени? — спросил Адам.

— Полдесятого.

— Еще час. Да. Уже скоро.

— Что скоро?

Адам не ответил. Он рассматривал свои худые морщинистые пальцы.

— Скоро меня не будет, — сказал он без всякой жалости. — К чему все это было?

— Что «это»? — спросил я.

— Изобретения. Науки. Люди. Их мозги. Чужие мысли. Мыслишки! Чужие закоулки, закоулочки!

Он усмехнулся и закашлялся.

— Не только закоулочки, — сказал я сердито. — Совсем не так все!

Адам повернул голову — он удивился.

— Не так?

— Да, не так. Там всякое есть. Это вы что-то сегодня... — Я сдержал одно словечко и спросил: — Чаю не поставить?

— Сколько времени?

— Десять, без пяти.

— Вам пора, Костя, — сказал Адам. У него стал другой голос — запавший и грустный. — Пора. Вы не сердитесь?

— За что?

— Не сердитесь. Мне... Ну, идите, идите...

Больше он ничего не сказал. Я взял со стола свои сигареты и на цыпочках пошел к двери.

В коридоре меня поджидала мадам Коптяева. Ее глазки и подбородок маслились от любопытства. Она прижимала к халату свою сытую мерзкую кошку.

— Ну, как он? — спросила Коптяева.

За стеной глухо играл радиоджаз.

— Неважно, — сказал я.

Джаз играл на мотив японской песни о море.

— Старость, старость! — Коптяева сочувственно почмокала. — И так одинок. Ужасно!

Кошка мурлыкала под ее толстыми пальцами.

— Вы к нему не заходите, — сказал я. Она почему-то не взъерепенилась, наоборот — закивала и даже заулыбалась. Я был сбит с толку и зол на себя и на Адама. Джаз играл из комнаты Коптяевых. Это Гена включил на всю катушку и лежит сейчас в трусах на тахте и слушает. Мне не трудно было бы увидеть его мысли, но я не хотел. Я ничего не хотел, кроме стакана черного чая и булки с маслом. Но масла у меня сегодня не было: забыл купить.

* * *

Этот вечер и ночь со среды на четверг я запомнил по открытке «Грачи прилетели». Я любил эту картинку, приколотую кнопкой к обоям, но почти ее не замечал. Но сегодня я сидел на жесткой койке, курил и смотрел на нее. Я думал и думал, но о чем — не помню. Может быть, и ни о чем конкретном, потому что все мысли были огромны и неясны, они приходили и уходили вместе с дыханием, шуршали, точно дождь по обоям, по плечам, пересекались, нарастали ровным шумом — в комнате, в переулке, в городе, по всей земле. Где это я слышал когда-то такой же дождь? Он шел всюду — этот невидимый поток мыслей, он затоплял материки,

плескался во мне до самого дна. И я не боялся. Мне было хорошо. И Адам был не прав. Сквозь дождь, полуослепнув, я смотрел час за часом на открытку «Грачи прилетели». Смотрел на навозные проталины, мокрые ветлы, на серо-зеленую церковку, за которой испарялось простенькое небо. Я не двигался, потому что знал, что если попробовать что-нибудь объяснить, то все пропадет. Мне казалось, что на время я разучился говорить слова. И это было почему-то правильно и хорошо.

ЧЕТВЕРГ. ЗАВЕЩАНИЕ АДАМА

В коридоре что-то стукнуло, кто-то спрашивал, отвечал, сморкался. Я натянул тренировочные брюки и вышел. Около двери Адама стоял врач. Мадам Коптяева стучала костяшками пальцев, прислушивалась. Изо всех дверей высовывались носы жильцов.

— Не отвечает, — сказала Коптяева. — Полчаса стучим.

Тут я заметил худого санитара. Он приставил брезентовые носилки к стене и щурился на лампочку, безучастный, как столб. Доктор взялся за ручку двери, и она открылась.

— Тут и не заперто, — сказал он недовольно.

Мадам Коптяева влезла первая. В комнате было темно и душно, как в бомбоубежище: шторы были спущены.

— Где ж у него выключатель? — громко спросила Коптяева.

— Кто тут? — слабо спросил Адам.

— К вам доктор, Адам Николаевич. Где у вас свет?

Из-за спины доктора я видел ее халат с красными маками.

— Слева от двери. Под пиджаком, — ответил слабый голос.

Я еще не совсем понимал спросонья, что происходит. Но теперь я почуял беду.

— Стойте! — крикнул я.

Я слышал, как щелкнул выключатель.

— Не здесь! — крикнул я.

Выключатель щелкнул вторично. Впереди у окна темнота сухо вспыхнула коротким замыканием, что-то лопнуло со стоном, завоняло паленой резиной.

Я оттолкнул доктора и включил свет справа за шкафом. Из угла из-под брезентовых чехлов расползался желтый дым.

— Горим! — завизжал женский голос.

Меня оттерли к стене. Я видел, как кто-то сорвал тлеющий брезент с груды обугленных конструкций, как хлещет вода по полу. Его глаза, сквозь дым я видел носилки с плоским телом, поблекшее и удовлетворенное лицо Адама.

— Не расстраивайтесь так, Костя, — сказал он, когда его проносили мимо, и улыбнулся беззубым ртом. Носилки протащили на улицу.

Все было залито водой, но дым валил и валил, и скоро приехали пожарники. Хотя им-то здесь уже нечего было делать. Да и всем остальным: уж что-что, а устройства Адама срабатывали на совесть.

В кухне мадам Коптяева что-то быстро шептала участковому уполномоченному. Его милицейская фуражка смешно и важно кивала в такт ее словам. Гена в коридоре присматривал что-то сквозь дым в комнате Адама; на мокром полу скрипел под каблуками тонкий раздавленный конденсатор.

Я надел свитер, куртку, взял зачем-то из чемодана паспорт и десять рублей и вышел в переулок.

Только в переулке я вскрыл четырехкопеечный конверт, который поднял с пола в своей комнате. Это был тот же конверт, который лежал ночью в пиджаке Ада-

ма. Видимо, Адам передумал и подсунул его под дверь, когда я спал.

Я стоял за пивным ларьком у штабеля пустых ящиков и читал. Мокрый снег падал на бумагу.

«Дорогой Костя! Я не знаю, что произойдет за ближайшие 24 часа. Я произвожу важный эксперимент. Надо довести его до конца. Вы знаете, что аппарат дает произвольную, т. е. бесконтрольную информацию. Она может быть жизненной, но может быть опасной для нашего сознания, которое не подготовлено ко многим открытиям.

Впоследствии я планирую ввести усовершенствования, автоматически выключающие прием в критические моменты.

Но сейчас я не уверен в результатах. Поэтому если вы найдете меня перед экраном в бесчувственном состоянии, пожалуйста, уничтожьте аппарат при помощи замыкания сети. Выключатель слева от двери! Если аппарат попадет в преступные руки, могут быть ужасные последствия для человечества. До сих пор человечество использовало все великие открытия только для самоуничтожения.

Вам я верю, как верил бы своему дорогому сыну, трагически погибшему в 1939 году.

Не забывайте меня. Вы еще увидете очень важные открытия в вашей юной жизни. Наше познание — бесконечно. Мы еще только на пороге. Наш разум — это лишь таблица умножения. Ищите двигатель разума, формулу его восстанавливающейся от самой себя энергии.

Мои формулы и расчеты я беру с собой. Это необходимо. Я понял это вчера.

Я вас очень полюбил за эту неделю.

Ваш Адам Чарноцкий.

Как смотреть — важнее того, *что* смотреть. Вы делаете это иначе, чем я, Вы будете делать это еще лучше, если захотите всегда искать».

* * *

Странно было смотреть на старинный фасад нашего института, на растоптанный снег в вестибюле, на объявление:

В пятницу 28 марта собрание
НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
(в помещении комитета ВЛКСМ)

И еще объявление, тоже важное:

Кто оставил свою ручку (самописку)
в 39-й ауд., зайдите в деканат
физхима к Зое, секретарше!

Под объявлением кто-то нарисовал девицу с огромными ресницами и сердцем, пронзенным самопиской.

— Ты на зачет? — спросила меня Люда.

— На какой?

— Ты что, с Луны свалился? По механике.

— Люда, — спросил я, — как ты думаешь — есть настоящая любовь?

— Ты пьяный, что-ли? — спросила она и вся вспыхнула. — Я откуда знаю?

— Ты же девушка, — сказал я спокойно.

— Я не девушка, — сказала она. — А ты — дурак!

Она стояла и смотрела мне в глаза, а потом стихла. — Иди на зачет и не болтай чего не знаешь, — сказала она. — Что с тобой?

Но она поняла, что я не шучу.

— Любовь? Есть, но не для меня, — сказала она с вызовом. — Ну, отваливай!

И я отвалил и поплыл по коридору к аудитории, где доцент Бучнев принимал зачет по механике.

Я что-то мямлил, глядя в окно, по инерции я пришел, по инерции мямлил, а Бучнев смущенно ковырял карандашом стол.

Пыльный кактус на подоконнике изнутри был верно сочный, тропический, как нутряное ромбовидное сердце лесного идола. Семена этого кактуса проросли и здесь — в этой промозглой от скуки аудитории. Мне хотелось подойти и сломать толстый зазубренный отросток, чтобы увидеть, как капли бледно-зеленой крови медленно проступают через клетчатку сердцевины. Я не люблю идолов. Хотя этот все же пощадил толстого доктора. Нашел ли доктор людей? Это было неделю назад... Было на самом деле.

— Ну, хорошо, Карташев, — сказал Бучнев, мигнув линзами очков, — идите пока. Так не годится, Карташев...

Странно, что он, а не я расстроился из-за этого дурацкого зачета.

— Семен Абрамович, — сказал я, — это ничего. Я еще сдам этот зачет.

— Надеюсь, — сказал он обиженно.

— Ведь зачет — это еще не жизнь, — сказал я, и тогда Бучнев понял.

— Да, конечно, — протянул он задумчиво, — но это и не только формальность. Впрочем, что это вы разговорились так здесь? — спохватился он, но я уже шел к выходу, не слушая его, потому что во мне вдруг появилась уверенность, что и меня пощадил бы коренастый шаман из амазонской сельвы. Бензиновый чад заслонил пухлое лицо доктора, который бледно интеллигентно улыбался от страха. А солнце тяжело палило его потную кожу, и лаковую листву, и полированный лоб красного божка. Это все я видел своими глазами.

В столовке пришлось есть рисовую кашу. Она не проглатывалась, хотя я старался изо всех сил. Наконец

я сообразил, что это совсем не обязательно, и с облегчением вылез из-за стола.

Люда, проходя мимо, сунула мне записку:

«Костя! Так не поступают настоящие ребята: если решил порвать, мог бы хотя бы позвонить. Сегодня вечером последний раз жду твоего звонка до десяти вечера. Не будь свиньей!

Юля.»

Я догнал Люду и отдал ей записку обратно.

— Зачем? — удивилась она.

— Отдай ей и скажи, что все это — цирк.

— Как?

— Один цирк. Она поймет.

Люда хотела возмутиться, но не стала.

— Может, и поймет, но так не делают, — сказала она. — И я ни при чем тут.

— Конечно. Можешь ее порвать.

— Порви сам.

Я взял записку и порвал.

— Ты что — поругался с ней? — спросила Люда, и ее красивые глаза стали глупыми от любопытства.

— Нет, просто мы с ней пьесу поставили.

— Пьесу?

Мне стало смешно — глаза у нее росли как игрушечные.

— Ну, как в цирке, — сказал я. — У меня была роль Рыжего, а у нее — еще чище... Это так принято. Это пройдет.

— Пройдет?

Я протянул руку и потрогал ее золотую нейлоновую прическу. Я медленно вел пальцем по изгибу ее брови, вычерченные ресницы вздрогнули испуганно, и я все понял. Лицо Люды теперь было строго и покорно, подкрашенные глаза смотрели с жалкой серьезностью.

— Вы на «Джульетту и духн» идете? — спроснл Барановский сзади. Я повернулся и пошел прочь.

Было еще светло, падали неслышные хлопья, снег розовато таял на ветках, как запах клевера на том лугу за бомбоубежищем. Я шагал по совсем свежему тонкому снегу, прямо и четко, неизвестно куда.

«Что ж тебе все-таки нужно, друг?» — спросил я себя.

«Спроси вон у того дяди, в кожанке — может, ответит», — сказал я.

«Ответит», — подтвердил голос, но я не спросил.

Я стоял на углу спиной ко всем домам и смотрел на пустой Можайский проспект, серый, как зимняя река, за густеющей сетью снегопада. Трансформатор большого города гудел в ушах миллионами разговоров, все сливалось глухо и далеко, и мне ничего не было жалко: я ждал.

Чья-то тоненькая женщина пересекала пестроту поземки. Она торопилась, прятала нос от метелн, немного наклонившись вперед, прнжимала к груди дешевую сумочку. «Куда ж мне идти?» — хотел спросить я, но она прошла. Может быть, она бежала к той девочке, которая все вырезала из журнала рыжую собаку, сидя на голом полу. А кукла сонно шевелит ручками и ножкамн за пазухой у десантнnка. И войны не будет. Это была кукла его дочкн. «Чарли, лежать!» — крнкнула она собаке и засмеялась. Никакой войны, никакой смерти не может быть сегодня — я точно прочитал это в мельканиях снегопада и почувствовал вкус нежного снега на губах.

«Не расстраивайтесь так, Костя», — сказал Адам. Он-то знал, о чем говорил. Он такое повидал, что никому не увидеть.

«Вы ее увидите», — хотел сказать Адам. Именно это он хотел сказать, я хорошо знаю это.

Она стояла в своей бежевой домашней кофточке, при-

подняв лицо к вагонному окну. Она точно слушала, что я шепчу и кричу ей через черное стекло; я отчетливо видел ее расширенные зрачки, веснушки на переносице, бледные губы, полуоткрытые от внимания.

На виске там, где особенно тонкие волосы, таял, опускаясь, снег.

— Так вот оно что! — сказал я городу, и все встало на свое место. Только под глазом под кожей билась часто какая-то новая жилка.

Как тогда, когда белый всадник рождался из лунной чешуи, когда чьи-то глаза все глубже проникали в сумерки теплого зыбкого забытья...

— Так вот оно что, — повторил я. — А все другое-прочее — это все «семечки»!

Вы думаете, конечно, что все дело было в ней?

Совсем не так просто все, как вы думаете.

Можно сказать: «Я хочу ее найти».

Или: «Я тоже хочу иметь душу».

Но все это только хилые слова. Детская азбука. Можно написать формулу молнии. А моей встречи — нельзя.

Вот случалось вам после операции выйти на улицу? После опасной операции. Мне случалось. Свет, ветер, голоса, шины — все так и хлынет в лицо, и ты прищуришься и встанешь. В голове точно лопаются пузырьки шампанского, и хочется крикнуть, или засмеяться, или подойти к дворнику и похлопать его по спине. «Эх, ты, бедолага!» — сказать ему, а потом пойти по всем местам, где ты был и где не был. Вот в такой час все знакомое удивительно неизвестно. И это правда — нет ничего известного до конца, даже до середины ничего нет. И все чувствуешь, как в себе самом, — каждую веточку на вытоптанном бульваре, каждую заусеницу на ногте. Эх, Адам, Адам, слишком много ты видел, старина! Через край!

Я вдохнул во всю грудь снежный городской вечер;

теперь без всякой хитрой техники я включился в самую суть и везде видел ее светлые глаза, не глаза даже, а синие горы, промелькнувшие в них от зарницы, что-то огромное, могучее, как грозовой воздух, которым глубоко и привычно дышала эта глупенькая девчонка. Как это сказать? Я не знаю, хотя тоже дышу и чувствую совсем близко ее голый поцарапанный локоть, талую степь, гром копыт в темном купе, и мучение ожидания, погони, слабого вздоха... Кому это расскажешь? Нет, не стоит — надо говорить просто, понятно или ничего не говорить. Так-то, товарищи-человеки!

Ноги теперь шагали прямо на Садовое кольцо — они теперь сами знали, куда идти. Подошел автобус, я втиснулся в него и повис на поручне. Кто-то крыл меня сзади, чтобы я пролезал дальше, но я не слушал. Передо мной застрял какой-то старикан в дряхлом пальто, которое казалось мне очень знакомым. На ком я видел такое пальто с порыжевшим по швам драпом и полуоторванной пуговицей? Вспомнил — на нашем директоре 56-й школы-интерната.

Я его не любил. Его никто не любил. Потому что он всегда молчал и не смотрел в глаза. Хотя говорили, что он «прекрасный педагог».

Я пролез в автобус и заглянул ему сбоку в лицо. Это было его худоносое и узкогубое лицо, только все в морщинистых мешочках. Я толкнул его, когда пролезал, и он взглянул. Впервые я увидел его глаза — сначала мертвые, потом оживающие от узнавания.

— Карташев? — спросил он, и неожиданно все его мешочки под глазами задергались от мелких стариковских слезинок. — Карташев?

Я не знал, что сказать.

— Откуда ты, Карташев? — жалобно и радостно спрашивал директор. — Где ты живешь?

— На Молчановке, — ответил я, и в это время меня с публикой стало относить к передней площадке. — На

Молчановке, дом 24, квартира 8! — крикнул я через головы. Его уже заслонили.

— Курский вокзал! — объявил водитель.

— Подожди! — крикнул стариковский тенор. — Карташев!

— Не могу! — ответил я ему. — Мы увидимся, непременно!

Я забыл, как его зовут, и наверное, он давно на пенсии, но я был убежден, что эта встреча неспроста.

Я выскочил из автобуса и пошел в билетную кассу поездов дальнего следования. Ведь, когда водитель объявил: «Курский», я вспомнил, куда уехала моя девушка. Я увидел ее мысли там, в купе — морской берег в Батуми, фанерные кабинки купальни, полинявшие за зиму, гниющие водоросли, выброшенные штормом. В марте там тепло, и они будут с матерью гулять по пустым пляжам. Там я их найду. На рязанских скулах этого механика тоже бился зеленоватый отсвет океанской зыби, когда он наклонился, занося весла, покусывая губы, потрескавшиеся от соли. Он лежит и смотрит, не мигая, в голую лампочку на голом потолке, но видит ослепительно белый от полдня волнорез и жидкий дым уходящего буксира. Может быть, в этом есть смысл и для моей жизни?

— Ты что тут делаешь? — спросил Барановский. Я нос к носу столкнулся с ним у касс.

— А ты?

— Тетке билет заказывал.

— Слушай, дай мне рублей десять, — сказал я. Вернее язык мой выпалил: разве он даст так вот, на дурака! Но Барановский молча полез в бумажник и протянул две десятки. Я почему-то не удивился этому.

— Через месяц верну двадцать три, — сказал я, и он вспомнил ту трешку. Его близко посаженные глаза слегка прищурились, он кивнул.

— На том свете сочтемся! — сказал он, усмехаясь. Да, что-то было в Барановском от того блондина с бесцветными бровями, который сказал «нет» этим бандитам. Вяло так сказал: «Нет». А потом он стоял по колено в мокром клевере и не знал совершенно, что ему делать со своей свободой. Разучился...

На Барановском было польское полупальто и стильный шарф.

— Позванивай, не пропадай, — сказал он. И ушел. Уже когда он скрылся, я вспомнил, что надо было бы сбрехнуть что-нибудь для института: что у меня бабка нашлась, что ли, или еще чего-нибудь поинтересней. Но потом плюнул и пошел к кассе. Все это была старая резинка, даже вкус ее во рту остался. «Пока это отложим, — сказал я четко. — До времени». Кто-то внутри смело двигал меня за ноги и за руки, и от этого становилось все веселее и легче.

— До Батуми в бесплацкартном, — сказал я кассирше. Она выкинула билет на блюдечко, и я спрятал его в кошелек.

У меня оставалось еще рублей восемь-девять на курево и на жратву. Все было в порядке, все установилось на нужной точке, и я поудобнее сел на скамейку в зале ожидания и огляну лся кругом. Через галдящую толпу из открытых дверей дуло в затылок вокзальным сквознячком. Дверь открывалась на платформу: сквозняк припахивал снегом и паровозным угаром. Я вспомнил снег между осин, где молился радист, и тишину еловой темноты, и глубокие следы в сугробе. Радист даже не шевелил губами; легкий пар появлялся около рта, он смотрел в тучи, не замечая застывающих без перчаток рук.

Я вдохнул запах вечернего леса и откинул голову на дубовую спинку скамьи. Мне хотелось почему-то снять шапку. Я был свободен, я был сам по себе. Может быть, вам этого не понять, но только сейчас я почувствовал,

что начинается самое неизвестное. И уж теперь-то я его не упущу. Нет уж, хватит с меня всякой резинки — не упущу. Поэтому я и ухмылялся, привалившись к стенке, а люди проходили стадами, иногда оборачиваясь на меня, как на чудака. Им и невдомек было, что я сегодня узнал.

В снежных сумерках сквозь хлопающую дверь перекликались где-то мудрые паровозные гудки.

ПИСАТЕЛЕМ ОН БЫЛ ВСЕГДА

Николай Плотников родился и вырос на Арбате. Уже это одно может сказать читателю многое. Многострадальный Арбат, вобравший в себя всю разноликость нашей жизни, благодатное место для юности даровитого человека. Но и опасное, ибо если кто и вкусил лиха за десятилетия железной власти, так это в первую очередь «дети Арбата».

Семья Плотниковых не исключение. Дед-священник мирно отошел в семнадцатом году, но отцу пришлось выплачивать скорбную дань. Он испытал три тягостные посадки, а перед последней успел вместе с сыном уйти на фронт.

Николай Плотников прошел всю войну до Берлина. Раны, контузии, боевые награды и, конечно, тот горчайший опыт, который формирует из фронтовиков особое племя, частью надломленное, частью просветленное, но во всяком случае знающее о жизни нечто такое, что недоступно людям мирного времени.

Из горнила войны Плотников вышел писателем. В душе, конечно. Предстояло еще учиться в институте, предстояло дожидаться отца, получившего новый срок, предстояло осваивать перевоплощенное время, наступившее после пятьдесят третьего года.

Писатели бывают разные. Публикации жаждут, конечно, все, но у одних эта жажда так нестерпима, что за глоток известности они поступятся чуть ли не всем своим даром. Правда, чем дар значительнее, тем труднее его отдавать за бесценок. Вот почему наиболее даровитые, честные обладают счастливой способностью долготерпения, неспешного взращивания побегов, которые могут дать крепкое литературное древо против чахлого кустарника псевдолитературы.

Плотников не спешил. Не выбирал ходкие темы, не обивал пороги редакций, не суетился, а просто жил. Учительствовал, путешествовал, вглядывался в жизнь, накапливал силы и знания, упражнял перо в рассказах о природе, писал стихи.

Его литературные опыты осколочно появлялись в периодике, но основательный успех пришел только в начале восьмидесятых, когда «Новый мир» напечатал его повесть «Маршрут Эдуарда Райнера».

А жизнь писателя, по известному выражению поэта, пошла уже «на второй перевал».

Как много в отечественной литературе схожих судеб! Особенно ясно это открывается сейчас. Десятками возвращаются имена, погребенные под пеплом апокалиптических лет. Бойкий расхожий литератор вдруг пишет первую честную книгу и претендует теперь уж на звание писателя. А кто-то на склоне лет публикует произведение, которое ясно говорит, что писателем он был всегда. Только не знали.

В самом деле. Вот Николай Плотников. Отдельным изданием первая книга «Березы в ноябре» вышла только три года назад. Теперь мы держим в руках вторую. Две книги за целую жизнь. Тем ценней для нас этот дар, этот урок честного и глубокого понимания жизни, литературы.

Казалось бы, самый простой путь для литератора, с юности опаленного жаром мировой катастрофы, — стать военным писателем. Так произошло с очень многими. Плотников, конечно, не прошел мимо естественной для него темы, но все же сугубо военным писателем он не стал.

Даже в повестях о войне Плотникова меньше всего интерссует аспект чисто военный. В центре внимания у него всегда человек, его личное противостояние всеобщему хаосу разрушения, его отважная попытка сохранить свой целостный внутренний мир, что бы там ни творила вокруг история.

Война в изображении писателя лишена эпических обобщений и внешнего трагизма. Для юноши из повести «Мальчик» или для потерявшего память солдата («Мне часто снятся те ребята...») это вполне житейское, хоть и многотрудное, жестокое дело. Но трепетный огонек человеческой судьбы, представленный на черном, угрожающем фоне смерти, создает драматизм подтекста.

Тема нравственного противостояния личности проходит через все произведения сборника. Опыт учительства дал писателю знание молодой души, он этим охотно пользуется и не чувствует себя архаичным средн молодых современных героев. Но каждый раз, приближая к нашим глазам картинку нынешних дней, он не забудет в нужный момент ее отдалить, бросить на нее вгляд с дистанции времени, сверить с вечностью. Очевидный «фокус» такого рода проделан в

маленьком рассказе «Капитан Скотт», где в житейскую сценку обычного московского дня «встроена» трагически возвышенная картина последних часов жизни великого человека. Сопоставление разных времен, разных способов жизни, поиск выхода из нравственного тупика — характерные приметы прозы Плотникова. Он писатель серьезный, хоть и легко читаемый.

Я намеренно избегаю сугубо литературных оценок. Читатель разный, каждый найдет свое. Тем более знакомство с писателем продолжится, в его столе много неопубликованного. Но главное видно и сейчас. Перед нами книга честного, не поступившегося ничем писателя. Он сказал свое слово, мы его услышали.

Константин Сергиенко

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 6846

Плотииков Николай Сергеевич

С ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА

Заведующий редакцией **В. Володчеико**
Редактор **М. Катаева**
Художник **С. Дергачев**
Художественный редактор **К. Фадии**
Техиическнй редактор **Е. Брауде**
Корректоры **Н. Овсяиикова, Н. Самойлова**

Сдаио в набор 04.12.90. Подписаио в печать 18.04.91. Формат $70\times108^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературиая». Печать высокая. Усл. печ. л. 12,6. Усл. кр.-отт. 12,95. Учетио-изд. л. 12,9. Тираж 100 000 экз. Цеиа 2 руб. Заказ 1331.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объедииения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

ISBN 5-235-01249-6


2 руб.
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Николай Плотников

С ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА